

Москва

1966 10

СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

ПРОЗА

- М. Ганина. СЛОВО О ЗЕРНЕ ГОРЧИЧНОМ.**
Роман 6
Михаил Роцин. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
В РАЮ. Лирический дневник 116

СТИХИ

- Николай Доризо. СТИХИ О ЛЮБВИ.—**
СОН.— ЖИЛА ПЕВИЦА... 3
Эжен Потье. ДАВИЛЬНЯ 113
Александр Дождиков. ЗА ГОРИ-
ЗОНТ.— ЧЕРЕЗ САДЫ И ОГОРОДЫ...— СНОВА
ПРОЙТИ ПРИВЕЛОСЬ МНЕ...— ПОЛЕМ ТАК
ПОЛЕМ...— ЛЕСНИК.— СЕВЕРНЫЙ ОБОЗ.—
ДОН КИХОТ.— Я СТРОЮ ДОМ...— РАКЕТА 114
Александр Яшин. НОВЫЕ СТИХИ 140
Борис Авсарагов. ПОСТОЯНСТВО. 144
Александр Ревич. КОЛОКОЛ.— НЕМНО-
ГО О ДАНТЕ.— ОДА БЕССМЕРТНОМУ ГОРОДУ 156

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

- З. Шейнис. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПОРУЧЕ-**
НИЕ 145

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

- Алексей Аджубей. ПУТЕШЕСТВИЕ В**
ГЛУБЬ МОЗГА С УМНЫМ ГИДОМ 158

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

- Ю. Долматовский. ЧЕТЫРЕ ЧУДА ТАК-**
СИ. Документально-технический рассказ 164

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

- ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ ВЛАДИМИРА ТЕНД-**
РЯКОВА. В. Боголепов. СЕМЬ РАЗ
ОТМЕРЬ...— С. Броневщук. ГИПОТЕЗА
В. ТЕНДРЯКОВА И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ 174

●

ИСКУССТВО**В. Шалуновский. НА ЭКРАНЕ РОМАН ТОЛСТОГО 183**

●

ГАЛЕРЕЯ «МОСКВЫ»**В. Шрамкова. РОДЕН И ЕГО ВРЕМЯ.— Г. Муравин. ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ . . . 192**

●

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**Лариса Крячко. ЖИТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ! . . 194**

●

ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ**Кажим Джумалиев. СЛОВО СЛАВИТ МУЗЫКУ 204**

●

НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ**В. Хмара. О ЧЕЛОВЕКЕ РЕЧЬ... (211).— Л. Вольпе. ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ (212).— Л. Аннинский. МИР ДЕРЖИТСЯ! (214).— Вл. Приходько. НАЧАЛО ТРЕВОГИ (215).**

●

МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП**А. Кричевский. АРБАТСКИЕ «КАТАКОМБЫ».— А. Иванова. МИНУТЫ, РАВНЫЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМ 218**

●

ЮМОР-66**Леонид Сержин. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. Рассказ.— Ю. Гурфинкель. ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ДЖЕК. Юмореска.— МЕЖДУ ПРОЧИМ.— Леонид Сабаковский. ИСТИННОЕ ПРИЗВАНИЕ. Сказка.— Феликс Рисман. ПРОГРАММУ ВЕДЕТ КОНФЕРАНСЬЕ.— Ян Островский. ИРОНИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ.— Ник. Соколов. ЗАКОННЫЙ ВОПРОС . . 220**

●

ГАЛЕРЕЯ «МОСКВЫ»**РОДЕН И ЕГО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ХУДОЖНИКА Ю. МОГИЛЕВСКОГО**Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-06-86Рукописи объемом меньше
печатного листа не возвра-
щаютсяПодписка на журнал прини-
мается во всех учреждениях
Министерства связи. Редак-
ция вопросами подписки не
занимается.**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ****Е. Е. ПОПОВКИН (главный редактор),
А. Д. АНДРЕЕВ (заместитель главного редактора),
В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,
Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ,
Л. В. НИКУЛИН, В. П. РОСЛЯКОВ,
С. А. САВЕЛЬЕВ (ответственный секретарь),
Г. А. СЕМЕНИХИН, Ю. С. СЕМЕНОВ,
С. В. СМИРНОВ,
А. А. ЦЫГУЛЕВ (заместитель главного редактора),
В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ**

Художественный редактор Г. Л. МУРАВИН



СТИХИ О ЛЮБВИ

В. В.

1

Если ты зла,
Мне не надо
 добрее,
Не молода,
Мне не надо
 моложе,
А не верна,
Мне не надо
 вернее.
Такая любовь
На любовь
 не похожа.
А знаешь,
 быть может,
 мой прадед
Тревожно и смутно
Прабабку твою
Ожидал
 и не встретил.
Мой дед
Перед смертью
Невнятно и трудно
О бабке твоей,
О несбыточной,
Бредил.
Любовь к тебе
Мне
 перешла
По наследству,
Как линия рта,
Как движенье любое.
Куда же,
 скажи мне,
От этого деться?
Сомкнулось
 навек
Кольцо
 вековое.
Разлука —
Работа
 труднейшего рода.
Таким я
 живу,
А не просто люблю.

Как самый последний
Глоток кислорода,
Сейчас
 телефонный твой голос
Ловлю.

2

Я ночью
Слышу самолеты
Всем ухом
Моего окна.
Их громкозвучные
Полеты
Как бы таит в себе
Сосна.
Они
То гулко закипают,
То будто падают вдали,
То режут стекла,
То купают,
То вьются в хвое,
Как шмели.
Моя лесная комнатенка,
Что в глубь ветвей
Занесена,
Вся,
Как ушная перепонка,
Их музыкой
Оглушена.
А я их музыки
Не слышал,
Не замечал
Лишь час назад,
Пока один из них
Не вышел
С тобой
Куда-то на закат.
Мне вся планета
Не округа,
Теперь на тыщи верст
Слышна.
Так не пройди же
Каплей звука
По стеклам
Моего окна.

На бульваре,
на Тверском,
И вот
к нему
Я подхожу тайком.
К его ногам
Несет цветы
Народ,
Меня ж
никто
В лицо не узнает.
Снимает кто-то
Шапку перед ним,
Меня
в толпе
Задев плечом своим.
Вокруг него
Шеренги трубачей,
Аплодисменты.
Фимиам речей
От профсоюзов,
Даже от ГАИ,
И вслух
Стихи читаются мои.
А я стою
Пред памятником сим,
Как будто стал я
Сам себе
чужим.
Когда ж толпа
Под вечер разошлась,
Ему я крикнул:
— С пьедестала слазь!
Не ты поэт,
А я пока поэт!
И вдруг
Он тихо отвечает:
— Нет!
Мне,
не тебе,
Несет народ цветы,
Теперь
я
нужен людям,
А не ты!
Я жив,
Ты умер,
Умер, видит бог,
Поскольку написал ты
Все, что мог!..—
И я иду

В соседний ресторан,
Пью водку,
За стаканом пью стакан.
— Ужо тебе,—
Кричу ему,—
Ужо!..—
Ох, как проснуться утром
Хорошо!

• • •

Жила певица.
Вместе с ней
Жил ее голос,
Да еще ее старенький пес.

Так и жили
Втроем они,
Вместе,
Друг без друга
Никак им нельзя,
У певицы
Был голос и песни,
А у пса
Были только глаза.
Но с певицею голос расстался,
С бранным телом,
С усопшей душой,
Он живой
на пластинках остался,
Отошел от нее
Как чужой.
И когда из квартиры соседней
Этот голос
Летит на мороз,
Слепо мечется
В тесной передней
И на стены кидается пес.
У собаки
Особая память,
Ей не пить на поминках вино,
Ей не высказать
Горя словами,
Может, легче бы стало оно.
И на самом бравурном аккорде,
Когда песня подходит к концу,
Влажно катятся
Слезы по морде,
А точнее сказать —
По лицу.

●



Линогравюра Н. Воробьева и А. Голицына

СЛОВО О ЗЕРНЕ ГОРЧИЧНОМ

РОМАН

1. Сначала кое-что, происходившее в году тысяча • двятьсот пятьдесят шестом

ОТЕЦ И ИВАН ИГНАТЬИЧ

— Да, у меня бессонница, поэтому, бывает, днем задремываю...

— Ничего, достучался же, слушайте...

Иван Игнатъич оглядывал комнату. Желтый потолок, грязные, обвисшие пластами обои, на полках — битком — корешки книг. Большинство изданий первых лет революции либо дореволюционные. Старая обложка журнала «СССР на стройке» с портретом Сталина. Рядом прибиты осыпавшиеся еловые ветки и черная ленточка — такие вплетают в косы школьницы. Наверное, Дашина. Фотография наголо обритого мальчика с кроткими серьезными глазами — неужто это Василий?.. На другой стене — всемирно известные наивные плечики и улыбка Б. Б... А по углам стопки, стопки, стопки старых газет и журналов.

Иван Игнатъич прошел к столу, служившему, очевидно, одновременно письменным и обеденным, достал из карманов несколько свертков и бутылку розового муската. Это Даша предупредила его, что отец не пьет сухого вина, не пьет также коньяку и водки. Только мускат и портвейн.

— Слушайте, я писал вам, вот зашел проведать...

— Я не помню, о чем речь.— Леонтьев пожал плечами, присел на край кровати.— Ишимское восстание... Да, я был в составе трибунала. Но вас конкретно не помню. Такое количество народу привлекалось по делу...

Иван Игнатъич опустился на заскрипевший покосившийся стул, придвинулся к стенке и молчал, сложив руки на животе, разглядывая человека, сидевшего напротив.

Ободок седых волос вокруг лысого черепа, мутно-блеклые беспокойные глаза с красноватыми веками, самолюбиво и раздраженно поджатый проваленный рот. Худые ступни с оплеткой вен — в рваных галошах. Седой клок усов.

Усы... С них он начал вспоминать того — другого. Пышные мягкие усы над темно-розовыми губами, кожанка с кобурой, большие пальцы рук засунуты в прорези грудных карманов. «Я не подпишу приговор, ибо считаю, что этот человек невиновен». Огромнейший приговор на двадцати пяти страницах, после жаркой схватки с другими членами трибунала, заставил сидевший сейчас перед ним старик перепечатать снова, так как был уверен, что какой-то мальчишка невиновен...



Впервые с именем Майи Анатольевны Ганиной читатель познакомился в 1954 году, когда была опубликована ее повесть «Первые испытания».

Молодая писательница после окончания Литературного института имени А. М. Горького много ездит по стране — Урал, Дальний Восток, Средняя Азия, сибирские стройки.

М. Ганина — автор сборников рассказов «Разговор о счастье», «Матвей и Шурка», «Я ищу тебя, человек» и других.

В 1965 году Московский драматический театр имени К. С. Станиславского поставил первую пьесу М. Ганиной «Анна».

Лес. Горстка хвои и мокрых листьев, брошенная промежду железных крыш, стянутая удавкой окружных путей. Тревожно плещутся рыжие ладошки, жмутся друг к другу стволы — но город уже остановил наступление, люди одумались. Этот лес будет жить.

Иван Игнатьич опустился на замшелый пенек. Сырой осенний парок курился невидимо вокруг, заплетался в лещине, растопырившей гибкие ветви. Ноги приятно чувствовали родную мягкость земли. Леонтьев тоже сел. Сквозь пергаментную сухость кожи затеплился слабый румянец.

— Хорошо, что вы меня вытащили. Черт знает, надо взять себя в руки и ходить сюда каждый день, хотя бы на час. Надо как-то перебить инерцию, мне сейчас это трудно. День за днем идет... Надо заняться делом каким-то, я же математику и языки хорошо знаю, буду уроки давать...

Лицо Леонтьева как бы подбирается, яснеют глаза, в складке губ обозначивается что-то волевое, какой-то отсвет, отблеск далекого.

— Даша вам кланялась, — осторожно говорит Иван Игнатьич. — В будущем году ей полагается большой отпуск, и тогда...

Запомнился на всю жизнь: смуглолицый, с немного монгольским разрезом глаз, этими пышными усами — и пальцы рук в прорезях карманов. Олицетворение революционной справедливости, образец, по которому Иван старался жить долгое время...

Иван Игнатьич достал складной нож, откупорил бутылку.

— Слушайте, не сердитесь на меня. Ну, разбудил, ну, пришел надоедливый... Я вам скажу, дней без меня и вообще без гостей много. Один испорченный день ничего не значит... Давайте выпьем.

Они пьют, разглядывая друг друга, молчат каждый о своем.

— Я видел лес неподалеку. День сегодня теплый на редкость, может, пройдемся?..

— Вообще-то я не хожу никуда. Только за газетами и в магазины. Отвык.

— Но, слушайте, раз день все равно испорчен, быть может, вы измените правило? Выйдем?..

В переулке, точно в деревне, сидят на скамеечках у калиток бабы, лущат семечки. Понимающе покачивая головами, рассматривают синий с зеленым кантом китель Ивана Игнатьича: из Сибири, от дочки, значит, кто-то к Леонтьеву.

Кочновка — грязная окраина Москвы, славившаяся в свое время жульем, цыганскими хорами, знаменитейшим басом Прокопием Дьяконовым, певшим с одинаковым усердием в церковном хоре и в лесу для загулявших купцов. Лет десять назад сюда пришло метро, следом за ним на Кочновку стал надвигаться город, вламываясь в россыпь завалюшек и сарайчиков.

Леонтьев резко вздернул плечами:

— Не будем касаться этого. Напомните мне ваш случай.

— Мой случай...

...Отец погиб при аварии: он был паровозным машинистом. Я возле линии рос: где колышки забьешь, где дерн таскаешь, на ремонте путей помогал. В год, когда началось Ишимское восстание, мне было уже девятнадцать лет, меня избрали секретарем комсомольской ячейки нашего депо...

Леонтьев кивал, усмехаясь.

— Припоминаю. А мне тогда было около тридцати. Я был заместителем председателя ревтриба Сибири...

Офицерье использовало недовольство продразверсткой. Восставшие захватили Кокчетав, Тюмень, готовили переворот в Ишиме. Нам сообщили о намечавшемся захвате Ишима накануне. Мы организовали особый отряд — все, что нашлось: восемьдесят курсантов, два пулемета. Четыре человека — ревтрибунал. Мы ясно понимали тогда, что потеря Сибири для революции равносильна самоубийству.

К утру наш поезд должен был попасть в Ишим, потому что утром — начало восстания. Нас было слишком мало, чтобы подавить восстание силой, нужно было выиграть время.

Леонтьев прикрыл глаза мятыми веками, на лице появилась смущенная улыбка. Вот так, вероятно, он лежит сутками в своей комнатухе, читает мировые сплетни на всех языках, а потом окунается в дальние, самые приятные, льстящие его пораженному самолюбию воспоминания. Заново проходят люди, события, звуки, запахи, возникшие и исчезнувшие много лет назад и только в нем и, быть может, еще в ком-то оживающие временами... Впрочем, свидетелей тех событий, вероятно, осталось немного.

На одной из станций нас ожидали умоляющие о помощи люди. В селе Лебяжьем — тридцать километров в сторону — утром будут повешены двадцать восемь коммунистов. Члены ячейки, учителя, беднота, Коммунисты... И все же, посоветовавшись, мы решили продолжать путь на Ишим.

Но в Ишим мы пришли вовремя. Расклеили объявления, что выездная комиссия принимает жалобы от недовольных, — это разрядило обстановку. Поставили пикеты у застав и обыскивали подводы, вылавливали повстанцев. Было взято девятьсот человек. Но главарю восстания, белогвардейцу, удалось скрыться. Мы узнали, что он переночевал у матери секретаря комсомольской ячейки, сбрил бороду, воспользовавшись его бритвой, надел его спецовку и скрылся. Председатель трибунала Опарин и член трибунала Романович поставили фамилию ничего не знавшего и не ведавшего парня в смертный приговор.

— И тогда я сказал, что не подпишу приговор, запишу особое мнение. Революции не надо бессмысленных жертв, жертв, не вызванных необходимостью.

— Это было. — Иван Игнатич вздохнул. — Это было... Иначе я не сидел бы тут перед вами... Скажите, а двадцать восемь...

Леонтьев нервно стряхнул с колен обрывки листьев.

— Были повешены... Я всегда отличался чрезмерной чувствительностью, мягкотелостью. Возможно, если бы я был командиром отряда, я бы пошел в Лебяжье. Спас двадцать восемь человек, прохлопав Ишим. Потому я и докатился до того, что хожу без порток, а собственные дети наплевали на меня... Но теперь уже поздно обсуждать, почему да отчего... Помните евангельскую мудрость?.. Если бы вы имели в душе веру, хотя бы с горчичное зерно! Без веры, без убежденности не выстроить даже жалкий шалаш — бросишь, едва начав... — Леонтьев поднялся. Лицо его вдруг изменилось, сделалось смущенно мягким. — Извините, мне пора. Сегодня ко мне должна прийти моя... — он усмехнулся, — эксплуататорша... Студентка педвуза. Я беру ей «*Neuges claires*», «*Lettres français*» и еще кое-какие газеты и журналы...

Они разошлись в переулке. Иван Игнатъич направился к метро, ему нужно было заехать в главк. Леонтьев пошел домой, нетерпеливо дожидаться девочку, для которой у него приготовлены журналы, газеты и коробка сливочной помадки,— он знал, что «эксплуататорша» любит эти конфеты больше других.

2. Теперь вернемся в год тысяча девятьсот пятьдесят четвертый

ДАША

Не разбирая дороги, она хлюпала по свежим, отражающим вечернее солнечное небо лужам. Почему-то ей было очень весело и легко, она шла и мычала под нос всякие песни. Копится что-то возбуждающее в душе, чувствуешь себя сильной, необычной: встретиться сейчас опасность, неожиданность — только встретиться!..

Вот стоит поперек тропы здоровенный пес — таких много мыкается по своим делам на Кочновке. Тяжело висит хвост, в черных глазах текут невеселые песьи мысли. Тяпнет?..

А ну?.. Даша нагнула голову, собралась вся и, глядя сощуренными, весело злыми глазами в морду псу, пошла прямо на него. Пес постоял, чуть шевельнул ушами, потом опустил нос и потрусил дальше.

Даша легко засмеялась, повела плечами, набрала полную грудь воздуха и не выдыхала, пока не пошли радужные кольца, пока не зазвенело в ушах. Вот какая она — умная, смелая,— море по щиколотку! Пляшет, поет, школу кончила с медалью, работает. Все у нее хорошо. Все должно быть хорошо.

И вдруг засадило, стало беспокойно, неприятно: отец. Всегда у нее меняется настроение, стоит только вспомнить об отце.

Во-первых, он болен. Он всегда болен, сколько Даша его помнит. Во-вторых, никогда не знаешь, по какому поводу он раздражится и будет ворчать весь вечер, всю ночь; заснешь, а он все ворчит, ворчит — как дождь, сквозь худую крышу капающий в таз. Уж и тучи уплыли,— солнце, а из дырки все капает, капает... В-третьих, отец — неудачник. Он с утра до вечера твердит об этом. Тебе жаль его, ты оправдываешь его, он тебе понятен,— но начинаешь бояться: а вдруг и сама? Вдруг и у тебя: надежды, желания — и ничего. Просто ничего...

Почему-то всплыли вдруг в памяти военные годы, что-то смутное, неясное, голодное. Постоянно голодное. Люди, мать?.. Или это ей Василь рассказывал? Сидят они в щели — по всей Кочновке нарыли щелей: бомбят... Но бомбежку она не помнит, представляет только по кино.

Отец во время бомбежки всегда дежурил, тушил зажигалки. Однажды, когда попала бомба в канализационный колодец, его едва не убило. Услышал, что-то летит,— упал на землю, ждет. Хлопнулось рядом — и тихо. Открыл глаза — кусище чугуна, сверху отлитые клочки, буквы... Обычно, когда отец жалуется на жизнь, на свою бездарность,— вспоминает и это. Все не как у людей: едва не убило, и то — чем? Канализационной крышкой!..

Что отец сейчас делает? Лежит, наверное. Отец целыми днями лежит, ему трудно куда-то пойти, что-нибудь сделать. Он все строит планы, намечает — и лежит. Сколько Даша помнит, отец все собирается разобрать завалы газет. В комнате не повернуться: газеты стопками чуть не до потолка, журналы, книжки на полках запылились. А попробуй

начни убирать! «Я пока не умер. В этом барахле — моя жизнь. Подохну — делай что хочешь, а пока...»

От крайнего домика Дашу окликнули. Она обернулась и увидела Зойку Дьяконову.

— Зайди-ка! Зазналась совсем!..

Зойка и Даша были ровесницами и когда-то даже «водились», но в школу Зойка пошла года на два позже, училась плохо. Иногда Даша заходила к ним, но в общем-то, конечно, теперь они были совсем разные.

Вырастая, Зойка внешне почти не менялась. Так и оставалась курносенькой растрепанной дурнушкой, только вот одеваться начала неожиданно шикарно с тех пор, как вернулась после амнистии сестра.

— Что не зайдешь никогда? Знаешь ведь, как мать тебя любит. Спрашивает все. Пошли, у нас гуляют. Пирог мать спекла.

Пирог Зойкина мать пекла хорошие, и Даша сглотнула слюну.

— Пошли. — Зойка втянула ее за руку через порог.

Еще в коридорчике, где Даша снимала, чтобы не наследить, свои концы размокшие ботинки, она услышала пьяный хор голосов.

Ах, зачем эта ночь
так была хороша...

В нос ударил кислый тошнотворный запах винегрета, перемешанный с водочной вонью. Даша вошла.

Гостей было человек пятнадцать, кроме старшей Зойкиной сестры Ритки, привалившейся к плечу какого-то парня с челкой, да Надежды — матери Зойки и Ритки, Даша не знала никого. Все уже крепко подвыпили, грязные тарелки осклизло краснели остатками винегрета, желтел рыбный соус, торчали окурки. Вяло пели. Парень с бледным угрюмым лицом мял клавиши аккордеона.

Надежда поднялась Даше навстречу. В цветастом шелковом платье, пуфами топорщившемся на плоской груди, на худых деревянных плечах, с лицом, грубо раскрасневшимся, с заплаканными веселыми глазами, она повисла у Даши на плече, приговаривая:

— Гостя-то какая дорогая! Выросла-то как, доченька!.. И красавица, вся в мать!

Она засуетилась, освобождая ей место, сгребла в сторону тарелки, принялась ставить на стол блюда с пирогами. Потом всполохнулась:

— Налейте ей выпить-то. Осталось?

Кто-то с того конца стола протянул бутылку с остатками водки.

— Я не пью водку, — сердито сказала Даша.

— И не пей, — согласилась Надежда. — Рано еще. А рюмочку выпей, за маму. Ничего, выпей.

Пьяные встрепенулись и заинтересованно обратились к месту спора.

— Выпей, чего там!

— Выпей!..

— Не кобенься, не треснешь!..

Даша взяла рюмку. «Вот еще, разговоров сколько... Один глоток».

Она быстро втянула в себя содержимое рюмки и, стараясь не морщиться, не передергиваться, проглотила. Сразу горячо стало в животе, потом ослабли, налились горячим руки и ноги, отяжелела голова. Но скоро это прошло, стало просто весело, только глаза как-то необычно окаменело таращились на лице. За столом допевали песню, и Даша, не задумываясь, прямо с полуфразы, с полтакта вступила, подлаживаясь к пьяным разлитым голосам. Где-то в подсознании всплыли слова и даже интонация голоса, каким певала ее мать.

...Полюбил я ее,
полюбил горячо,
А она на любовь
смотрит так холоднб...

— Ах, озорная! — ободряюще вскрикнула Надежда. — Голосистая, как есть вся в мать!

Зойка вдруг вскочила, стала сдвигать к стене столы, стулья.

— Плясать, плясать! — крикнула она. — Дашка, цыганочку!

Никто никогда не учил Дашу плясать, но, сколько она помнила себя, она всегда плясала на вечерах в школе, на демонстрации, на гуляньях. Она так привыкла к этому, что никогда не дожидалась, чтобы ее упрасивали, не стеснялась. Петь и плясать для нее было почти таким же обыденным делом, как говорить или ходить.

Даша вышла на середину, ожидая такта, стянула клетчатую рубаху, бросила на стул. Теперь на ней осталась голубая тренировочная майка и выпачканные, закатанные по щиколотку над босыми грязными ногами брюки. Музыка нервно заторопилась, кто-то, кажется, Надежда, залился безудержно, потерянно:

Я цыганкой родилась
меж лесов, среди полей.
Рано кровь во мне зажглася,
рано страсть сказалась в ней!

Даша пошла по кругу, изгибаясь и пришлепывая руками по голым ногам, скользким бедовым шагом все быстрее и быстрее.

Не училась я науке,
не прочту и пары слов.
Лишь одно далось мне в руки
изо всех наук — любовь!

Нервная подхлестывающая музыка, этот потерянный разлитый голос, душный, полный пьяного угара воздух, жадные взгляды, хлопки, выкрики — все это пьянило Дашу, кружило ей голову. Она уже плясала по-настоящему, как плясали цыганочку у них на Кочновке, помнящей еще бывшие цыганские хоры и непристойную удаль цыганок. Даша умела это — изгибаясь всем телом, нестись под музыку, встряхивая руками, будто в них вился и звенел бубен с лентами, хлопая себя по ногам и бедрам, перетряхивая плечами так, что мягко дрожали под выцветшей майкой груди...

Рев, хлопки, согласный звон ножей по тарелкам все усиливался, кто-то не выдержал, вскочил, пошел рядом с ней, тяжело топая, громко ругаясь. Даша, чувствуя, что больше не может, что сейчас упадет, остановилась, отошла, прислонившись к стене. Ее уже не замечали, в круг выскочил еще кто-то, потом еще. Даша взяла со стула рубаху и, отирая ею пот с лица, тяжело дышала, тупо глядя на мелькающие перед нею спины, лица. Вдруг она почувствовала, что на нее смотрят, и обернулась.

Рядом с гармонистом сидел, согнувшись и положив подбородок на ладони, какой-то парень в шелковой светлой тенниске. Был он, очевидно, невелик ростом, короткие темные волосы косо упали на лоб, рот полуоткрыт, два верхних зуба выщерблены уголком, и в этот уголок втянута нижняя губа, будто парень вот-вот собирается засвистеть. Выражение лица у него напряженное, тревожное и глаза тяжело, неподвижно остановились на Даше.

Даша отвернулась и, все еще чувствуя на себе этот взгляд, выскочила на улицу.

В окне их комнаты горел свет. Даша повеселела. Хуже всего, когда отец лежал в темноте на скрипучей кровати, дожидаясь Дашиного прихода, и вздыхал. Отец не зажигал света и после того, как она приходила, только когда, попив на кухне чаю, Даша ложилась, он поднимался, и начинался допрос: «Где была? С кем?»

Даша взбежала по лестнице и открыла дверь. Ах, так вот почему

горит свет, вот почему отец идет навстречу, шаркая рваными галошами, и хоть криво, но улыбается. У них Маргаритка. Отец ее очень любит.

— Знаешь, тебя ждать!.. Сижу уже три часа!

Интересно, как быстро все же люди перестают понимать друг друга. Совсем недавно Маргаритка никогда бы не дала отцу такой хороший повод поворчать. Но отец, будто ничего не слышал, зашаркал на кухню разогреть Даше суп.

— У нас субботник был, на черном складе лом убирали.

— Ладно. Просто я разозлилась.— Маргаритка понизила голос: — Завтра в семь у нас. Мои на дачу уедут. Давай деньги.

Они давно хотели собраться, отметить окончание школы: начнутся занятия в институтах, никого не отыщешь. Но даже такую невинную вещь приходится от отца скрывать. «Вечеринка! Знаю я эти вечеринки — один разврат! По материным стопам идешь!..» Маргаритка тоже привыкла, что Даше приходится все делать тайком.

— Ну, до завтра.— Маргаритка поднялась.— Ты и не заметила: я косы отрезала. Идет?

— Идет.

— Отрежь и ты свои.

— Мне не пойдет, у меня лицо широкое.

— Все же более современно будет.

Она ушла.

Отец принес тарелку и кастрюльку с супом, поставил на стол.

— Что так долго? — спросил он, против обыкновения, миролюбиво.— Какой там субботник — в темноте!

— А у нас прожектора на складе.

Отец, недоверчиво покряхтывая, опускается на кровать, подсовывает под голову жесткую подушку. Берет журнал, извлекает оттуда два заштемпелеванных конверта. Один из них, запечатанный, подает Даше.

Еще один громоотвод, по которому ушел в землю разряд, предназначенный для Даши... Обычно Василий посылает отцу и сестре письма в разных конвертах, но отец не оставляет Дашину корреспонденцию без цензуры. И на этот раз заметно, что письмо вскрывали, а после заклеивали снова. Даша усмехается. Привыкла. И потом, когда будет очень нужно, письма она станет получать «до востребования»...

«Здорóво, Рыжик!

Новая моя работенка ничем не хуже прежней, даже, пожалуй, веселей. Получаю я хорошо, так что в следующий раз, помимо обычных денег, пришлю тебе на зимнее пальто. Как вспомню твой обдергайчик детский и московские зимы — жуть берет. Пошлю тебе лично, денег ты этих отцу не отдавай, иначе пальто не купите. Прожрать можно все... А я скучаю. По тебе и даже — не поверишь — по отцовской воркотне скучаю. Хотя все-таки дома бы жить не смог... Это уж пусть до поры он над тобой мудрует, с меня хватит. Как надоест тебе, Рыжик, приезжай ко мне. Места красивые, тайга, горы — все, как, бывало, отец рассказывал. Сибирь. Но, конечно, девушкам здесь приходится несладко: мужичье кругом вроде меня. Грубое, невеселое. Не их это дело, не девчачье, — строить дороги в тайге. Но тебя бы уж я уберег. Славно бы нам тут с тобой жилось. Рыжик, может, приедешь?.. Я бы пить меньше стал. Пью я сильно со скуки. Скучно мне тут вечерами. Тошно. Жениться вроде рано, не хочется, да и на ком тут женишься? Приезжай, сестренка, хватит, пожалуй, старику мудрить над тобой, а я бы придел тебя тут с иголки...»

Даша дочитала письмо, легла на раскладушку, заложив руки под голову, глядя в грязно-желтый с разводами потолок. Побелить бы, ободрать обои, выбросить весь этот бумажный хлам... Но у отца свой ритм жизни. И Даша живет здесь как на вокзале: не мое, скоро я поеду

дальше. Это даже не осознанно, просто ощущение такое. Прибежала вечером, переночевала — и на улицу, в школу, на работу, к подружкам...

Василия Даша любила, пожалуй, больше, чем отца, а уж доверяла ему гораздо больше. Отцу она еще девчонкой приучилась многого не говорить, просто чтобы не вызывать лишних громких разговоров. Ваське она рассказывала до самого его ухода в армию абсолютно все: с детства привыкла. Он был ей вместо няньки, и «кочновские огольцы» считали обычным, что за ними везде таскается сопливая рыжая пацанка, они даже не замечали, что она растет и вроде бы ей уже не годится принимать участие в их забавах. До самой школы Дашу одевали в старые Васькины штаны и рубахи. Другие дети спят с матерью — эта память родного тепла остается на всю жизнь, Даша лет до одиннадцати спала на раскладушке вместе с братом. В общем, всем для нее был Василь, ее единокровный братишка, — матерью, сестрой, подругой. Очень она скучает по нему...

Зря Василий написал такое письмо. Знает же, что отец наводит цензуру ее почте. Небось теперь ему обидно. «Я на вас жизнь угробил...» И на самом деле так. Другой вопрос, что это, наверно, никому не принесло радости...

— Ты что не спишь?

— Думаю...

Отец пошелестел листами «Юманите», разглядывая портрет героини какого-то очередного скандала, потом вздохнул:

— Вот, пожалуйста!.. Трех дочерей родители отравили газом, сами же утопились в море. Оставили денег на похороны и записку, что не желают видеть, как девочка будет мучиться, умирая от радиации... Погляди: четыре года девочке, шесть и двенадцать. Безобразие какое... — Он закашлялся, полез в карман за тряпкой, начал долго прочищать нос, незаметно утирая глаза, — уловка, давно известная Даше. — Перед первой мировой войной, я помню, тоже прошла эпидемия самоубийств. Возле Томска у нас даже гора самоубийц была, там, я тебе рассказывал, брат застрелился... А две приятельницы мои, курсистки, собрали вечеринку, приняли красивые позы среди цветов и отравились индейским ядом кураре. Моментальная смерть, причем лицо совершенно не искажает... Я тогда в тюрьме сидел за «причастность», так что, слава богу, не был на этой вечеринке. Угар какой-то...

Даша взяла большие, как простыни, листы с огромными серыми пятнами фотографий и рябившими в глазах столбиками убористого шрифта, взгляделась в серьезные лица девочек. Молча отдала.

Бродит в воздухе беспокойное. Отец строит прогнозы относительно внутренней и внешней политики, — когда что-нибудь сбывается, хвастает: «У меня чутье...»

Василь правильно говорит, что отец всегда находится в оппозиции к существующему порядку вещей. Раньше, открывая газету, он фыркал: «Ну вот! Опять благодаря его личной инициативе открыли мастерскую по пошиву дамских лифчиков. Без его инициативы мы бы погибли просто, остальные все — дураки бессловесные!.. Сколько можно печатать поток приветствий по поводу дня рождения?.. Еще Козьма Прутков о фонтане, который...» Теперь отец говорит: «Первая годовщина смерти — и так все сдержанно, будто умер просто секретарь обкома!.. У него имелись свои заскоки, но, если говорить всерьез, на его авторитете все держалось. Мне рассказывал сегодня в очереди профессор...»

Повесил портрет, прибил веточки, теперь доволен.

Словно начало нового века — тот день, когда они проходными дворами пробирались к Дому Союзов... Сейчас, словно бы протрезвев, глядишь назад, и удивляешься себе, и не понимаешь — что же было тогда? Любопытство? Горькое желание взглянуть в последний раз, увидеть

хотя бы мертвого, если живой он показывался немногим?.. Желание убедиться, что действительно мертв бессмертный?.. Тот день, словно начало ожидания... Очень ждется что-то. Очень верится в хорошее...

Важно точно определить себя в жизни, в том, что свершается. Важно знать, чего ты хочешь и куда идешь. Отец, вероятно, думает, что она идет туда, куда он ее подталкивает. Движение по восходящей: копировщица, детализовщица, конструктор... Господи! Как не понять, что хочется необычного.

Копирование... Трижды, четырежды снятое молоко. У тех, кто создавал эти чертежи, тоже не было своих откровений: существуют стандартные узлы, их десятки лет переносят со станка на станок.

Новый взгляд на вещи... Тот, кто выдумал колесо, вовсе не обладал новым взглядом, хотя придумка ценная. Всякий первобытный дурак знал, что круглый камень или круглый ствол легче катить — остальное уже усовершенствование, обычное рацпредложение. Лыжи — пожалуй, новый взгляд, — удлинить свое тело, придав ему быстроту полета птицы... Или тот, кто выдолбил первый сосуд и налил в него воду. Создал крохотную модель земли, собирающей в складках из капель росы и дождя моря и озера... Или тот, кто, сев однажды отдохнуть на рельсы, вдруг увидел, как они пересеклись в пространстве...

У них в конструкторском никто не видит пересекающихся рельсов. Впрочем, Даша пока их тоже не видит.

Но это ее даже не огорчает. Подумаешь! Вряд ли, взяв учебник физики, кто-нибудь станет проливать слезы умиления над тем, как точно и изящно сформулирован закон Ома. И в то же время — открой любую книгу из тех, что отстоялись уже на полках. Вот что удивительно — связь между передающим и принимающим, связь через десятилетия, века, тысячелетия... Тоненькие дощечки, прикрепленные к музейной стене, — на них тревожные черные глаза и болезненная гримаса парня, умершего полторы тысячи лет назад. «О, мое сердце, молчи, не открывай моих прегрешений богу!..» Кто первым написал эти слова на жуке-скарабее и вложил их туда, где должно быть у мертвеца слабое человеческое сердце?.. Кто увидел лицо этого парня, твоего ровесника, таким, каким жило оно, — страстным, ждущим, не умеющим солгать?..

Или, например, как освободить человека, сделав его молодым, легким и доверчивым, точно первый олененок? Как усыпить гнетущий опыт ранних поколений?..

Как сделать, чтобы каждый был самим собой, чтобы Надежда не спекулировала, Ритка не воровала, чтобы отец Ефимки был добр к сыну? Как их убедить и кем нужно быть для этого? Учителем? Врачом? Секретарем обкома комсомола? Начальником цеха?.. Люди, хочется делать для вас что-нибудь трудное и прекрасное...

Даша натянула одеяло на голову, проглотила спазму, стиснувшую горло. Спазма прошла, и она стала думать о завтрашней вечеринке, о том, что у нее нет туфель на каблук и надо попросить у Зойки, о том, придет ли Мишка Лядов. Потом вспомнила Маргариткины слова: «Ты некрасивая, Дашка, но добрая. Найдется хороший человек, полюбит тебя, и ты будешь счастлива». Стало обидно. «Ладно же, — подумала Даша, — красивая! Зато я умная, зато я на все руки! Увидим еще!» Ей вспомнилось, как глядел на нее тот шербаый парень в светлой тенниске, когда она плясала, и она самодовольно улыбнулась. Потом принялась вспоминать последнюю итальянскую картину, представлять себя на месте героини: «Тот, кто любит, — отзовется!.. — кричал ей красивый добрый парень. — Кармела!..» «Ты лучше всех, Дашка», — добавлял он после, уже не согласуясь с текстом сценария.

— Не спишь до сих пор? — сердито спросил отец. — Лежишь тихо, я думал, спишь давно, а ты... О чем можно размышлять столько времени?

— Ну, размышляю.— Даша повернулась лицом к стене. Только этого не хватало, еще мысли ее он контролировать собрался! — Размышляю о том, как лучше выполнить комсомольское поручение.

— Какое поручение, что ты ерунду городишь?

— Не ерунду. Я взяла шефство над парнишкой из механического цеха.

Всегда важно не растеряться. Вранье по вдохновению — великая вещь!

— Парнишкой? Что у вас в организации, девушек нет?

— Да это Ефимка, хвостик Васькин! Ему шестнадцать лет только.

Ефимка действительно существовал и даже бывал у них раньше довольно часто. Отец успокоился. Даша села и начала одеваться: надо предупредить все же Ефимку насчет вечера у Маргаритки. А то он еще к матери уедет.

— Куда ты?

— Я сейчас.

— Невозможный в самом деле ты человек!..

Добежав до маленького домика напротив, Даша стукнула в светившееся окно. Вышел Ефимкин отец, приземистый, широкий, пахнущий бензином и водочным перегаром.

— Ты?.. Не приходил он еще. Кто его знает, где...

Даша медленно пошла прочь, раздумывая, как бы ей вернее найти Ефимку. Спотыкаясь в темноте о старое железо и доски, она заглянула в полуразвалившийся сарай, послушала, позвала. Неподалеку был старый трехэтажный дом, в котором помещалась аптека: здесь, под лестницей черного хода, иногда сиживал Ефимка. Даша вошла в пахнущее кошками парадное, ошупью нашла перила, постояла, прислушалась. Раздался не то шорох, не то вздох.

— Ефимка! — тихо позвала Даша.

— Чего тебе? — не сразу отозвались из-под лестницы.

— Дай руку, где ты?

Даша нащупала протянутую руку, пробралась под лестницу и села рядом с Ефимкой на что-то, мягко пыхнувшее пылью.

— Иди домой, вроде не пьяный он. Так, чуть-чуть.

— Сейчас пойду.

Помолчали.

— Васька письмо прислал, спрашивает, как ты? Зовет, не приедешь ли?

— Не могу я.

— Хоть бы в общежитие ушел.

— Не могу, что ты как маленькая.

— В милицию бы заявил.

— Станут меня слушать... Ладно, не стони, и так тошно. Знаешь же, мать болеет. Выздоровеет, вернется в город, добьется развода, дом разделим...

Родители Ефимки два месяца назад разошлись, мать с младшей дочкой уехала в деревню к родным, оставив Ефимку, чтобы отец тайно не продал дом. Отец привел себе новую жену, а сына называл «караульщиком» и ежедневно избивал. Ефимка упрямо держался, но последнее время стал сдавать. Иногда, вместо того чтобы идти домой, он скитался по улицам или отсиживался в каком-нибудь парадном, надеясь, что когда он придет, пьяный отец будет спать.

— Завтра вечером ты к матери едешь?

— Хотел.

— Не езд, наши ребята собираются у Маргаритки. Приходи.

— Ну приду.

Они дошли до Ефимкиного дома. Света уже не было.

— Легли, что ли? — неуверенно сказал Ефимка и дернул дверь. Дверь была заперта. Ефимка подергал сильнее, постучал. В доме было тихо.

— Погоди, дай я.— Даша забарабанила по стеклу.— Откройте!..

Зажегся свет, дверь отворилась, Ефимку впустили. Даша постояла, настороженно прислушиваясь. Что-то упало с грохотом, и женский голос застонал:

— Не трогай его! Как надоел ты мне, уйду я... Не тронь его! А-а-а!..

Даша застучала в окно. Все стихло, погас свет. Даша подождала еще, но теперь было совсем тихо. Она медленно пошла переулком.

Хотя бы уничтожили эту водку, что ли. Ведь было же время, когда у нас запрещали ее продавать. Конечно, сразу люди отвыкнуть не могли: варили самогон, пили разную дрянь. Но наверняка ведь меньше пили!.. А главное, новые люди не приучались бы пить, те самые, что живут сейчас. Впрочем, в Швеции, кажется, сухой закон, а нигде так не пьют, как там. Пьют, стреляются, травятся... Выходит, дело не в том, чтобы просто запретить водку или вино?..

Дурацкая у нее натура — зацепит что-нибудь — и болит внутри, стыдно, тошно, будто это она виновата во всем, будто сама она счастливей всех. Впрочем, странно, себя она всегда чувствует счастливой. Несмотря на отцову воркотню, на то, что бегают черт знает в каком рванье, на то, что из-за отцовой безалаберности у них, бывает, порой и есть нечего... Ничто ее не касается, хорошо ей самой с собой, и такая вера сумасшедшая в то, что ждет ее удивительное, настоящее, чего еще ни с кем никогда не было...

ВАСИЛИЙ

Они повесили на сосну возле столовой Мишкины карманные часы и стреляли в них. Кто попадет — получает пол-литра спирта. Стреляли со ста метров. Надо было убить время, слишком оно тянулось по вечерам.

Сначала стрелял Яха Петров, «братуха» — двоюродный брат бригадира, толстогубый, веснушчатый и смешливый. И промазал.

Потом стрелял сам Мишка и тоже промазал. За ним стреляли остальные шесть членов бригады, и лишь у одного чиркнула пуля по цепке.

Василий стрелял последним. Он был пьян уже, все они были пьяны. Не целясь, навзлет, жажнул он по часам — и только стекло цвенькнуло — вдребезги! Были часы — нет часов.

— Твоя.— Мишка достал из кармана поллитровку и граненый стакан.— Твоя.

Василий шаркнул о ствол горлышком, поднес стакан ко рту и остановился. Из столовой выходил Иван Игнатьич. Медленно спустился с крыльца, пошел прямо, будто не видя ребят, на Василия. Василий стоял покачиваясь, наклонив голову, тиская в руках стакан и разбитую бутылку.

Иван Игнатьич шел по тропе, опустив брови, глядя себе под ноги, размеренным, неспешным шагом — и Василий в последнюю минуту отступил.

— Ходят... Начальники... Вашу мать...— проговорил он вслед.

Мишка засмеялся. Василий поглядел на разбитую бутылку, на стакан, зажатый в руке, и выплеснул остатки Мишке в лицо. Мишка снова засмеялся. Василий бросил стакан и пошел к вагонам.

Лег на сматую, застланную байковым одеялом койку прямо в сапогах, закинул руки за голову. Потолок вагона вращался неторопливо и, покачиваясь, снижался, вставал на место. Василий зажал виски руками и начал ругаться страшно и долго. Бригада собралась в вагоне, все рас-

селись по своим койкам и с уважением слушали, как Василий ругается. Он был пьянее всех.

Наконец это ему надоело, он замолчал, отвернулся к стене. Почему-то вдруг показалось, что пришла Сима, сидит на кровати, гладит его по волосам. Дура. Все бабы дуры... Жалко... Липнут, как мухи, а наплевать ему на всех. Есть — ладно, нет — и так хорошо. Жалко после. А что делать, не солнышко, всех не обогреешь. Но жалко.

Василий скривился, помотал головой.

— Ну, где ты, иди сюда.

Сима и правда сидела рядом. Василий притянул ее к себе, спрятал горячее набухшее лицо у ней под волосами на шее. Не нужна она ему, никто не нужен.

«Познакомимся? Василий. Родился по собственному желанию, умру по сокращению штатов». — «Пошел ты, знаешь! Я тебя сто лет жду в белых тапочках в гробу...» Кругом захихикали, но Василий видал всяких, не смутишь. Лапнул сидевшую рядом с Симой девчонку, та подскочила, взвизгнув, — он плюхнулся на ее место.

Она была лучше всех здесь, эта Сима, — худенькая, в цветастом платье, синие глаза, на худых щеках ямки, в ушах сережки. Он танцевал с ней всякие танцы на бревенчатом — только кант снят — полу мехмастерской, где, за неимением клуба, собиралась молодежь. Потом Василий плясал — яростно, бледнее и закусывая губы, как плясали у них на Кочновке, потом пел под гитару, пока не охрип. А после он уже знал, что любая из девчат — протяни только руку — пойдет с ним. И Сима пошла. Она нравилась ему тогда, озорная на язык девчонка-штукатур, детдомовка. Нравилась, а теперь давно уже не нравится, только жалко...

— Иди. Уйди, Симка...

— Может, тебе воды холодной принесть? Вася?..

Узкая шершавая рука гладит лоб, потрескавшиеся от известки пальцы разбирают спутанные волосы. Открой глаза, встретишь такой преданный, тоскливо-нежный взгляд...

— Иди... Ну?..

Сима уходит. Ребята легли спать. В вагоне сонное дыхание, храп, кто-то стонет во сне, кто-то ругается. У Василия кружится, плывет все кругом — тошно. Он выходит из вагона, садится на рельсы.

Ночь. Небо высокое и черное выгнулось над поселком, напряжено, натянуто от холодности и чистоты, медленно, зыбко вращается, бархатными волнами покачиваются сопки.

Непонятно. Василий потряс головой, стиснул лоб ладонями. Ничего не понятно. Для чего ты?.. Для чего все?.. Непонятно.

Был же какой-то смысл в том, что ты родился, ходишь по земле, ешь и спишь. И пьешь... В том, что ты мальчишкой голодал, что тебе не было еще тринадцати, когда ты начал делать на заводе затворы к автоматам. Был в этом смысл? Ты купил на рынке буханку белого хлеба за двести пятьдесят рублей — вся первая получка, — сидел и смотрел, как Дашка ест. Чувствовал себя старым и нужным. Знающим и умеющим больше, чем просто съесть этот хлеб на улице, не донеся до дому. Для чего-то нужно было это знание, это нетягостное умение себя превозмочь?..

И что-то было впереди. Неясное, правда, но было, ты чувствовал: оно ждет. Но отодвигалось, отстранялось. Кончится война. Пойдет в школу Дашка. Отдохнет немного, подлечится отец. Отец сразу вышел на пенсию, едва отменили карточки, и семья легла на тебя. Теперь наконец пошла работать Дашка, ты сам стал взрослым... Это как паломничество на край земли. Идешь, идешь, отдохнешь — идешь дальше. Трудно, устал, но идешь... Наконец устал совсем. Понимаешь, что края нет. Земля круглая. В конце концов в этом тоже есть свой скрытый смысл, поддержание круговорота веществ в природе. Живи...

Утро... Утро холодное, солнечное. Рядом с насыпью вихляет желтый грейдер, самосвалы везут рабочих, лениво встает тяжелая от росы пыль.

Василий ткнулся плечом в содрогающуюся стенку мотовоза, покачивается, отталкивая носком сапога закрывающуюся дверь, смотрит на убегающую тайгу. С каждым ударом свежего, как вода, чуть подмешанного запахом отработанной солярки ветра яснее голова.

Хорошо, что после сумерек, после ночи наступает утро. Утро — это трезвость, холодок. Это усмешка над собой вчерашним.

Покачиваясь, идет мотовоз по рельсам, толкает впереди себя платформы с пакетами. Сегодня у них укладка. Ребята расселись на корточках вдоль стен, молчат: кисло после выпивки. Только бригадир Алеша Рубцов покуривает, отпускает какие-то шуточки. Алексею тридцать, остальные члены бригады много моложе.

Мотовоз останавливается. Справа сопка, слева обрыв, внизу наломан серый сухостой, шелестит черная речонка.

Ребята спрыгивают на насыпь, неторопливо, по осыпающейся бровке, проходят вперед, туда, где кончаются рельсы, где стоит старый путеукладочный кран ПК-6.

Еще ленивы движения, еще хранит инерцию покоя тело. Руки не спешат браться за железо. Пальцы шарят по карманам, достают коробки, разминают сигареты. Лица спокойны, движения вялы, губы произносят какие-то обыденные малозначащие слова.

Прихмутив светлые брови, подобравшись, появляется Алексей — и люди вдруг рассыпаются и стягиваются вновь, уже попав в какой-то начальный медленный ритм. Еще ничего не слышно, еще только замерли, собрались внутренне, еще ничего нет.

— Давай! — Алексей машет рукой, свистит. Вспарывает свистом напряжение, дает тон. — Вирай!..

Затарактел, попрыгивая, краник, развернул стрелу, повисли над черной стопкой пакетов троса. Яшка взлетел по пакетам наверх, зацепил кошки. Вон он покачивается на скользких от креозота шпалах темным пятном на голубом небе. Кепка надета козырьком назад. Мгновение — он снова на насыпи, отбежал: сюда, он прикинул, ляжет конец пакета. Чуть согнувшись, приготовился, ждет, глаза, прикрытые светлыми ресницами, озабочены, отрешены от всего: он в ритме.

Пакет медленно сползает с общей стопки, громоздко, огромно раскачивается, плывет полукругом, пятня аргиллит четкой решеткой тени. Снижается.

— Майнуй!

Ниже, ниже, вот он уже повис над самой насыпью. Алексей вспрыгивает на крайнюю шпалу, балансирует, присев на кривоватых ногах, щурит глаза: нужно, чтобы середина пакета легла точно по оси пути, отмеченной на насыпи беленькими колышками.

Пакет лег на насыпь.

Еще четверо затянуты в ритм: Федя и Коля Евлахов у левых стыков, Мишка и Василий у правых. Торопясь, выбивают костыли, разгоняют стыки на положенные полтора сантиметра. Пришлепнув на бока рельсов накладку, скрепляют пакет с тем, что лежит здесь давно.

Мишка не может никак опомниться после вчерашнего, глупая толстая морда ухмыляется, ключ то и дело падает из рук. Неожиданно, потеряв равновесие, Мишка суется под колеса краника, ржет. Укладка не любит шуток: одно неверное движение — и лежишь ты под многотонной тяжестью, приказав друзьям доживать и допивать за тебя. «Иди, гад, умойся, к ручью, а то прогоню! Напьются, суки, переживай за них!..» Мишка съезжает по обрыву вниз, слышно, как он там смеется и орет, как плещется вода.

Василий уже совсем трезв, работает привычно, точно. Он быстро осваивается теперь с новыми специальностями: два месяца назад он еще и в глаза не видел, как кладут путь. Есть в этой работе что-то необычное, притягивающее, сам не поймет что.

Еще все сделано начерно, еще пакеты скреплены едва-едва, а краник, попрыгивая, побрызгивая капающей из инжектора водой, ползет вперед, тянет за собой платформы. Хрустит на рельсах песок, вминается в насыпь пакет: краник уже освоил эти новые двенадцать с половиной метров пути.

Теперь вся бригада включена в ритм. Взлетает вверх по шпалам Яшка, угрожающе плывет над головами пакет, падают костыли, звенят накладки — а сзади, за уходящим вперед краном, торопясь работают ребята: накрепко, навечно зачисляют этот кусочек пути во многие километры магистралей страны.

— Давай! Вира! Вправо... Рихтуй немного... Майна!..

Это как музыка, как песня, у которой нет конца, — подчиняющая, захватывающая мелодия: вздох — и снова, и опять, и дальше.

Течет назад красная гривка, цепляются друг за друга ржавые необкатанные рельсы... Все отошло, все забыто...

— Убери, — сказал Василий Мишке, когда тот, вынув из-под стола бутылку, начал наливать ему в стакан. — Хватит. Пока я непьющий.

— Не пьют только телеграфный столб и стол. Столу не подносят, а у столба чашечки перевернуты... Не будешь? Катись тогда.

Василий молча доел свои три вторых, запил холодной водой из бачка, вышел на улицу.

Смеркалось. Тарахтела под навесом «жээска», дающая поселку ток, из черной тонкой трубы поднимался синий дымок выхлопа. Поселочек, стиснутый приблизившейся в сумерках тайгой, неярко светился окнами, шелестел голосами, тихо жил. Из тайги тянуло холодом и сыростью, тайга обволакивала маленькие домики тьмой, опускала на них свою тишину, она еще не понимала, не чувствовала, чем грозят ей эти огоньки, эти голоса, эти домики, — слишком ничтожно было все это по сравнению с ее огромным. Но поселочек светился, и среди многих нитей света, которые протягивала во Вселенную земля, тянулись ниточки и из этого поселка. В них здесь вплеталось не меньше надежд и тревог, не меньше улыбок и горя, чем в любом другом месте земли, хотя поселочек был нов и мал и затерян среди царства камня и дерева.

На нижнем сучке сосны еще покачивалась от ветерка цепка Мишкиных часов. Василий, подпрыгнув, сорвал ее. Подойдя к своему вагону, постоял, держась за буфер, потом двинулся дальше по путям. Все равно он не заснет, сейчас придут ребята, а разговаривать ни с кем не хочется.

Василий шагал по пути медленно, перепрыгивая через шпалу. Както нескладно лежат эти шпалы: ни шаг, ни полшага... А Иван Игнатьич выработал себе походочку точно по ширине шпал. Он и по земле ходит тем же подрагивающим коротким шажком: много сотен километров прошагал за жизнь по шпалам, выработается походочка...

Зайти к нему? Просто так, спросить что-нибудь. Нет, сказать: виноват я. Ну, что поделаешь: глупо, дурак... Обидел я вас, а вы — человек. Гадко мне...

ИВАН ИГНАТЬИЧ

— Ну, не хочешь с Горяиновым связываться, давай я к Сахарову поеду. Я его уломаю с начальником группы заказчика поговорить, чтобы приняли путь без кюветов и водоотводных канав.

Емельянов вопросительно поглядел помутневшими с красноватыми белками глазами, потом застучал носком пыльного сапога по полу.

— Не хочешь? Ты слишком прямолинеен, Иван. Так нельзя. Все крутят, как могут, стену не лбом прошибают.

— Я поеду сам.

— Ну, хорошо.— Емельянов поднялся и заходил по кабинету.— Но ты хоть упроси его тогда, чтобы нажал он на заказчика. Позор, по всей линии ни у кого такого выполнения нет!..— Он снова сел на подоконник, заиграл в голосе убеждающими нотками: — Подмасли, угоди старику. Любит, чтобы, как вошел ты, не садился, пока не предложит, а если и тогда не сразу сядешь — развеселится, сам из-за стола выйдет, усадит. Сердце его растает — проси, что хочешь! Поступись ты, понимаешь, своей непробиваемостью, подмасли старика... Жизнь большую прожил, ордена на груди не помещаются, «Ленин» еще на винтике, довоенный! Щенки мы перед ним...

Емельянов закурил, примостился на подоконнике, обхватив сгибом локтя колено, и сквозь дым от сигареты разглядывал отекавшее спокойное лицо Ивана Игнатьича.

Он помнил Ивана веселым, добродушным и застенчивым. Силач, скатывающий в трубку меж пальцев двадцатикопеечную монету,— Иван по-детски восхищался в цирке силачами, поднимающими штанги с картонными гирями, ленивыми жуликами-борцами. Восхищался им, Георгием, его ловкостью, его умом, хотя был старше лет на пять, а выглядел Георгий тогда вовсе мальчишкой. Все принимал на веру.

Собственно, та история была задумана, как хохма, розыгрыш. Все начиналось с фразы, которую случайно передала Аня: «Если они враги, то и я враг...» Эта мысль щекотала, не давала покоя — наконец он привел ее в исполнение, как и все свои придумки, на недостаток которых не приходилось жаловаться.

Емельянов не сомневался тогда, что в самом недалеком будущем ошибка выяснится, Иван недельку посидит в камере предварительного заключения, а куда он успеет жениться на Ане. За себя он не беспокоился: выкрутиться, отбрехаться сумеет всегда. Но оказалось, шуток в те времена не понимали...

Емельянов бросил окурок в окно, закурил новую сигарету.

Лагерь на Печоре, строительство железной дороги, пять лет — а потом война. Иван попросился на фронт, ему разрешили, год он воевал в штрафбате, остальные четыре — ездил с ГОРЕМПом — головным ремонтным поездом: когда приходилось отступать, они взрывали пути, когда пошли в наступление — клали рельсы. После войны Иван работал на одной из северных строек. Но вот судьба столкнула их... Ничего, конечно, особенного, Иван даже не упрекнул его ни словом. Дело обошлось без традиционной пощечины и громких фраз. Сняли с начальника Павлова, прислали Ивана. Но совсем не того смущающегося добродушного Ивана; с его приездом Емельянов почувствовал, что есть на свете человек, который не подвластен его обаянию, его шутовскому словоблудию. И главное, своей широкой спиной Иван загородил Емельянова. Павлов все дела поезда, которые требовали дипломатии и непосредственных контактов с начальством, препоручал главному инженеру. Так было лучше для поезда и для Емельянова: его лично знал и помнил министр. Иван предпочел все эти дела принять на себя...

Дорога ляжет после на карте коротенькой красной ниткой, соединив металлургический комбинат, который строится в Соньске, с шахтами и рудниками в горах. Даст выход с перегруженной, захлебывающейся перевозками магистрали на другой путь.

Это будет. А куда построено меньше половины, куда брошены в тайгу техника и люди — работают. Не хватает денег, не хватает тех-

ники. Шахтеры требуют, согласно договоренности, подъездных путей к шахтам: уголек пошел, а возить его машинами убыточно. Министерство требует, чтобы ускорили работы на главной линии. И на то и на другое техники не хватает.

Вот и спорят подрядчики с заказчиками, кто что должен давать, крутят, вертят, уговаривают друг друга — и без толку. Никто все равно не может уступить: у всех всего в обрез.

Кравец, начальник управления «Соньскшахтстрой», говорит, утирая сальное лицо платком:

— Похоже будет, что тут не строители собрались, а юристы-склочники. И хуже всего, что Емельянов всегда отлично знает свои права, а мы своих прав не знаем. У них в управлении — армия юристов, а у нас этого нет, вот они и путают...

Емельянов сидит отдельно от своих, среди угольщиков. Это тоже маневр: можно подкинуть какую-то шуточку, когда выступает противник, чтобы его свои же осмеяли, можно доверчиво спросить что-то вполголоса у соседа, а потом, выступая, сослаться: он мне сказал...

Сидит, откинувшись на спинку стула, держится горстью за сильно выдающийся вперед подбородок. Красивый загорелый лоб — и на него эдак небрежно спадают с двух сторон ржаные прямые пряди... Видный мужик, время хранит его за какие-то особые заслуги...

Кравец продолжал:

— Что ж вы поборами занимаетесь, совесть где? Коли уж подрядились производить работы — производите, а если: то — дай, да другое — дай, нам легче самим выполнить землю, — кладите рельсы!

Угольщики согласно зашумели. Лицо Емельянова оставалось безмятежным, только глаза, прежде ясно-голубые, помутнели, покраснели белки. Едва Кравец кончил говорить, Емельянов встал.

— Сейчас практика нашей работы поставлена неправильно и даже порочно. Собираемся — и вот начинаем, как фокусники, факты из карманов выдергивать. Ты говоришь, то мы у вас взяли, это... А что дали? Ну так, по-честному, положи руку на печенку? Двадцать девять килограмм белил, сто шестьдесят шесть тысяч штук кирпича... Цифры астрономические в гомеопатическом понимании этого дела!.. Надо же трезво рассматривать наши заявки, любовь должна быть взаимной. Любовь без взаимности — печальная вещь, ведь субподрядчик находится на положении женщины. Неверной, конечно: изменяет с тем заказчиком, который больше дает. Не надо забывать об этом.

Угольщики заулыбались, зашептались. Кравец смущенно поскрипел стулом и усмехнулся. Иван Игнатьич тоже усмехнулся, вытягивая затекшие ноги. Всегда Георгий умел уговаривать людей, слова на вечной и верной службе у него.

Помрачнел, закрылся бровями, стиснул руки на животе. Зачем эта трепка нервов, эти снабженческие переживания? Положено — дай. Технику, стройматериалы, деньги — все, о чем ведутся на бесконечных совещаниях бесплодные разговоры. Не хватает всем, — значит, надо меньше строить, меньше, но быстрее, не растягивать это удовольствие на многие-многие годы. Проекты устаревают, переделки влетают в копеечку. Летят на ветер средства. Все видят это, но ничего не меняется.

— ...Я сам тут который день голову ломаю, какую бы комбинацию совершить: треть автопарка разута! Звонил в главк — говорят, направили вам, а по распоряжению Совета Министров завернули на целину. Вот и мудри. Одиннадцать подразделений — и все требуют. Тот цемента, тот резину, тот технику!.. Вот и крутись!..

Это Сахаров, начальник управления. Прав он: с него требуют и сверху и снизу, крутись, как пропеллер. Поневоле он благоволит к Емельянову: тот всегда готов предложить какую-то комбинацию, под-

сказать, каким образом получить бульон из яиц вкрутую... Поговаривают, что Сахаров хочет взять Емельянова в управление: великий комбинатор пока на строительстве необходим. Но что Георгий станет делать, когда всего будет в изобилии? Пойдет в актеры? Мастер перевоплощения...

Из управления Иван Игнатьич поехал в «Соньскшахтстрой», и после бурного и неприятного разговора, они с Кравцом отправились в Осиники. Кравец вез Ивана Игнатьича на шахты, надеясь, видимо, что если Миронова не убедили его тугорождаемые гневные слова, то убедит сиротливо брошенный карьер, запустенье, тишина.

Кравец подвез его прямо к разрезу, где в обнаженной черноте крутились несколько экскаваторов, загружая подъезжающие самосвалы.

— Вот видишь! Твоих рук дело... Будь у меня подъездные пути, я бы подавал думпкары прямо под экскаваторы — и все... В пять раз больше бы угля давали...

— Слушай,— не выдержал Иван Игнатьич,— так сними отсюда экскаватор, поставь на насыпь! Ну, чуть меньше пока угля дашь, но в твоих же интересах? Вон тот экскаватор что у тебя делает?

— В моих интересах давать уголь,— сухо ответил Кравец.— А строить обязан ты, я за это деньги плачу. Что делает?.. Газеты читает! Не работает, сломался, починят! Имей в виду, я буду жаловаться в обком...

Иван Игнатьич сидел на ящике, рядом с мотором, уперев носок сапога в покатый железный лист капота, и смотрел, как несутся под мотовоз рельсы. По привычке отмечал про себя, на каком участке путь зарос травой, где слабая задерновка откосов, грозят оползни.

К ветровому стеклу липли редкие капли.

О шахтерах он больше не размышлял — все передумал, пришел к окончательному решению: сделать ничего нельзя. Смешно говорить, чтобы приостановить работу на главной линии. Через год-полтора будет готов металлургический комбинат. А руда? Автодорог в тайге нет, машинами ее возить не будешь.

Есть еще одна, не менее важная проблема. Зима. До больших морозов остался месяц, может, чуть больше. А там землю схватит как бетон, никаких земляных работ производить не будешь, а они забирают почти всю рабочую силу. Не будет этих работ, чем займешь рабочих зимой? Плати грошовые тарифные ставки, занимай, чем придется, любуйся на пьянки, на тоску зеленую...

Надо в ближайшие недели распланировать площадки, рыть фундаментные ямы, заполнять их бутобетоном. Венцы класть, строить дома при готовых фундаментах можно и зимой. Надо скорее ставить баню, клуб, переселять людей из барakov, из вагонов в дома... Строители, строители, нескладная, колесная наша жизнь...

Потекли мысли о столовой, которую надо приводить в порядок: безобразно готовят, грязница. О начальнике ОРСа — лентяй, не беспокоится завезти в магазин детскую обувь, дешевые пальто, боты, галоши... Не надо раздражать людей мелочами, которых можно избежать, нерадением.

Эти мелочи не учитывают при подсчете показателей выполнения плана, но из них складывается ежедневная жизнь, ежедневное настроение людей, которых не всегда увидишь сверху, не всегда помнишь — абстрактный «рабочий»... А он кладет кирпичи, на которых стоит все. Не каждый начальник это помнит...

От станции дорога шла на подъем. Иван Игнатьич остановился возле какого-то забора передохнуть. Отметка Нового, кажется, девятьсот метров над уровнем моря — сердце дает себя знать...

Окно в домике напротив было ярко освещено, занавеска не задер-

нута. За столом сидел Емельянов, стиснув ладонью подбородок. Возле его плеча смешно, точно черный мяч, прыгала головка с косичками: девочку не было видно за высоким подоконником, только головка — то появлялась в окне, то исчезала, раскачиваясь туда-сюда. В комнату вошла женщина, стала накрывать на стол.

Сердце вдруг стукнуло три раза редко и больно, стихло, сжавшись, будто натянув какую-то жилку, прикрепленную к левой лопатке. Придерживаясь за штакетник, Иван Игнатьич поднялся с земли, побрел к общезнанию. Не раздеваясь лег.

Жилка, тянущая левую лопатку, скручивалась все туже, сердце колотилось так, будто кто-то взбалтывал его на каждом ударе. Потом заныло посередине груди, стало не хватать воздуха, он уже не замечал, что вдыхает его шумно, ртом.

Щелкнул выключатель.

— Вам плохо?.. Лежите, я сделаю все. С отцом это бывало часто...

Чужие пальцы расстегнули китель, положили на грудь мокрое полотенце с уксусом. Хлынул чистый холодный воздух через распахнутое окно.

— Нитроглицерин вот, я разыскал в тумбочке. Пойду спрошу, может, у кого горчичники есть?..

— Сядь. И потуши свет, пожалуйста.

— Мне уйти?

— Нет, сиди. Слушай, сядь молча, ты можешь это?

— Я хочу только сказать, что я виноват. Просто свинья.

— Подождем с объяснениями. Я же еще не умираю.

Конечно, нет. Пятьдесят один год — это очень мало, даже если ты прожил такую жизнь. Какую?.. В общем, трудную...

Тебе сто раз предлагали перейти в управление, а ты отказывался. Почему это служить в управлении начальником какого-нибудь отдела или даже замом Сахарова лучше, чем здесь?.. Спокойней? Да. Ближе к цивилизации? Да. Масштабы большие?.. Тоже, конечно, да... Есть одно «но»...

Тебе было девятнадцать лет, и, если бы не Леонтьев, ты так и должен был остаться девятнадцатилетним. В камере присесть нельзя: вплотную, один к одному, стояли в ней восемьдесят человек. Велись злобно-радостные разговоры о Шевелеве, связавшем одной веревкой двадцать три сельских интеллигента и стащившем их лошадь в реку. О Кайгородове — грозе края, путь его тоже шел по трупам местной интеллигенции. О том, что комиссарам комиссарить недолго. Те, кто вел эти разговоры, знали, за что умирают.

Но большинство находившихся в камере было случайно завихрено в столб пыли. Эти плакали, кричали, молились вслух, их рвало от страха. Тогда он еще не понимал толком, что такое смерть, ему тогда было не так страшно умирать, как, например, сейчас... Однако он спасся, другие же погибли. И он запомнил их на всю жизнь. Его потрясла слепота и беспомощность этих людей. Наверное, с тех пор у него нежность к людям и почти болезненное желание что-то делать для них. В качестве начальника поезда ему, наверное, легче это делать, чем, допустим, Сахарову, хотя, на первый взгляд, у того возможностей больше. Но между Сахаровым и людьми, нуждающимися в мелочной повседневной заботе, стоит много других людей, и, конечно, не все добросовестны. Тогда порыв и благие намерения начальника, пройдя через цепочку посредников, точно через трансформаторы, доходят до низу, потеряв свое напряжение...

— Закури, слушай. Что ты притих? Лучше мне.

— Я потерплю.

— О чем ты размышляешь?

— Я? Так... Думал, может, сейчас отцу тоже плохо, и Дашка сидит возле него, вроде как я возле вас. Маленькие мы все боялись, что отец умрет. Дашка плакала, когда у отца бывали приступы. Теперь-то я понимаю, что отец иногда просто представлял, что у него приступ, когда хотел нас за что-то наказать. Это сразу нас приводило в норму, ходили по струнке. Все же мы его очень любили.

— Не болтай. Как можно «представить» приступ?

— Ну, можно.

— Ты еще любишь отца?

— Не знаю. Нет.

— Почему?

— Я сам не знаю. Я ведь очень его любил... пока не понял, что он все делает для себя. Глупо так говорить: он мог бы отдать меня в детский дом, когда умерла мать. А уж Дашку-то тем более!.. Ее мать погибла в сорок втором году: поехала что-то менять вместе с нашей соседкой Надеждой Дьяконовой, машина перевернулась, ее убило. Отцу куда легче было бы без нас... А он возился с нами, приносил нам с завода свой суп и второе. Сам голодал... Он, вроде бы, много сделал для нас, а я ему не благодарен...

Он сидит близко, на краю койки, от него пахнет креозотом, соляркой и почему-то пихтовой смолой. Рассказывает. А ты вспоминаешь, как он пришел два месяца назад с направлением из отдела кадров, ты листал его трудовую книжку и вздыхал: Алма-Ата, Ташкент, Ура-Тюбе, Петро-заводск, Красновишерск... Летун?.. Слесарь-наладчик восьмого разряда, токарь седьмого разряда, шофер второго класса, машинист на бумаго-делательной машине... Что ищет по свету этот большой лохматый парень с цыганскими бровями, сросшимися на переносье?.. Заработков?.. Везде были высокие. Климата?.. Ташкент, Алма-Ата — хлебные, яблочные, фруктовые — красивые города... Чего ему там не хватало?

Потом он вдруг снова перечел фамилию: Леонтьев, Леонтьев Василий Петрович.

— Как отца зовут?

— Петр Андреевич.— Парень засмеялся, будто начальник сказал что-то остроумное.

— Отец не рассказывал, что он делал во время гражданской войны?

— Сколько я себя помню, он только об этом и рассказывал. Был заместителем председателя ревтрибунала Сибири...

...Даже не поверил, что уже почти свершилось. Тридцать два года все представлял: выберу время, отыщу, поблагодарю. Представлял — и не верил: где там, когда искать!

И вот — сын... Откинувшись назад, на стул, смотрел, прикрыв глаза бровями: по сыну пытался узнать об отце. Почему не живет парень в семье, бродяжничает?

— Что делает отец? Ты один у него? Мать жива?..

— На пенсии. С сестренкой живет, нет матери...

— Я твоему отцу жизнью обязан. Когда было Ишимское восстание...

— Ха, так вы тот самый?.. А что странного, мы с Дашкой всю художественную автобиографию отца наизусть знаем. Вместо колыбельных... Спасибо, конечно найду...

Зашел. Сидит на фоне окна, освещенного прожекторами, большой, лохматый, до странности похожий на Ивана Игнатьича в юности. Рассказывает, покачиваясь в такт словам. Не у Леонтьева ли перенял он привычку немного покачиваться, рассказывая, чтобы плавнее текли слова, замирать в паузах?.. Возможно... Десять минут, всего-на-всего десять минут видел Иван Игнатьич своего спасителя...

Рассказывает про свою мать — юристку, работавшую в Наркомюсте. Она умерла от туберкулеза, когда Василий был совсем маленьким; про

Дашину мать — официантку в академии, где одно время преподавал отец. Разбитная, веселая молоденькая бабенка, бывшая беспризорница, ругалась, как извозчик, но в общем-то добрая... Ваське нужна была безнадзорность, ей — бесконтрольность, они друг друга вполне понимали. Когда началась война, Леля перебралась к Надежде Дьяконовой, бросив четырехлетнюю Дашку на мужа и на Василия. Там у них рекой лилось вино, потоком шли молодые и старые мужики, имевшие при себе деньги, а еще лучше — продукты. Впрочем, надо отдать должное: пока Леля была жива, ребята не знали, что такое нужда. Когда она погибла, в доме сразу стало голодно, и Василию пришлось идти на тот самый завод, где, уже совершив последний поворот в нисходящем движении по служебной лестнице, работал инженером в техотделе отец. Василий поступил учеником, но очень скоро стал работать токарем, получать рабочую карточку, спецталоны и какие-то деньги.

Как и все мальчишки, он жадно слушал сводки, втыкал на карте флажки в продвигавшуюся к западу линию фронта, как и все мальчишки, страстно желал сбежать на фронт, но понимал уже, что не может. После смерти Лели отец сильно сдал, на Васькиных плечах оказалась семья.

...Знаете, мне почему-то иногда снится обеденный перерыв во время ночной смены. Термичка, куда мы уходили подремать и погреться... Запах окалины и пламени, гуденье печей... Риткино плечо рядом, ее коленки в розовых чулках, подвязанных веревками... Здесь нас находил мастер, и мы снова шли к своим местам, сонные, отупевшие... А потом — утро. Толпа, текущая к проходной, и шелканье автоматических часов, отбивающих на карточках время ухода. Глаза вахтеров, скользящие по пропускам: лицо — фотография, лицо — фотография... Тихое бульканье, тихие всплески вылившейся за ворота толпы. Женщины с сумками. В сумках — кастрюли, банки, щи, пюре, суфле. Чурки от газогенераторов. Иногда вахтеры начинали проверять сумки и чурки вытряхивали.

Ритка чурок не таскала, ведь ее мать осталась жива. У них по-прежнему не переводились дрова, хлеб, картошка, вино. Риткиного отца взяли в ополчение, и он, очевидно, сразу же погиб.

Когда я приходил домой, Дашка еще спала, а отец собирался на работу. Отец вставал рано, растапливал буржуйку, ходил в булочную. Он брал весь наш дневной хлеб и делил его, выбирая мне те куски, которые потоньше. Это было почти неотличимо: кусок хлеба тоньше на миллиметр, но тогда мы определяли вес хлеба на глаз и без ошибок. Я все равно скармливал Дашке днем почти весь свой белый хлеб, но почему-то было обидно, что отец дает мне меньше. Может, я понимал уже тогда, что отец меня просто не любит.

Я складывал чурки возле буржуйки, выпивал стакан кипятку с хлебом, потом дожился. Дашка, не проснувшись, отодвигалась, но после, когда мои тряпки и я сам нагревались от ее тепла, она снова притискивалась ко мне, ввинчивала в плечо стриженую голову.

На улице все еще была темь. Отец расхаживал по комнате, топил буржуйку, пил чай. В железной трубе летало пламя, капал деготь из стыков.

Когда отец уходил на завод, Дашка просыпалась, съедала свой хлеб и снова засыпала. Мы спали часов до двенадцати, после я брал Дашку и бежал в очередь, если надо было отоварить карточки, потом шел с ней на рынок. Мы толкались на барахолке, загоняли водку: отец не пил, а ее изредка «объявляли» на талоны промтоварных карточек. Продавали часть тех чурок, которые я приносил с завода. Покупали отцу пачку чая: маленькую за двадцать пять рублей, большую за пятьдесят. Отец был уверен, что без крепкого чая он сразу же перестанет таскать ноги... Сейчас мне кажется это прихотью, наверное, я не прав. Утаив пятнадцать рублей, мы с Дашкой покупали два картофельных оладушка. Не из мятой вареной, а из тертой сырой картошки на дрожжах. Тоненькие, теплые, пахнущие жиром. У Дашки всегда была страшно милая морда: конопатая, с рыжей челкой и ртом от уха до уха. Я любил глядеть, как она ест, любил после вспоминать, какая у нее счастливая мордашка, когда есть что-нибудь вкусное... Конечно, если бы она решилась приехать сюда, я бы стал жить иначе. Во-первых, одел бы ее как куклу... Домой денег сколько ни посылай — все, как в прорву. А она хорошенькая, моя рыжая сестренка. Одеться бы ей...

...Иногда нас зазывала к себе Надежда и кормила досыта. У них вечно что-нибудь прокисло: каша или овсяный суп. Мы съедали это с жадностью. Но мне ходить к ним скоро сделалось стыдно.

Наступило лето, и, начиная с июля, мы с Риткой стали ездить за грибами. В суб-

боту с последним поездом уезжали за Подольск или в Белые Столбы: эти места считались грибными. Спали на станции до первого луча, шли в лес, а часов в одиннадцать возвращались в Москву и расторгивали на рынке то, что привозили. С той поры я ни разу не ходил за грибами, но помню тяжелую траву, бледный холодок солнца, коричневые, точно заляпанные солидолом шляпки, сытный земляной запах сорванного гриба.

Ритка была старше меня на год. Я тогда был оборванным заморышем, вечно голодным, озабоченным, чем бы накормить сестренку, а потом мы с Риткой выросли вместе — поэтому я не особенно-то обращал на нее внимание. Ритка сама обняла меня, когда мы, забившись под станционную скамейку, легли рядом. Сначала мы только целовались, потом я сунул руки ей под кофту. Ритка была толстая на хороших материнских харчах. Я был у нее первым: видно, она торопилась проверить опытом то, чего насмотрелась и наслушалась дома. Все лето мы ездили за грибами, потом Ритка спуталась с каким-то солдатом, ушла с завода в дворники, чтобы получить рабочую карточку, числиться работающей и проводить целые дни на рынке.

А мне иногда снится, что я еще мальчишка, что я первый раз чувствую под ладонью женскую грудь и дурею от стыда и от желания.

Отец, видно, догадался тогда, что со мной произошло, но не сказал мне ни слова. Только я почувствовал, что в его отношении ко мне появилась брезгливость...

— Вам хуже?

— Да... Знаешь, что-то...

— Я... Камфары нет? Я побегу за фельдшерницей, надо сделать укол.

И — как в детстве: звенящая тишина, только в темноте на кровати рвется, теряется чье-то дыхание. Человек переходит — и не хочет, боится перейти — рубеж, линеечку между жизнью и смертью, между сном и явью...

— Чего тебе?.. Иван Игнатьич?.. — повторила фельдшерница и заторопилась, посерьезнев. — Идем скорее. — Она взяла Василия за грязный рукав телогрейки и повела. Сколько раз Василий встречал на улице жену Емельянова, но только сейчас разглядел ее...

— Иван...

Тяжелый неповоротливый язык лежит во рту, колышется сердце:

— Чаю хочешь?.. Чайник у меня там, наверное, до суха выкипел.

— Чаю?.. Нет, надо идти. Лучше тебе? — Аня поднялась, натягивая на плечи платок, усмехнулась. — Я уж давно сижу тут, тебя разглядываю.

— Так чего же, слушай, торопишься?

— «Слушай...» Смешно. Все то же... — Аня вздохнула. — Пойду. Георгий небось злой, как черт. Теперь молчать целую неделю будет. Пойду. Увидимся еще.

Собрала шприцы в чемоданчик, прошелестели шаги по коридору — и все. Ушла Анечка Кузьмина, дочь железнодорожника из Нахаловки, юная вдова начальника золотых приисков... Давно когда-то их места случайно оказались рядом в цирке, и он увез ее после представления на тройке белых лошадей... Добивались ее благосклонности многие, а досталась ему...

На тройке белых лошадей... Был он тогда начальником станции в Красноярске, имел право на автомобиль, а завел тройку белых лошадей, глупый, тщеславный, уже зрелый в общем-то человек... Дурак. Дурак, да... Очень уж хорошо шли дела. Слишком хорошо.

Есть у движенцев такое выражение: жизнь — это вокзал, а начальник станции — хозяин жизни, первое лицо в городе. Едет, едет народ на восток, на запад, паровозы устали таскать перегруженные составы... Звонят всякие важные персоны: Иван Игнатьич, билетик?.. В порядке, мол, общей очереди. А идешь мимо этой очереди, прикорнула бабуся, ждет, видно, не один день, подведешь к кассе: выдайте билет...

Наладил дело: привокзальный ресторан, буфет, парикмахерская стали давать большие прибыли, появилась возможность премировать лучших людей подарками. Стрелочнику, например, подарить корову.

Или, диспетчер один жил хорошо, ни в чем не нуждался, так придумали заказать его бюст и преподнесли... Теперь скажут: наивно. Конечно, наивно... Но что-то правильное в этой наивности было: как работали люди!..

Все было правильно, кроме тройки белых лошадей — дань собственному дикарству, нехитрому идеалу прекрасной жизни... И еще борцы: ни одного представления не пропускал, победителям подарки делал. Перед представлением борцы выходят и кланяются. Общий поклон — и поклон лично тебе, сидящему в первом ряду... Тогда уже стали модны ночные бдения на службе, а Иван Игнатьич вообще-то все мог с собой сделать, но пропустить борьбу было выше его сил. Начальник дороги издал специальный приказ: «Запрещаю н-ку Красноярской станции Миронову ходить на борьбу...»

Смешно... Наивно. Даже в его отношениях с Аней, вполне серьезных и определенных, был этот элемент наивности... Почему он не женился на ней тогда? Черт его знает... И его и ее жизнь, возможно, сложились бы иначе. Счастливей... Обычной.

Когда говорят о будущем, даже самый примитивный человек представляет себе что-то лучшее, что-то, чего ему сейчас не хватает... Что имеют в виду, когда говорят, что через какое-то количество лет мы будем жить при коммунизме? Всеобщую сытость и обеспеченность?.. Лекторы, обычно, здесь делают презрительную гримасу: «Фэ! Это же так примитивно — сытость...»

А почему — «фэ»? Конечно, это не предел мечтаний, но пока — мечта... Моему народу достались трудные, голодные полвека. Война, революция, разруха, восстановительный период, строительство, война и снова восстановительный период.

Перед этой войной все еще были очереди за «мануфактурой», «давали» в одни руки не более десяти метров ситца. Перед войной не было моды на форму каблука или носка туфель, говорили: «Я справила себе туфли...» Так почему мне не мечтать о сытости, о полной сытости для моего народа? Как много сил, как много клеток головного мозга освободится у людей для иных дел, когда будет снята проблема сытости, обеспеченности завтрашнего дня...

Постучали. Вошел Емельянов, стряхнул дождевик, присел на табурет.

— Зачем Аня к тебе приходила?

— Аня? Так это уж наше с ней дело. Надоел ты ей, жаловалась... Видеть, слушай, не могу его рыжую морду, говорит...

— Болтай...— Емельянов вздохнул.— Томит ее твое присутствие. Неспokoйная она какая-то стала. Раздражительная...— Заговорил негромким покаянным голосом: — Нельзя так дальше. Даже злейших врагов прощают...

Поднял глаза, заблестевшие в тусклом желтом свете искренней и все же актерской слезой. Этот человек, наверное, и сам не мог разобрать, где правда, где наигрыш. Все смешивалось по привычке. Иван Игнатьич нахмурился. Зачем тратить слова, выяснять что-то, он не ребенок, чтобы мстить.

— Ну, а от меня ты чего хочешь, слушай? Христианской любви, что ли? Не пойму. Чем я тебе мешаю?

— Я же стал для тебя невидимкой. Ты брезгуешь мною. Ведь у меня опыт, я могу помочь тебе. Замечай меня, советуйся...

Иван Игнатьич шевельнул бровями, медленно сел.

— Если честно, боюсь я твоих штук, Георгий... Ладно, займись, что ли, шахтерами? Здесь я — пас. Ничего выдумать больше не могу. Только,— Иван Игнатьич поморщился,— без этих всяких...

Выйдя на крыльцо, Емельянов постоял, плотно запахнув дождевик. Зачавкал сапогами по лужам, оскальзываясь, стискивая у горла ожесточивший дождевик.

Подойдя к дому, стукнул в дверь. Аня открыла сразу, видно, ждала. Молча разделся, снял, чтобы не следить, сапоги. Сел за стол, похрустел пальцами.

— Достань арбуза.

Аня принесла с кухни тарелку с соленым минусинским арбузом. Пригнали в конце лета целый вагон арбузов, соседка-украинка научила Аню, как засолить. Емельянов чмокал, высасывая ломоть, размышлял. Потом встрепенулся.

— Добеги-ка до Анатолия, скажи, чтобы машину заводил. А прежде стукни Максиму, пусть зайдет.

— Куда это ты собрался?

— К шахтерам. Иван просил, нужно помочь.

Поднял глаза. Аня, не мигая, вопросительно глядела на него, потом повернулась и вышла. Что он может ей сказать? Компромиссы... У каждого в жизни бывают компромиссы, даже, наверное, у такого дуба стоевого, как Иван...

Было время — и он, Емельянов, как баран сшибался с обидчиками, прошибал лбом стену. Не боялся ничего, считал, что все может, что ждет его власть и заслуженно большое будущее. Был умен, находчив, блестящ... Но сломался сразу.

...Долго ехали, буксуя в раскисших колеях, выползая из них чудом. Где-то под утро добрались до Осинников.

Емельянов открыл дверцу, взглянул на серое небо, на рыжие, в оспинах дождя лужи, потормошил задремавшего Максимова.

— Ну-ка, Андрей Николаевич! Твой час подошел, покажи себя! У Кравца экскаватор третью неделю загорает, а мы бедствуем. Я у ребят здешних узнавал, серьезная ли поломка — никто не интересовался. Выходит, если наладишь, наш будет. Законно наш! — усмехнулся. — А Кравец его еще два месяца не хватится. Ну, выручай!..

Максимов осторожно спрыгнул в грязь — высокий красивый человек с виноватыми глазами, эмигрант, недавно вернувшийся с матерью из Китая. Золотой механик, просто кудесник — Емельянов не сомневался, что прежде, чем шахта заступит на смену, экскаватор будет готов.

...— Да не работали вы там кувалдами и клиньями! Черт тебя возьми, никак не втолкуешь... Ломами работали!

— Там грунт четвертой группы.

— Какой четвертой — второй!.. Даже второй не будет, первая группа. С намазкой, я тебе скажу, будет вторая группа... Вот, — Иван Игнатьич яростно хлопнул по столу книжкой «енэров». — Грунт второй группы разрабатывается штыковыми лопатами с частичным применением ломов. Грунт четвертой — ломы, клинья, молота... Что вы там понаписали мне? Там не то что молот — лом был один всего на бригаду Рубцова!..

Прораб первого участка Филипп Иваныч устало потер ладонью воспаленные глаза.

— Так ведь народ какой? Он со штыковой лопатой больше делает, чем другой с ломом. Женщины неподалеку работали, так и киркой и молотами...

— Вот слушай, там, у женщин, и был грунт четвертой группы, а ты написал вторую. Я исправил наряды. Привыкли мы, я тебе скажу, за счет женщин выезжать!..

— Правильно, товарищ начальник! На том участке, где женщины, — разложившийся известняк, категория примерно девятая, — вступил в спор строймастер Талгат. — Экскаватору, Филипп Иваныч, ты применил

четвертую группу. Вот, черт побери, интересно получается, экскаватору четвертую, людям вторую!..

Уже за полночь, в кабинете табачная синь. Третий вечер продолжается этот разговор о нарядах, разговор, то и дело переходящий в битву. Дошли наконец до бригады Алеши Рубцова. Филипп Иваныч, когда уговаривал ребят поработать землекопами, конечно, пообещал заплатить хорошо, иначе вряд ли бы они пошли. Народ капризный, цену себе знают. Поработали хлопцы здорово, потому-то Филипп усердствует, пытается доказать, что наряды закрыты правильно. Прибавь одним — надо отнять у других. Фонды — не резина...

Филипп Иваныч снова начинает кричать, Иван Игнатьич слушает, не выдерживает, вскакивает и принимается яростно ходить по кабинету.

— Ты вот что, Филипп Иваныч, я тебе скажу. Это просто заставить человека ленточку рвать: заплачу, мол, вдвое. Это я тебе такую выработку дам по участку — рублем поману!.. Хорошо хлопцы заработали, куда тебе приписки?.. И так водка льется, слушай, как я не знаю что!.. Ты бы объяснил ребятам, для кого это все?.. То ли в вагоне утром проснуться — к подушке волосы примерзли, то ли в доме, по-человечески. Каждому человеку, я тебе скажу, хочется лучше жить...

Для кого? Для них. Для вас... Устаревшая аргументация, давно уже не слышали такое. Филипп Иваныч ошеломленно смолкает. Для вас. Для тебя. Для меня...

Запал заметно спадает. В конце концов оба они чуть-чуть уступают и соглашаются на третью группу.

— Мало третьей,— недовольно говорит Филипп Иваныч.

— Прокурор, слушай, сколько хочешь добавит. А мне еще и главбух. Никак с тобой я, Филипп, из перерасходов заработной платы не вылезу! Всем ты хорош, только как до нарядов дело дошло, слушай, хоть гони тебя в шею!..

Он подписал наряды, утер потный горячий затылок, застегнул китель. Эта стопка нарядов последняя. Ежемесячная трепка нервов окончена до другого раза.

— Ну, кровососы, пошли по домам.— Иван Игнатьич поднялся.— Пять лет жизни — эти три вечера.

— Живите, Иван Игнатьич,— улыбнулся Талгат, показав красивые зубы.— Вы хороший человек, надо жить таким людям.

Они вышли. Поблескивала взбуренная, схваченная морозом грязь, нестерпимо чист и холоден был черный лунный воздух. Гулко громыхали по деревянным замороженным мосткам шаги. Талгат и Филипп Иваныч свернули к общежитию, Иван Игнатьич прошел дальше, по путям.

Тот-ток,— отзываются под ногой шпалы, подкладываются выпуклым, чуть скользким бочком в выгиб подошвы. Каждый шаг — на ширину шпал. Привык. Сколько сотен километров отшагал за жизнь по шпалам, примерился, не широко, не узко. Тот-ток,— отзываются шпалы, поскрипывает балласт, проминаясь под шагом, чуть оскальзывается под подошвой креозот.

Загудел, отъезжая на запасной путь, мотовоз, вспыхнул свет в смельяновском окне. Значит, вернулся Георгий с арбитражной комиссии. Зайти, что ли, узнать, чем кончилось это кляузное дело с угольщиками!..

Совсем недавно Иван Игнатьич едва не получил партвзыскание из-за истории с шахтерским экскаватором. Как чувствовал, когда поручал Георгию, что выйдет все боком,— пенять приходилось на себя. Кравец пожаловался в обком, кричал: «Пришли Емельянов и Миронов темной ночью. Забрали экскаватор!»

Георгий лениво отругивался: экскаватор почти месяц стоял сломанный, а они его отремонтировали, истратили свой цветной металл. Неделю работал, пока угольщики хватились.

Присутствующие посмеивались: грустна и нелепа была эта история.

Неожиданно второй секретарь предложил записать Миронову выговор за партизанские действия и халатное отношение к своим обязанностям. Начался долгий и шумный разговор, в конце концов их с Георгием предупредили, а экскаватор все-таки пришлось шахтерам отдать.

Зол Иван Игнатьич был на Кравца, и когда Емельянов предложил подать на шахтеров иск в арбитражную комиссию за несвоевременное представление технической документации, он согласился. Надо проучить Кравца: сколько времени шумел, что не ведутся работы, а работать-то оказалось не по чему! Пусть Кравец поймет, стоит ли становиться в деловых отношениях на путь тяжб и жалоб. Хотя, конечно, такие Кравцы воспитаны на горьком опыте Емельяновым и уж никому не верят, от каждого ждут подвоха...

...Открытая банка рыбных консервов, кружка с недопитым чаем, рафинад в кульке. Хрипит за стеной репродуктор, разговаривают соседи.

Иван Игнатьич постоял посреди комнаты, бросил фуражку на койку, взял чайник.

На кухне топилась плита, кипел бак с бельем, шипели кастрюли, алюминиевые грязные чайники. Начерпав из ведра, Иван Игнатьич втиснул чайник между другими, присел на лавку, уперев ладони в колени.

Забегали хозяйки помешать, посолить, снять одно, поставить другое, поглядывали на начальника, здоровались.

Иван Игнатьич хмуро улыбался, потирая шершавые отекшие щеки.

Зашла Наташа, жена Талгата, опрокинула бак с бельем в корыто — ударил в потолок и растекся по кухне грязный щелочной пар. Иван Игнатьич поднялся.

— Выжила я вас? — Наташа обтерла о подол руки. — А пойдете к нам, посидите. Народ у нас...

В душевной комнате, слабо освещенной желтой, вполнакала, лампочкой, собралось человек пятнадцать. На столе — бутылки, стаканы, сковорода с жареной картошкой, тарелка с рыбой, банка с солеными помидорами.

Иван Игнатьич пробрался ближе к окну, сел на свободный стул.

— Сюда народ зарабатывать приезжает. Кому охота за те же деньги, что в городе, горб ломить?..

— Покуражится, да и охолонет! Разбежится народ, останется с безрезами...

— За гроши трубить никто не станет!

— Ему — что! Ни детей, ни бабы. А с семьей только и ждешь наколотить поболе да концы отдать отседова!..

— А тебе я, Талгат, говорю прямо. Мы с ребятами на работу не выйдем, куда наряды все как следует не сделаете! Поглядим, как петь станете... — Это Алеша Рубцов.

— Долго, слушай, глядеть придется! — Иван Игнатьич встал, прислонился к стене, сжал стул за спинку.

Все замолчали. Вдруг среди многих насторожившихся глаз понимающе улыбнулись знакомые. Петр?

— Садитесь, Иван Игнатьич. Ничего... Алеша, дай чистый стакан.

Иван Игнатьич разжал закаменевшие на спинке стула пальцы. Северное вдруг всплыло; работать приходилось с уголовниками, по-

этому во время споров неплохо чувствовать за спиной надежную стену, неплохо сжимать в руке увесистый стул.

— Откуда ты взялся?

— С Тайшета. Услыхал, что вы тут,— и приехал... Завтра наниматься приду, возьмете?..

— Погляжу, как вести будешь, слушай.

Могучий парень с кирпично-красным лицом, в расстегнутом вороте вельветовой куртки видна тельняшка. Глаза глядят влюбленно и сожалея.

Петро, его выкормыш, его воспитанник... В лагере он заметил парнишку, крутившегося между матерыми уголовниками. Повозился с ним, пока приручил...

Алексей хмуро передал стакан, налил водки. Все сдержанно чокнулись, выпили. Петр придвинул ближе тарелку с хариусами, помидоры.

— Закусывайте, Иван Игнатьич. Небось не пообедали нынче?

— Обедал, что у меня не такие права?..

— погоди, Петро,— Алексей подвинулся к Ивану Игнатьичу.— Я уже слышал, как вы за наряды агитируете. Понять могу: в фонды надо уложиться, сверху за перерасходы тоже не поглядят. Однако и нас поймите... Вот,— Алексей оглянулся,— не совру, что за всех говорю. Вы там толкуете, человеческие условия создавать... А нам не нужны человеческие условия.

— Точно,— поддержали Алексея.— Условия в другом месте возьмем, а здесь заработать надо.

— Хоть на снегу у костра перебьемся — не сахарные!.. И вам хлопот меньше, об жилье не заботиться,— строй, гони вперед!.. Только чтобы платили по совести. Чтобы уехал в цивилизацию — мешок денег увез!..

Все снова согласно загалдели.

— Это слышал я, слушай! — Иван Игнатьич снова поднялся, берясь за стул.— Это мне сезонники всю жизнь такую штуку толкуют. Или старатели... Живет, слушай, в тайге, как волк, сырым мясом питается — не рычит только. Набил золотишка — в город! Моря разливные, дым коромыслом, драными опорками по коврам ступает... А через неделю голый и босый — снова в тайгу.

— А что? У старателей — цель! Бедует в тайге, а выйдет — король! Неделя, да его!.. А если на зарплату жить да носки штопать, я лучше пойду к сейфам отмычки делать. Понятно?

— Понятно, заткнись! — Петро снова потянул Ивана Игнатьича за рукав.— Поешьте, Иван Игнатьич.

Иван Игнатьич сел, допил водку, начал ковырять вилкой хариуса.

— Не будешь ты жить по своему плану. Пока я жив, у меня не будешь.

— А я на вас...— Алексей выругался.— Не один ваш поезд на стройке. В соседний перейду.

— Скоро везде одни порядки будут.

— Ваши, что ли, порядки?

— Мои.

— Ладно с ним,— снова сказал Петр,— ешьте.— Он вздохнул.— Чудно!.. Даже не верю, что вы это тут со мной сидите. Сколько годов вас встретить мечтал!..

— Хорошо, что ты здесь. Я рад.

— А постарели вы дюже, Иван Игнатьич.— Петр влюбленно разглядывал его.— Постарели. На Печоре вы могучим мужчиной были. Любой большой вам до плеча только. Постарели — будто ниже стали. Бывало, как драка — так вы разнимать. Под мышки сзади кого схватите — только ногами брыкает!..

— Зато ты вырос. Есть, слушай, кому драки разнимать.

— Только скажите!

Подсел второй прораб Максимов.

— Вы на них не обижайтесь. Деньги это... А народ тут прямодушный, хороший...

Максимов смущенно улыбался светлыми, чуть захмелевшими глазами, поглаживал тылом ладони бритые округлые щеки.

— Народ тут хороший,— повторил он, словно убеждая себя.

Когда Иван Игнатьич ругает Максимова за приписки, тот всегда соглашается и даже приводит какие-то свои доводы, почему непедагогично допускать приписки. Соглашается— и приписывает. Не из каких-то особых соображений, а по мягкости характера.

Запели. Иван Игнатьич, прислушавшись, подтянул. Он помнил, как эту стариннейшую сибирскую песню певала еще мать подголоском к мощному басу сожителя: «Десять лет просидел за решеткой, поседела моя голова... Я как ворон по свету скитался, для себя я добычу искал. Воровством, грабежом занимался и опять за решетку попал»...

Утром Иван Игнатьич напился чаю и, надев фуражку, вышел на улицу. На емельяновском окне приподнялась занавеска, выглянуло разрумьянившееся ото сна, немного опухшее Аннино лицо. Она встретилась с ним глазами, улыбнулась, кивнула, снова принялась высматривать кого-то вдоль улицы.

Иван Игнатьич машинально оглянулся. Из столовой выходили путевкладчики Алеши Рубцова. Вон впереди шагает высокий, широкоплечий, густоющие широкие брови и отсюда видны на загорелом лице. Поднял руку, улыбнулся. Иван Игнатьич тоже улыбнулся, махнул рукой и пошел быстро дальше. Ах, Васька, Васька...

Емельянов был уже в конторе.

— Выиграли мы дело...

— Да? — Иван Игнатьич опустил на стул.— Славно...

— Блестяще!.. Кравец говорит, что всю документацию для ведения работ давно уже выдали. Арбитр: «Покажите расписку». — «А мы расписки не взяли». — «Как же так, такие важные документы вы даете без расписки? Вас за это, понимаешь, судить надо!» Кравец тут на пятую: «Может, и не давали, я не помню...» — Емельянов закурил.— Такое дело я тебе выиграл, понимаешь, ты бы мне хоть пачку «Казбека» купил...

— Прибедняйся! Тебе бы по этому делу, слушай, выговор надо: кашу варили, а документации, оказывается, и нет...

Емельянов блеснул зубом.

— Вся штука, что есть! Расписку они у нас не взяли! Я, понимаешь, вспомнил, что вроде бы без расписки. Проверил. В деле у нас копии нет. Верочке, секретарше Кравца, позвонил: нет!.. Ну, думаю, научу я тебя, друг, как тяжбу вести... Двести одиннадцать тысяч неустойки словно из-под собаки выхватил!..

Иван Игнатьич молчал. Выучил, значит, он Кравца порядочности и доверию к людям. Хорошо...

3. Глава о нефилетевшей синице

Плыли огромными зелеными радужными пятнами пространства, какие-то лица. Он бывал там, он их видел. Он любил их, кажется. Но не было сил любить. Уже не было. Не было жалости ни к кому, только к себе. Жалость красным больным пятном теплилась в мозгу, заполняя

все тело. Снова плыли какие-то утомительные картины, лошадиные морды, обернутые шинелями, огонь...

Потом потянулся красного кровавого кирпича длинный, ступенями восходящий забор, тянулся покачиваясь и кружась... Потом кирпичный дом, большие из целого стекла окна, коридоры, лестничные марши, комнаты...

Леонтьев лежал на спине, сцепив на груди белые пальцы, в горле слабо клочкотал храп, похожий на хрипение умирающего. Он приподнял мал красные тонкие веки, будто прислушиваясь к чему-то, и, не в силах совладать с забытием, снова закрывал глаза. Наконец он проснулся, долго лежал еще, приходя в себя, затем сел, нащупывая босыми ступнями галоши.

Сон был необычным, тревожным, непонятным. После него не сразу все становилось на свои места, не сразу понималось, какое десятилетие, какие края, какие люди за дверью...

Поднялся, пошел на кухню, вскипятил и заварил чай, сел, прихлебывая вприкуску, накрывая между глотками стакан ладонью.

Лошади, лошадиные морды, закутанные шинелями,— это на Стоходе попали в полосу горящих хлебов... Выпали из памяти лет на тридцать пять и вдруг всплыли сегодня во сне.

Леонтьев силился вспомнить — что же, какое беспокойство не покидало его во сне, не давая сосредоточиться на виденном, и вспомнил: Маргарита. Она должна была сегодня зайти за журналами. Может, не достучалась? Да нет, еще вроде бы рано.

Он подошел со стаканом к окну и стоял так, пытаюсь издали узнавать тех, кто шел по переулку. Потом опять сел, достал пачку тоненьких, пропыленных книжечек. Их он не листал тоже, наверное, лет тридцать.

...«Железная диктатура якобинцев была вызвана чудовишно тяжким положением революционной Франции. Вот как рассказывает об этом буржуазный историк: «Иностранные войска вступили с четырех сторон на французскую территорию: с севера — англичане и австрийцы, в Эльзас — пруссаки, в Дофинэ и до Лиона — пьемонтцы, в Русильоне — испанцы. И это в такое время, когда гражданская война свирепствовала в четырех различных пунктах: в Нормандии, в Вандее, в Лионе и в Тулоне»... К этому надо прибавить внутренних врагов в виде многочисленных тайных сторонников старого порядка, готовых всеми средствами помочь неприятелю.

Суровость пролетарской диктатуры в России была обусловлена не менее тяжкими обстоятельствами. Сплошной фронт на Севере и Юге, Западе и Востоке. Кроме русских белогвардейских армий Колчака, Денкина и проч., против Советской России выступают одновременно или поочередно: немцы и австрийцы, чехословаки, сербы, поляки, украинцы, румыны, французы, англичане, американцы, японцы, финны, эстонцы, литовцы... В стране, охваченной блокадой, задыхающейся от голода, непрерывные заговоры, восстания, террористические акты, разрушение складов, путей и мостов.

...Врага нужно обезвреживать, а во время войны это значит уничтожать... Доколе существует классовое общество, основанное на глубочайших антагонизмах, репрессии остаются необходимым средством подчинить себе волю противной стороны...»

Ленин писал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас...»

Вариант I. Пропаганда или агитация или участие в организации или содействие организациям, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному ее свержению путем ли интервенции или блокады или шпионажа или финансирования прессы и тому подобными средствами, карается высшей мерой наказания, с заменой. в случае смягчающих вину обстоятельств, лишением свободы или высылкой за границу».

Его всегда восхищало в Ленине сочетание мягкости с удивительной беспощадной трезвостью, с умением быть верным себе до конца — качество, на взгляд Леонтьева, редкое для русского интеллигента.

Во время белогвардейского мятежа в Сибири был издан строжайший приказ расстреливать всех дезертировавших, растерявшихся представителей Советской власти на местах. Их особый отряд захватил матроса, работавшего в дорожном ЧК. Жена матроса запаниковала, и тот вместе с семьей сбежал; мятежники, естественно, его не стали бить. Но, с другой стороны, сбежал он не в минуту крайней опасности, когда ничего уже сделать было нельзя, а задолго до нее, даже не попытавшись организовать какое-то сопротивление мятежу. Выездная комиссия приговорила матроса к расстрелу. Приговор было поручено привести в исполнение Леонтьеву — он увел приговоренного в степь и выстрелил в воздух... За всю свою жизнь он не убил ни одного человека, хотя теоретически выстрелить во врага он мог. Теоретически, но не практически — глаза в глаза...

Леонтьев листал книжечки, вдыхал архивный запах пересохшей грубой бумаги и думал — почему это он вдруг заворочил прошлое? Не потому же, что к нему случайно забрел толстый, по виду едва ли не более старый, чем он сам (Леонтьев привычно тешил себя мыслью, что все еще молодой), человек, которого он когда-то спас, чуть не поплававшись жизнью?.. Неужто это было на самом деле?..

Вспоминаемые многократно события потеряли реальность, превратившись в сладкий вымысел, который приятно было цедить бесконечными ночами. Но вдруг из прекрасной нереальности в его комнату шагнул человек, принес на кителе живые острые запахи креозота и соларки, рассказал что-то, поглядел умными трезвыми глазами — и ушел... Ушел, внося в привычное неприятный живой беспорядок...

Леонтьев вспомнил мясистое лицо, небольшие глаза, глядевшие из-под бровей. Собственно, что значила жизнь одного мальчишки, превратившегося в конце концов в старого железнодорожника? Стоило из-за этого огород городить, подставлять лоб под пулю? Что изменило спасение этого мальчишки в судьбе человечества, в судьбе России?..

Он распечатал коробку со сливочной помадкой, поколебавшись, взял одну и положил в рот. Прихлебывая чай, перекатывал ее беззубыми деснами.

До пенсии еще далеко, а денег уже нет. Как-то быстро расходятся они, тратятся главным образом на разные журналы, которые зачитывают у него знакомые продавщицы. Правду говоря, он их и покупает, чтобы был повод поболтать со смешливыми девчонками.

Заходила Маргарита?..

Сердце начало томиться, будто обещали праздник, радость какую-то, но отложили, отложили...

Совсем стемнело, ничего не стало видно, только спичечным коробком желтело окошко в домике напротив да серые прямые ветки тополя отражали непонятный, неизвестно откуда взявшийся свет. Леонтьев долго не включал электричество, потом спохватился и зажег: Маргарита, взглянув в темное окно, может решить, что его нет дома.

В темноте было лучше, можно было просто смотреть на желтенький прямоугольник и ни о чем не думать. Теперь появилась необходимость как-то сосредоточиться, руки беспомощно двигались по столу, ощупывая читанные журналы. Он взял будильник, для чего-то завел и машинально отставил, зацепившись взглядом за неяркий спокойный блик на крышке звонка. Снова можно было ни о чем не думать, просто ждать. И он сидел и ждал, вздрагивая оттого, что под ним вдруг скрипывал стул.

Было почему-то необыкновенно тихо, будто вообще все и везде навсегда кончилось, только через равные промежутки времени лаяла

собака и кашлял сосед в комнате напротив. Но Леонтьев привык к этим звукам и не чувствовал их.

Видно, мозгу необходимо нечаянное полное выключение, видно, колесам, перемалывающим, перекачивающим так и эдак грезы о том, что было, необходима остановка, передышка, чтобы затем вновь неуклонно катиться то вперед, то назад, то вкряк, то вкось.

Но вот зрачок сузился, взгляд обрел дно, рука шевельнулась — колеса покатались...

Разбередил, расшевелил приглаженное толстый железнодорожник. Щежит досада: неприятно, когда в тебе разочаровываются... А был ли он таким, каким увидел его когда-то спасенный мальчишка?.. Был... не был... Черт знает...

На неуловимо-серой полосе дороги зачернело какое-то пятно, он пошел к окну, растворил его, вслушиваясь в шорохи. Безлунное и беззвездное небо вдруг начало набухать малиновым. Леонтьев сидел на подоконнике, бездумно глядя на колышущийся малиновый полог. Слух необыкновенно обострился, он почувствовал, как перебежала переулоч собака, простучав когтями по сухой грязи.

Собственно, чего он ждет? Что такое должно произойти необычайно радостное, нужное?.. Да ничего. Придет девочка, снимет пальто и шапку, потрясет головой, чтобы сделать пышными слежавшиеся волосы... А может, и не снимет шапки, присядет на край скрипучего стула, скользнет рассеянным взглядом по комнате, переберет журналы, свернет их трубочкой. «Спасибо». Возьмет пару помадок из коробки и не будет противиться, когда остальные он засунет ей в карман. Уйдет...

4. Глава, продолжающая повествование

о том, с чего началось

ДАША

Копировка отделена от конструкторского бюро нешироким проходом — двенадцать столов с чертежными досками, двенадцать лохматых головок, склоненных над ними, двенадцать разноцветных кофточек, двенадцать вымазанных тушью рук, сжимающих рейсфедер, двенадцать чертежей, накрытых калькой... Старшая копировщица Галя сидит лицом к копировке, просматривает готовые кальки, подписывает их. Гале всего-то двадцать семь лет, но для девчонок она почти старуха: вон у нее и седина в проборе, и четырехлетняя дочка, и грозный начальственный голос, которым Галя прекращает шум в копировке... Копировщицам по восемнадцать-девятнадцать лет, все незамужние.

Дашин стол возле окна, она успевает не только работать, но и поглазеть на улицу, на проходящих женщин, помечтать, каких она нашьет себе платьев, когда станет хорошо зарабатывать. Дело это далекое, так что Дашка с удовольствием отрывается от какой бы то ни было реальности, и будущий гардероб ее обширен и роскошен.

Сейчас Даша рисует на обрывке кальки маленьких человечков, пишет каждому имена: «Светлана, Наташа, Варя, Елена, Василий, Дмитрий, Денис, Катерина, Андрей, Александр, Александра, Владислав...» Всего двенадцать имен: шесть мужских и шесть женских.

— Девчонки! — кричит Даша. — Глядите, сколько у меня будет детей: шесть девочек и шесть мальчиков!

Кусок кальки идет по рукам, копировка хохочет.

Эля, двадцатилетняя полная девица с большим, не лишенным приятности лицом, долго разглядывает смешные рожицы, после спрашивает:

— Зачем тебе столько?

— Меньше нельзя: мне эти имена очень нравятся.

— Вот дуручка-то!

Галю вызвали к начальнику бюро, и в копировке стоит шум и крик, словно в классе, когда заболел учитель и нечем занять пустой урок.

— Дашка! — спрашивает кто-то из девчонок. — А вдруг и дети рыжие будут?

— А что такого? Рыжий да седой — самый дорогой!

— Но ресницы тебе обязательно надо красить! — Эля серьезно разглядывает Дашу. — И веснушки свести... Попробуй, накрась ресницы тушью — совсем другое дело!

Даша прислоняет к бутылочке с тушью маленькое зеркальце и привязанным к обломку карандаша перышком (им наполняют рейсфедер) старательно водит по своим длинющим рыжим ресницам. Ресницы слипаются, торчат копыями, жесткие и ломкие.

— Ой, как тебе идет! — удивляется копировка. — Сразу глаза зеленые, глубокие стали. Просто чудо!

— И брови накрась! — требует Эля.

Дашка охотно малюет тушью широкие брови. Девчонки хохочут, Эля цыкает на них:

— Тихо вы! Пасхин...

— Дашка, — «номер пять»! — шепотом напоминает кто-то.

В конструкторское входит главный инженер завода Пасхин — Дашина любовь «номер пять». Всего их у нее не то четырнадцать, не то девятнадцать — сама точно не помнит сколько. Инструктор райкома комсомола Петя Свешников — «любовь номер один»; Салмин, начальник механического цеха, — «любовь номер три»; Пасхин — «любовь номер пять»; токарь-скоростник Михеев — «любовь номер семь», и прочие остальные. Когда кто-то из них появляется в копировке, Дашка, кокетничая напропалую, несет всякую чушь на радость девчонкам.

Вот и сейчас Пасхин вошел в копировку, девчонки затаились, как мыши, уткнули носы в доски, только Дашка смотрит в упор на главного инженера, наивно хлопает склеившимися ресницами, улыбается во весь свой большой рот.

— Где Галя? — недовольно спрашивает Пасхин.

— Ее Евгений Тарасыч вызвал, — отвечает Даша. — А что?

— Размеры затерлись! — Пасхин сердито швыряет на Галин стол огромный «сборочный» чертеж, наклеенный на картон. — Почему я должен за этим следить?

— Я сейчас возьму контрольные чертежи и обведу размеры тушью. И отнесу в «сборку». Вы не беспокойтесь, Борис Палыч! — Даша вскакивает, подходит к Пасхину, чтобы взглянуть на марку станка и номер чертежа. Мимоходом наивно спрашивает: — Борис Палыч, я ресницы тушью нарисовала. Идет мне? Стоит вообще краситься?..

Пасхин сначала немеет от такой наглости, потом разглядывает Дашкино размалеванное лицо и говорит серьезно:

— Иди умойся сейчас же! Не вздумай в цех в таком виде тащиться... Склеились, как от трахомы, гадость какая!..

Вообще-то Пасхин человек резкий, от его грозного баса бледнеют на совещаниях выдавшие виды мастера и начальники цехов. Но здесь вступает в права извечное: Дашка адресуетя со своим щенячьим кокетством не к начальнику, а к мужчине. И мужчина снисходительно принимает игру.

— Нет, а если по-настоящему красить, в парикмахерской? — это уже подает голос кто-то из девчат похрабрей. — Вообще пойдет ей?..

Пасхин обводит взглядом все двенадцать постных и хитрых рожниц, раздумывая, не прикрикнуть ли на них, наконец милостиво сдается.

— Не знаю насчет парикмахерской.. Я, например, любил все естественное, когда молодым был...

— Вы и сейчас еще!.. — великодушно выдыхает копировка.

Пасхин смеется, грозит Даше пальцем:

— Так умойся!

— Умоюсь! — обещает Даша и, притащив из конструкторского пачку контрольных чертежей, начинает обводить затершиеся размеры.

Пасхин уходит, копировка хохочет, довольная собственной и Дашкиной смелостью.

— Тебя, Дашка, небось учителя любили, — решает вдруг Эля.

— Любили, точно. — Даша пожимает плечами. — А что такого, я училась хорошо.

Она берет помолодевший чертеж и отправляется в цех. Заглядывает по дороге в техотдел: здесь когда-то работал отец, к Дашке технологи хорошо относятся.

— Рыжик, зайди! — зовет кто-то из них. — Как батино здоровье?

— Спасибо, ничего! — отвечает Даша. — Привет всем передавал... Не могу: Пасхин мне велел чертеж в цех отнести.

Ей приятно произносить эту фразу, она в душе гордится, что запросто разговаривает с главным инженером, как гордилась, что для переговоров с директором школы всегда посылали ее.

«Отчаянная ты, Дашка!» — завидовали подружки в школе. Отчаянная?.. Нравится играть в отчаянную, в простенькую лихую девочку. Иногда и сама верит, что такая, что все может, что никто никогда ее не обидит, что все в жизни, в общем, несложно: была бы смелость...

В цеху Дашу тоже знают. Старые токари помнят отца: он всю войну вел в цехах политчас; рабочие помоложе помнят Василия, а совсем молодые просто пригляделись к рыжей головке, мелькающей в проходах между станками. Приветливая веселая девчонка — как такую не запомнить?

И Даша бежит по цеху улыбаясь, кивает направо и налево, останавливается поболтать с разметчицей Таней: они готовят русский переплест к праздничному концерту. Сговариваются о репетициях — и бежит дальше. Ей нравится ходить с чертежами в цеха: не сидится на месте, не привыкла еще. Правда, недавно ее перевели из учениц в копировщицы, теперь нужно выполнять норму, но Даша, когда сильно отстает, просто задерживается на час после работы: домой спешить особенно-то незачем.

Она отдает чертеж мастеру сборочного цеха — немолодому, очень высокому и сутулому: он тоже числится у нее «любовью №...». Чтобы попасть порядковым номером в Дашкины «любви», вовсе не обязательно обладать красотой и молодостью. Тянет ее к интересным и, по ее разумению, хорошим людям. Среди ее «любвей» есть и женщины — но, надо отдать справедливость, их немного.

Обратно Даша снова почти бежит, не оттого, что непременно нужно торопиться, а просто хочется побегать. Бежит, вдыхая с детства знакомые запахи — их приносили на спецовках отец и брат, слушает гуденье моторов, предупреждающий звон колоколов электрокар, скрежет, гроханье, лязг металла. Ей это нравится. Ей тут хорошо...

— Так, что ли, ты окончательно решила? Не пойдешь? — спрашивает ее, перехватив на лестнице, комсорг «конструкторского» Христофор Левин. И смотрит грустно: Даша знает, что нравится ему.

— Сказала же: собираемся сегодня с классом. Последний раз. Христофор ерзает по перилам, откинувшись назад, разглядывает Дашку, не торопится уходить.

— Что это у тебя под глазом, как синяк? Дай сотру... Измазалась чем-то...

— Я сама. Это я ресницы тушью красила, потом смыла... Не надо.

Христофору жалко, что она не пойдет с ними в театр смотреть пьесу «Вас вызывает Таймыр». И ей, пожалуй, немного жаль: с заводскими весело.

— На следующую субботу достань на «Егора Булычова» в вахтанговский, — просит Даша. — Знаешь, как там Лукьянов играет!.. Ох, какой мужик красивый — полжизни за поцелуй!

— Глупенькая ты, что ли? — удивленно пугается Христофор. — Такие вот и вешаются артистам на шею.

— А что, разве плохо? — Даша подмигивает ему и, прыгая через две ступеньки, возвращается в копировку, где Галя уже бросает на ее пустующее место подозрительно недовольные взгляды.

— Меня Борис Палыч в цех с чертежом посылал, — скромненько отчитывается Даша.

— Тебя за смертью посылать! — ворчит Галя. — Как пойдешь — так пропадешь. Садись, копируй, я тебе новый чертеж положила...

Первым, кого Даша увидела у Маргаритки, был тот самый парень с обколотым зубом, который так глядел на нее у Дьяконовых. Маргарита познакомила их, сказав со значением: «Николай...» Даша великолепно помнила восхищенные рассказы Маргаритки про этого Николая. Он учился в техникуме на третьем курсе, умел интересно болтать, и даже поцеловал Маргаритку в парадном. Впрочем, Маргаритка целовалась с мальчишками давно.

Даша чуть разочарованно взглянула на Николая: и он тоже Маргариткин!.. Но красивая она девка, ничего не возразишь. Красивая.

— Здравствуй, Цыганочка, — сказал Николай и улыбнулся, втягивая губу в выщербинку между зубами. Улыбка от этого получилась неожиданно милой. — Незабываемое впечатление...

Ели колбасу, помидоры и конфеты, пили красное вино, пели песни, с которыми ходили в школьные походы. Даша запевала, чувствуя себя необычайно легкой, уверенной, а все из-за того, что на нее не отводя глаз смотрел этот самый Маргариткин Николай. «Судьба туриста нам ясна: протопать все пути-дороги. А потому во время сна расти себе большие ноги!..»

Эх, мальчишки, мальчишки, не замечали вы раньше Дашку, влюблялись в тех, кто выглядит старше, модно одевается, крутит себе челку... Дашке ничего этого не надо, пляшет в чужих туфлях под дробное стучание мальчишечьих ладоней по столу, прощается со школой, со счастливым щенячьим состоянием. Глядите, мальчишки, какую девку вы так и не разглядели за десять лет!..

Завели проигрыватель. К Даше сразу подошли Мишка Лядов и Николай. Николай отодвинул Мишку плечом: «Я первый подошел». «А я ему раньше обещала!» Даша танцевала с Мишкой, улыбалась, слушая, что он непременно хочет с ней встретиться, что она нравится ему еще с третьего класса. Николай сидел на кушетке, курил, смотрел не отрываясь. Маргарита танцевала сначала с Ефимкой, после с Димой Полянским — самым красивым мальчиком в школе, — но глаза у нее были грустные. «Так и надо, — решила Даша. — Другой раз не будет хватать. Красивая!..»

Вышли все вместе, только Николай остался. Ну что ж, а все-таки весь вечер он глядел на нее. Весь вечер, хотя Маргаритка заговаривала с ним, сама звала танцевать... Все-таки приятно.

Дойдя до Кочновки, Даша с Ефимкой свернули в переулочек и пошли одни. Проехал грузовик, с борта прыгнул Николай.

— Насилу догнал! — сказал он. — Погуляем? Вечер хороший.

— Погуляем! — Даша не скрывала, что обрадовалась. — Ефимка, ладно?

— Ну, пацан, тебе скучно будет с нами. Или ты, может, торопишься куда?..

Куда Ефимке торопиться!.. Но Даша понимала, что без него гулять будет, конечно, интересней, и молчала. Ефимка подождал, что она скажет, пожал плечами и ушел вперед.

— Ну вот как хорошо! — Николай взял ее под руку. Даша высвободилась. — Боишься, увидят? Ну, не буду. Ты с кем живешь?

— С отцом, а что?

— Брат у тебя вроде был? Мальчишками голубьями занимались, я помню. Я за линией живу, недалеко.

— Брат в Сибири.

— Васька, да? Я помню его, правильный был пацан. — Николай взял ее за кончики пальцев, вздохнул, улыбнулся. — И мечтать не мог с тобой рядом идти.

— А Маргаритка? — Даша выдернула руку.

— Сказал я ей. Сказал, что все. Затем и оставался. — Николай снова взял ее за пальцы. — Пошли ко мне? У меня сарай, я дома и не живу почти. Там печка, электричество сам провел.

— Ты в каком техникуме учишься?

— В электромеханическом... Только на занятия не больно часто хожу: дела есть. Но учусь хорошо. Я динамо и двигатели лучше нашего Пал Палыча знаю. Он в теории, а я на практике схему какую хочешь разбираю.

— А что у тебя за дела?

— Да всякие... — Николай улыбнулся. — Ты Зюка помнишь?

Даша помнила Зюка, вернее, рассказы об этом знаменитом кочновском жулике, о его грабежах.

— Мне четыре года было, я у Зюка форточником работал. Мал был росточком, в плечах узок: в любую форточку без задержки проскользну. Шпингалеты снимешь — и пошли! Меня с тех пор так «Маленьким» и зовут, Зюк окрестил. Ну, а после, лет десять мне было, в колонию за кражу попал. Вышел — опять попался: квартиру очистили. А теперь точнее работать стал, сходит с рук... Привык... Мать рада, думает, бросил.

— Врешь все? — Даша остановилась, недоверчиво глядя на Николая. — Правда — так не сказал бы небось!

— Никому и не рассказывал.

— Здорово! Первый раз живого жулика вижу!

Впрочем, Даша не очень-то поверила: болтает, конечно. Чистенький, с умным, немного злым лицом, он вовсе не походил на «шпану» — были на Кочновке такие деятели, таскавшие за пазухами ворованных голубей.

Вслед за Николаем Даша вошла через низкую дверь в тесное, обшитое изнутри фанерой подобие комнатухи. Николай зажег свет.

Железная печка, труба выходит в отверстие над дверью. Стол, застеленный газетой, на нем пузырек с чернилами, два граненых стакана. На полу — стопкой тетради, на табуретке — несколько книжек и самопиסקа. Деревянный топчан, накрытый толстым суконным одеялом.

Николай снял с нее куртку, повесил на гвоздь, задвинул дверь тя-

желым, с хитрым устройством, засовом. Остановился, глядя на Дашу, после подошел и усадил ее на топчан.

— Ты мне во сне снилась,— сказал он, присаживаясь рядом.— Брюки закатаны, в майке, рыжая и цыганочку пляшешь. Запомнилась крепко.

Он сунул руку во внутренний карман пиджака, достал финку и положил на табурет.

— Чтоб ты не порезалась,— объяснил он и обнял ее за плечи.

— Не трогай меня.— Даша высвободилась.

Он помолчал, снял пиджак, бросил на табурет и, отодвинув его ногой, обнял снова — уже так, что она почувствовала: не вырваться.

— Лучше не рыпайся,— глядя на нее из-под своих девчачьих загнутых ресниц, сказал Николай.— Я пудовой гирькой крещусь свободно.

— Пусти.— Даша уперлась руками ему в грудь.

Николай молча покачал головой, продолжая все так же, в упор, смотреть на нее. Над верхней губой и между бровями у него выступили капельки пота.

— Цыганочка моя,— сказал он вдруг с неожиданной нежностью.— Рыженькая моя...

Даша тоже смотрела ему в глаза.

«Ну и что? Пусть он меня поцелует. Интересно». Она ослабила руки. Чужие губы прикрыли ее рот, сжали, потом отпустили. Только и всего...

Однако смотреть после этого друг другу в глаза было совестно. Даша повернула руки ладонями вниз и опустила голову на ключицу Николая. Под рубахой редко и громко застучало его сердце.

— Ты что?

— Ничего.— Он закрыл глаза, ослабил руки, утер пот со лба.

Даша взглянула снизу ему в лицо. Он тоже посмотрел и улыбнулся своей трогательной и немного жалкой улыбкой, втягивая губу в выщербленный уголок. Потом, крепко прижимая руку, провел ладонью по ее спине, прикоснулся щекой к волосам.

— Рыженькая моя...

Это была первая ласка, которую Даша получала от чужого человека. Она почувствовала себя обязанной за нее. Неловким быстрым движением обхватила рукой его шею, прислонилась лбом к щеке.

«Глупый мальчишка, жулик несчастный! И любит меня. Вот пожалуйста: всю жизнь мечтала, чтобы кто-то тебя полюбил. Сбылось: любит. Смешно...»

На улице холодно, окна наглухо закрыты. Воздух приобрел хмурый ровный оттенок: осень. Сменился цвет платьев на темные осенние тона, лица потускнели. Голоса звучат приглушенно, неторопливо.

— Эля, дай «балеринку».

— Девочки, у кого перышко лишнее есть? Я свое утопила...

— В клубе «Аттестат зрелости».

— Пошли?

— Да ну...

— Оторвите тряпочки кусочек...

Клавдия Ивановна Ростовцева, заместитель начальника конструкторского бюро, подходит к старшей копировщице Гале, забирает у нее на подпись готовые кальки, что-то сердито говорит. Даша слышит, как упоминается ее имя.

Ростовцева высокая, в очках. Седые волосы сзади подстрижены, по бокам болтаются завитые патлы. Даша искоса разглядывает ее. Совсем недавно Ростовцева ей очень нравилась, казалась удивительной, необыкновенной женщиной, «любовью №...». А что в ней необыкновенного? Некрасивая и, чтобы никто этого не заметил, держится мужиком.

Они идут к ее столу, в руках у Ростовцевой калька: Даша сдала ее только нынче утром. Наверное, опять она там налепила ошибок.

— Невозможно! — говорит Галя. — Простейший чертеж, семнадцать ошибок! Я тебя снова в ученицы переведу... Я понимаю твоё состояние, все мы в твоём возрасте влюблялись, но надо же брать себя в руки!..

Копировка смеется, Даша вспыхивает.

— Вот еще, с чего вы взяли!

— Видно невооруженным глазом, — назидательно говорит Ростовцева и бросает кальку ей на стол. — Подчисти быстро.

Надо брать себя в руки... Так это просто! Теперь во время работы она часто и незаметно для себя выключается: руки продолжают обводить рейсфедером линии, проступающие сквозь мутную поверхность кальки, но она уже не слышит окружающего шума, взгляд теряет глубину, будто между внешней, видной всем точкой зрачка и нервом, который соединяет через мозг глаз с действительностью, вдруг разомкнулись контакты. Мозг думает о своем, руки делают свое...

Влюбилась?.. Просто непонятно, почему Николай пропал. Сразу пропал — и все. Тогда он проводил ее домой, попрощался, наговорил еще каких-то хороших слов. И целый месяц ничего...

Она даже у Маргаритки о нем спросила, будто бы невзначай. Но Николай не появлялся и у нее. Маргаритка встречалась теперь со своим сокурсником: она поступила в педвуз. Хорошо забывать так легко...

Идут перед глазами «живые картины»: руки Николая, губы, даже запах его кожи, даже бисеринки пота между бровями. Глупость такая — ничего невозможно с собой поделывать...

— Вот это, Нина, наш актив! Пляшет, поет — на все руки девка! Даш, пойди, я тебя с новым секретарем познакомлю.

Даша нехотя поднялась. К ней подходили Христофор Левин и новый секретарь заводского комитета комсомола, плотенькая девушка с длинными, красиво подогнутыми к шее волосами. Она протянула Даше беленькую руку.

— Я учту ее, — улыбнулась, показав розовые десны и короткие, будто спиленные зубы. Уверенно пообещала: — Мы еще будем друзьями!..

Еще раз показала десны, тряхнула Дашину руку, и они с Христофором двинулись дальше по бюро.

Зазвонил звонок на обед. Выходили обычно все вместе — и конструкторское и копировка. В дверях образовывался затор, спускаясь по лестнице, обгоняли друг друга: столовая была небольшой, опоздавшим приходилось ждать места.

— Девочки, — крикнул кто-то, — смотрите-ка, новость: флажки!

Действительно, на некоторых станках светились выпиленные из фанеры красные флажки. Один такой флажок был укреплен на станке Ефимки.

— Зина, — Даша догнала одну из копировщиц, сунула ей деньги и хлеб. — Займи мне место, я к Ефимке зайду. Если задержусь, закажи мне щи и винегрет. И чаю два стакана...

Ефимка сидел на корточках перед инструментальным шкафчиком и перебирал резцы. Даша взяла со станка флажок и присела рядом с Ефимкой, прочла надпись.

— Лучшему токарю. А ты лучший? Кто это тебе дал?

— Ну, дали.— Он продолжал перебирать резцы.— Замок надо сменить, все хорошие резцы повытаскали, гады!.. Не лучший. В ту смену есть парень, у него выше показатели. Но он пьет. Решили мне присудить. Все?

— Погоди,— Даша сунула флажок на место.— Ну и что, тебе это, что ли, помогает? Или для других, чтобы знали?..

Ефимка утер лоб грязным рукавом и досадливо взглянул на Дашу: не смеется ли?..

— Не то что помогает... Ну, не знаю, иди ты!

— Нет, правда?

— То вроде в грязи волтозишь, для чего, для кого — неизвестно. Чтобы наряд побольше закрыть... А то... Я буду для нее стараться, раз ей приятно.

Так просто?.. «Лучший токарь» — и эта девчонка с близко поставленными глазами уже заняла место в сердце?.. Так просто?.. Вот старый секретарь Юрий такого не знал. Может, существует наука, точно рассказывающая, как подчинять сердца людей?

— Она со Степой, нашим группкомсоргом, ездила к отцу. Нина ему наврала, что у ней дядя — прокурор, и он устроит ему пятнадцать лет за истязание малолетних и садизм. Отец и сдрейфил... Четыре дня не трогает, хоть и пьяный. Я, говорит, хитрый, я тебя самого посажу!..

С работы они возвращались вместе. Даша с каким-то новым ревнивым чувством поглядывала на широкогрудого коренастого паренька, вышагивающего рядом размашистой «заводской» походочкой. Форменная тужурка распахнута, малокозырка сдвинута назад; тротуар узкий — Ефимка, выставив плечо и оттопыривая локти, великодушно принимает все толчки встречных и обгоняющих.

— Это Нина ко времю угадала... Еще день — не идти бы мне тут с тобою. Мне мои корешки из ремесленного уж и ножик выточили из напильника. Острый, сволочь, трехгранка! Ручку кожей обтянули, чтобы плотней в ладонь влипала, не крутилась. Ну, думаю, пусть кинется... Сил не стало терпеть, чем попадая бьет, волосы в коросту слиплись... Нина ко времю... Нина тебе нравится?

— Видно, стоящая девка, раз помогла тебе. Ты влюбился, что ли?

— Да у нее небось есть... Она и старше меня...

Много ли надо не избалованному человеческой добротой парнишке? Участие, ласковое слово... Первая передышка за девяносто дней... И ничего удивительного, если он произносит слово «Нина» слишком часто.

Ведь даже матери не пришло в голову, что не стоит этот кусок жилплощади в Москве той постоянной муки, которой подвергает она своего мальчишку. И мальчишке тоже не приходит в голову, что мать должна сказать: плюнь, уйди в общежитие...

Ефимка свернул к дому, Даша, поколебавшись, отправилась к Дьяконовым.

— Зря ты к ним зачастила! — вслед ей крикнул Ефимка.— Суки они все.

Пойди объясни ему, что она надеется там встретить Николая.

Тикали ходики, терлась об угол комода кошка, покачивалась от ветерка из форточки лампадка под большим, в пыльных бумажных розах киятом. Зойка сидела на диване, тыкала в холст иглу и, делая головой полной рукой бессознательно грациозный жест, протаскивала нитку. На кровати возле Ритки сидел парень с челочкой, выставив на цветную смятую дорожку хромовые сапоги, и тренькал на гитаре.

— Жрать хочешь? — спросила Зойка, откладывая пяльцы.— Супу налью.

— Налей.

Даша низко нагнулась над книгой, чтобы не было заметно, как она покраснела. Она ждала Зойкиного вопроса — и это было унижительно. Получка, так же как пенсия отца, рассасывались тут же, на какие-то несерьезные съедобные вещи и многочисленные газеты и журналы. Отец, словно ребенок, совершенно не умеет растягивать деньги.

Парень с челочкой повесил гитару на гвоздь.

— Вечером зайду,— сказал он и вышел вслед за Зойкой, тиснув ее в дверях. Та лениво выругалась.

Ритка легка на живот, вытянув мускулистые, с ямочками на локтях руки.

— Здоровенные вы стали лошади. Я уходила, вы с Зойкой еще панканками бегали, а теперь — девки. Ты особенно выровнялась, кусочек хоть кому. Одеться бы только тебе, а то платье вон как барабан обтянуло... Васька-то как, пишет?

— Пишет.

— Что ж денег не пришлет?

— Присылает, да нам все не впрок.

— Не женился?

— Тебя дожидается.

— Мы с ним уж отженились...

Василий недавно прислал деньги ей на пальто, но заплатили долги за квартиру, за электричество, соседкам, отец купил английский фразеологический словарь, остальное растеклось между пальцев. Даша написала Василию, что пальто купили.

Очень хочется одеться... Красивое платье, хорошие туфли — никогда еще она не носила таких вещей, разве что в грезах. В грезах это не дорого стоит — прилично одеться...

— Оденусь,— усмехнулась Даша.— Вот выиграем — и оденусь. У отца уж который год облигация лежит. Даже когда есть нечего, не продаем. Выиграем тысяч сто — и оденусь...

Вошла Зойка, неся миску с разогретым супом, закинула скатерть на столе.

— Жри давай.

— Выиграете, дожدهшься! — засмеялась Ритка.

В дверь заглянули.

— Ритка, выйди!

Даша замерла, не донеся до рта ложку.

— «Маленький» вернулся! — Ритка сползла на пол, подтягивая сваливающиеся чулки, сунула ноги в туфли, вышла.

Даша, не чувствуя вкуса, ела суп, листала старый «Огонек», напряженно прислушиваясь к голосам за дверью.

Наконец Ритка и Николай вошли в комнату. Николай разделся, оправил пиджак, провел расческой по рассыпающимся промытым волосам. Сел на табурет, прямо держась, положив на колени руки, глядел на Дашу.

— Здравствуй,— сказал он наконец.

— Здравствуй.— Даша отодвинула тарелку.

— Вы знакомы? — удивилась Ритка.

— Ну да, встречались. Потанцуем? — предложил Николай.

Зойка бросила на диван пальцы, вытащила из-под кровати патефон и пластинки, завела. Сдвинула к стене стол, отшвырнула ногой смятые дорожки, позвала Ритку.

— Разомнись. Ноги отнимутся.

Даша с Николаем тоже стали танцевать. На повороте, когда они совсем близко придвинулись друг к другу, Николай прошептал, коснувшись губами ее уха:

— Сбежим, Цыганочка?.. Ох как хорошо, что все обошлось, что я снова тебя увидел!..

— Сбежим... Где ты был?

— Далеко отсюда...

Даша вышла первой, Николай догнал ее. Они шли, не глядя друг на друга; когда повернули за угол, Николай осторожно коснулся мизинцем ее ладони. Даша слышала, как кровь толчками приливает к шее, к губам, счастливо тяжелеют ноги.

Они вошли в лес и остановились...

— Дашка...— сказал Николай, притянул ее к себе, она почувствовала скулой его жесткие ресницы, уголок его глаза.

— Я скучала по тебе...

И опять ей удивительно стало, что первый раз в жизни ей принадлежит человек. Его можно было трогать, гладить, целовать — делать все, о чем она столько слышала, видела в кино, читала в книгах. Он коснулся губами ее губ. Господи, как это, оказывается, хорошо...

В А С И Л И Й

На воле дождь, все ребята в вагоне, только Яшка да Алексей где-то шляются. Остальные лежат по своим койкам. Федор спит, громко всхрапывая, Коля Евлахов — самый молоденький из них, читает. Из всей их бригады читают книги только Коля да Яшка. Разве что попадется детектив либо фантастический роман — тогда читают вслух, рвут из рук друг у друга.

Мишка бренчит на гитаре. Лушат кедровые шишки, поют частушки девчата. Лениво, без задора, лишь бы не молчать. «Мене милый изменил полчаса девятого, через пять минут пришел — я уже занятая... Мене милый изменил, а я рассмеялася: какая может быть измена, я в вас не влюблялася!..»

Василий двинул жесткую ватную подушку кулаком, повернулся на другой бок. О-ох, как тошно, противно все!.. Что он?.. Есть в запасе десятков грубых шуток для разговора с девчонками, а больше и слов-то нет... Слова есть, теснятся, дают нежностью горло: эти слова можно говорить любой женщине, будет слушать. Но кроме этих еще нужны иные, слова о жизни — их нет...

Василий сел на койке, спустив босые ноги. И Яшки нет, поговорить бы, отвести душу. Вообще-то Василий не любит выказывать свои привязанности, но тянет к Яшке, присушил его чем-то конопатый недоросток. Он ревнует его к Алексею, с которым у Яшки более давняя, более прочная дружба. Про Яху он даже в последнем письме Дашке написал. И про Анну Сергеевну тоже. Ничего конкретного — просто есть, мол, такая женщина... Дашка пишет, что купила зимнее пальто. Врет небось: если б купила, то уж расписала бы какое. Надо самому купить и послать. Отец, как ребенок, не может спокойно видеть деньги, обязательно проест.

На Мишкиной койке сидят Сима и ее подружка Валя. Обхватили Мишку за шею, льнут к нему, он бренчит на гитаре.

Сима жметя к Мишкиному плечу, хохочет, поглядывая, словно невзначай, на Василия. Мишка лепит на гриф пальцы, дергает струны, охально ржет, тычет локтем Симу в грудь.

— А ну дай.

Василий взял у Мишки гитару, поскреб через расстегнутый смятый ворот рубахи заросшую коротким волосом грудь. Протекло мурашками по спине озорное желание счудить, выкинуть какое-нибудь коленце.

Сима поднялась, шагнула к нему. Брови густо накрашены, губы тоже — чужим выделяются на бледном детском лице.

— Разлохматился, как овин... дай расчешу.

Вынула из косичек гребенку, потянулась.

— Глупая ты, Симка...

Василий прислонился щекой к накрашенным бровям. Сима молча льнула к нему, вцепилась руками в плечи. Василий оттолкнул ее, сел на койку, бросил гитару Мишке. Желание чудить прошло. Уйти, что ли, с Симкой, обжалеть ее, обласкать, обцеловать глупую... Жалко.

Качнулся вагон, распахнулась дверь, впустив на мгновение мрак и плеск воды, вошли Алексей и Яшка. Василий исподлобья наблюдал за Яшкой, ожидая его взгляда, но Яшка увидел Симу, и конопатое лицо его сразу стало напряженным и неестественно веселым. Он уже никого не замечал, привязанно глядел на Симу добрыми светлыми глазами.

Алексей стянул сапоги, размотал сырые портянки, повесил на веревку над печкой.

— Потухла, черти! Чья нынче очередь топить?

— Васькина.

— Что ты брешешь, я позавчера топил. Федькина!

— Вовсе Мишкина...

Коля Евлахов поднялся, вышел в тамбур, принес дров.

— Снова на Кольке, паразиты, выезжаете! — Алексей постучал кулаком по спинке койки. — Переберемся с ним в другой вагон, померзнете все тут, как тараканы!

Яшка разделся, сунул сырые сапоги к теплому боку плиты, подсел к девчатам:

— Угощайте шишками!.. Спасибо, еле выпросил... Сима, касатка, выйдем поговорим?

— Отцепись ты, конопатый! — хмуро оттолкнула та его руки, закусила кончик платка. — Пошли, что ли, Валька? Спать охота.

— Иди, я скоро, — со смешком отозвалась та.

— Дядя Яша — что, дядя Яша отцепится... Спасибо, еле выпросил... — вслед Симе невесело сказал Яшка и, вздохнув, лег на свою койку. Потом приподнялся, хмуро глянул на Василия, достал из кармана телогрейки сверток каких-то грязных бумаг.

— Вот, дяде Яше бог послал в столовке. Посмотри.

Василий развернул. Журнал, на обложке две башни с зубчиками, какие-то люди тычут пальцами вверх. Вверху катятся не то четыре шлифовальных круга, не то колеса без ступиц. Лучи, и в лучах головы с крылышками.

— «Башня стражи, — прочел он. — И познают, что я — Иегова». Что это?

— Да вот: точки, точки, догадайся, мол, сама. Старинный, вроде бы журнал, а новенький, хрустит...

— Все бог да бог... — Василий листал на гектографе отпечатанные страницы. — Мура... Церковный журнал.

Он достал листок, вложенный в середку, развернул.

— Письмо... Небось из плотников кто обронил, у них там все переселенцы.

— Дай-ка, — Яша взял письмо и начал громко читать, выговаривая слова буквально, как написаны, с нарочитым пафосом. Скоро в вагоне поднялся хохот.

— «Добрый день. Витаю ты брате любовью нашего Спасителя Иисуса Христа, шлю тебе чисто христианский привит из далекого Сибири. Страхи горе яке було засталися в дома живем мы тут на Сибири без жадного горя. Любий брате, люби сестры хочу вам сказати, що земличка на Сибири не дає нам страху. Родить бульбу и пшеничку и то в добрим

смаку... А мы теперь на Сибиру далеким спиваем, дэ незнав ниhto про царство Боже мы им сповищаэм...»

Журнал и письмо пошли по рукам, потом спокойно прополыхали в печке.

— У нас священник молодой был, красивый, собака! — сказал Яшка.— За тридцать километров из-за него к нам бабы в церковь таскались. Помнишь его, Лёха?

Алексей хмыкнул.

— Тамарка дядина приезжала крестить нашего Петруньку. А отец Павел крест в купель макает — и ей: «Кума, вы когда в город, значит, возвращаетесь? Я провожу вас...»

Ребята дружно посмеялись, поострили.

— Денег у них...— Мишка хохотнул.— Во, робя, в попы бы пойтить?..

— Волоса короткие.— Яшка обернулся к Василию: — Вон кому в попы, цыган лохматый! — Он беззлобно ругнулся.— Страшило бровастое, и за что только тебя девки любят! — Яшка перебрался на койку к Василию, дернул его за худую лодыжку.

— Чего ты над Симкой мудришь? Одно бы что-нибудь...

— Отцепись, дядя Яша! — Василий отвернулся к стене, уткнулся в подушку.— Бери их всех и топай к...— Василий точно указал адрес.

От горла к подложечке протянулось что-то сухое, тупое, злое, горько давило. Оставили бы все его в покое!

...Сыпал дождь.

Василий с Яшкой копали двухметровую яму фундамента под печи. Василий зло жал сапогом на ребро лопаты, угрюмо отмалчивался на Яшкины шуточки.

— Перекурим? — предложил Яшка.— Перекурим это дело... Ну, что ты, дядя Вася? То — человек человеком, а то надуешься, как сыч, копишь про себя свое...— Он чиркнул спичкой, зажал в горсти огонек.— Вон Анна Сергеевна кого-то разыскивает.

Василий вздрогнул, обернулся. По дороге от поселка шла, поблескивая резиновыми сапогами, Емельянова. Подошла к Алексею, спросила что-то. Алексей потряс головой, развел руками, осклабился, заговорил быстрее, с особенной «ухажерской» улыбочкой. Емельянова отвечала посмеиваясь, привычно кокетливо поводя бровями. Разговаривая, она рассеянно шарила взглядом по рассыпанному на площадке фигурам ребят, повернула голову и вдруг наткнулась глазами на взгляд Василия. Будто нить какая-то протянулась от зрачка к зрачку, натянулась напряженно. Василий прикусил губу, вздохнул бледнея, опустил голову. «Грязный, морда обветрела...» — облившись стыдом, вспомнил он, поднял лопату, налег на нее всем телом, глядя в землю.

— Ушла...— издали донесся до него Яшкин голос.— Закури, бедолага...

Василий выпрямился, молча взял сигарету, закурил, отворачивая лицо от Яшкиных сочувствующих глаз. Но Яшка молчал, скоро отошел.

Алексей засвистал так, как изо всей бригады умел свистеть только он: без пальцев, свертывая рулетом язык, коротким настораживающим свистом. Обед...

Есть не хотелось, но Василий поплелся за всеми в столовую, встал в очередь, взял суп с консервами и гуляш.

К его столу подошел, неся алюминиевую тарелку со щами, бригадир плотников Плитич. Щи жарко дымилась, но черствые, чуть желтоватые пальцы Плитича удобно и спокойно держали горячую тарелку, касаясь шей. Он сел, начал есть, сняв старую, с черной мерлушкой ушанку, обнажив большую голову с затейливыми сивыми стружками кудрей. Изредка он доброжелательно и задумчиво взглядывал на Василия голубыми, чуть выцветшими глазами.

— Ты что смутный такой ходишь? — спросил он негромко. — Товарищи твои, значит, все веселые, а ты задумчивый?

Василий промолчал.

— А я до тебе давно приглядаюсь, — продолжал Плитич. — Нравиться ты мне. Хотя и озоруюсь, но чую, не от пакостности, а по причине, что себя не найдешь.

Он опять подождал, не скажет ли чего Василий. Василий молча хлебал суп, но ему приятно было, что человек назвал его бестолковые метания так аккуратно и оправдывающе. Он стал прислушиваться, что Плитич скажет дальше.

— А может, тебе интересно было б со мной побеседовать. Есть тут люди, кто вкуче собравшись разговаривают об том, что есть жизнь. — Плитич помолчал, как бы подчеркивая значительность этих слов. — Нынче будет такая беседа. Приходи после работы у вагон, где Косой живет. Будем на ту тему беседовать, яка тебя может интересовать.

Вбежал Яшка.

— Я тебя по всему поселку ищу, пропал дядя Вася!

— Вон добрый человек меня на беседу зовет.

— Вместе придем, — щедро пообещал Яшка. — Можно, дедусь?

— Приходите, — доброжелательно поднял Плитич от миски голубые глаза. — Только, ребятки, об этом больше никому не сказывайте. Мы пока еще не усах приглашаем...

— ...Небо господу, а землю он дал сынам человеческим для жительства. Познал я, что все, что делает бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять, ибо бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его...

Василий глядел на Плитича. Голубые глаза полужакрыты, сивые стружки волос свешивались на большие, покрытые лохматым пушком уши. Лицо хранило спокойное суровое выражение, говорил он негромко, размеренно, чуть заученно. Почувствовав пристальный Васильев взгляд, Плитич приподнял веки: глянуло зыбкое, неуловимое...

В вагончике сидят по койкам несколько плотников, пожилые женщины, две девчонки-развальщицы из мехколонны, уборщица конторы тетя Паша и блатного вида мозглявенький парень в кепочке.

— ...И сказал господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. И как было во времена Ноя, так будет и в дни сына человеческого. День гнева — день сей. День скорби и тесноты и мрака, день облака и мглы. День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен...

Василий с Яшкой на корточках подперли стенку вагона. Сначала Василий созерцал все это как спектакль, разыгрываемый взрослыми людьми. Потом с удивлением понял, что серьезность не видимая, а истинная.

Плотники-западноукраинцы слушали слова о гневе божием как нечто само собой разумеющееся, женщины ужасались, всплакивали, девчонки — с широко раскрытыми глазами, как страшную сказку. Мозглявенький поживался, перебирал пальцами по колену, на лице его сменялись неопределенные тени чувств. Голос Плитича произносил малопонятные гудящие слова, подчинял внутренней убежденностью, волевым напором.

Яшка подтолкнул Василия.

— Журнал-то, дядя Вася... Кто ж его печатает, интересно. Сглупа или как?

— Сглупа...

В вагоне было жарко натоплено, клонило ко сну. Василий поддавался убаюкивающему течению слов. Гнев божий... Смешно... Смешно?

5. Глава, представляющая собой

нечто вроде кульминации

ДАША

Даша сошла на трамвайной остановке. Грязь, промокшие насквозь туфли едва не остаются в размятом суглинке улицы. Трава возле заборов лежит мертво-зеленая, пропитанная водой, ветер с дождем рвет с деревьев листья.

Завтра седьмое ноября. Завтра Даше исполняется восемнадцать лет. Давали получку, она кое-что купила: пусть и у них с отцом будет праздник.

Чувствовала себя Даша препротивно, хоть и храбрилась. Ее не оставляло ощущение какой-то своей неполноценности и физической нечистоты. И самое тягостное, конечно, было опасение снова встретиться, снова взглянуть в глаза Николаю. Но он, кажется, опять куда-то уехал, во всяком случае, с того вечера Даша его не видела. Лучше всего, конечно, было бы ему исчезнуть...

Даша развернула покупку. Отец недоверчиво прочел этикетку на вине, съел довесок чайной колбасы.

— Деньги получила? — спросил он. — Нет, все-таки портят у нас продукты. Какая раньше колбаса была, причем из дешевых!.. В магазинах Бландова и Чичкина. Бландов был купец. Огромные синие вывески с золотыми буквами Чичкин и Бландов. А Чичкин с университетским образованием: кафель — и на нем надпись «Молочный магазин Чичкина». Либеральничал интеллигент, заигрывал со студентами, с рабочими...

Отец развешивал, пробовал сыр, икру, конфеты. Осмотрел удовлетворенно мясо: как раз на две сотни пельменей, настоящих, сибирских... Что поделать, папа и дочка любят хорошо поесть, и тот и другая считают, что лучше два раза в месяц позволить себе то, что хочется, а потом перебиваться с похлебки на суп, чем благоразумно растягивать деньги...

— Конкуренты были злейшие! Где открывается магазин Бландова, сейчас за любые деньги Чичкин снимает помещение напротив. И, конечно, все идут к нему: чище, дешевле, вкусней... А до шести утра та колбаса, что днем шла по тридцати копеек за фунт, продавалась по гривеннику — как понимаешь, специально для рабочих и студентов. Фирменные магазины — вообще памятники своего рода: хлеб у Филиппова, Елисеевский магазин, аптека Феррейна...

Даша досадливо вздохнула: господи, сколько один человек может наговорить!..

В дверь постучали и сразу же открыли. Заглянула Зойка.

— Даша, тебя можно?

Даша медленно положила ложку, похолодело сжавшись внутри.

— А что надо? — настораживаясь, сердито спросил отец.

— Мне Дашу.

— Я сейчас. — Даша накинула пальто и вышла в коридор. С того вечера она ни разу не была у Дьяконовых.

— Внизу Николай тебя ждет.

— Что ему?

— Просил вызвать. — Зойка улыбнулась. — Нужна, значит. Сойди.

— Не пойду.

— Он сказал: не пойдет, приду сам. Очень нужна.

— Так?.. Ну ладно же...— Даша дергала пальто, не попадая в рукав.— Хорошо же...— Она побежала вниз.

Николай сидел на перилах крыльца. Брюки заправлены в сапоги, кепка глубоко надвинута, воротник поднят. Услышав шаги, он поднял глаза. Даша, не выдержав, скосила свои в сторону, зло покраснела.

— Что тебе?

— Иди.— Николай кивнул Зойке и, достав из кармана коробку «Казбека», закурил. Пока Зойка нарочито медленно ступала по лужам своими глянцевыми высокими ботинками, Николай курил и глядел на Дашу.

— Хотел тебя видеть,— сказал он и бросил недокуренную папиросу в лужу.

— А я не хотела.— Даша, пересиливая себя, взглянула на него, расслабясь, прислонилась к подавшейся половинке двери.

— Так как же мы будем? — Николай положил ей руку на плечо, притягивая к себе. Даша испуганно отстранилась.— Как же быть?

Он улыбнулся, и Даша задохнулась вдруг от чего-то, сдавившего сердце.

— Я же люблю тебя.— Лицо его сделалось серьезным, глаза грустно-тяжелыми, а губа так и осталась втянута в выщербинку.— Я люблю тебя и без тебя не хочу. Нужна ты мне.

— А ты мне не нужен!

— А ты мне нужна,— настойчиво повторил Николай.— По-хорошему не хочешь — будет хуже. К отцу твоему пойду, пусть выдает за меня. Пойдешь замуж за жулика?

— Лучше под электричку.— Даша выдержала его взгляд, понимая, что сейчас уступит.

— Ладно, замуж не хочешь. А так... поговорить? Вечерком нынче, я бы подождал тебя у линии?

Даша молчала, теребя в кармане растрепавшийся шов.

— Не смогу я сегодня,— выдавила она наконец.— Завтра. Часа в четыре...

— Ладно...

Николай прыгнул с перил и пошел, обходя лужи.

Даша поднялась вверх. Сердце колотилось, точно рыба в тесном мешке, удары его отдавались в горле. От окна в коридоре, шаркая галошами, шел отец. Даша оглянулась: окна замазаны, значит, разговора он не слышал. «Все шпионит, покою ему нет!..»

— Что это за кобель?

Даша, пытаясь казаться безразличной, махнула рукой, села на раскладушку, взяла книгу. И только тогда, чувствуя, что голос прозвучит теперь совершенно естественно, сказала:

— С нашей работы техник один. Галя послала спросить, где у меня сегодняшние кальки лежат.

Отец оглянулся: он укладывал в форточку Дашины покупки.

— Не лги только! Я прокурор, слава богу, понимаю. Не с такими лицами о чертежах говорят. Хахаль твой, наверное?

Даша подняла голову: «Ну спроси, спроси, попытай!.. Мне в конце концов легче будет: может, вместе до чего-нибудь задумаемся. Спрашивай, ты же прокурор! Помнишь, как ты допытывал меня еще совсем недавно, тогда ведь ничего-ничего не было... Ну?»

Отец вдруг отвел взгляд, сказал изменившимся, тусклым голосом:

— Я думаю... не утащит ли у нас кошка это все?.. Как раз бы по нашему везенью...

Утром Даша взяла с печки покоробившиеся высохшие туфли, почистила их гуталином. В центре сейчас демонстрация, шум, песни. А у них

тишина, народу мало — все разошлись, только на домах флаги висят да в коридоре сдобно пахнет пирогами.

Раньше Даша всегда ходила со школой на демонстрацию. В любую погоду — не упустить пестроту дня, веселье до изнеможения, уйдиканье китайских чертиков, мельканье всех оттенков красного цвета, отовсюду ухающую медную музыку... Это был первый праздник, который Даша проводила дома. Где-то шли, пронося по московским улицам лозунги, люди, а Даша сидела дома. Вчера Христовфор спрашивал: «Придешь? Приходи непременно, запевать некому...»

Но не пошла. Неохота...

Даша включила репродуктор. Заплескались, забились шумы в эфире, далекие голоса; донеслись неразборчивые отрывистые звуки,— их проносил густой волевой бас.

— Да... здра...

И в ответ многоголосое, слившееся в одно:

— А-а-а-а!..

Ну вот, и в их убогую тишину ворвалась свежинка. Зря, наверное, не пошла. Развеялась бы со своими, распелась бы, расплясалась... Страхнула бы хандру: подумаешь, событие! Не она первая, не она последняя. Смешно, не в монастырь же собиралась... Все-таки крепко, значит, сидит в ней папино воспитание: расхандрилась, куда там!..

Отец, одетый в чистую, заплатавшую на лопатках рубаху, накрывал на стол.

— Жуков?.. Сколько ему лет?.. Рокоссовский?.. Молодые сравнительно... А раньше до капитана двигались гладко, а от капитана до подполковника часто целая жизнь проходила. Был специальный день — двадцать шестого февраля, когда по всей России производили в подполковники. Списки публиковались в журнале «Русский инвалид». Двадцать шестого февраля... У отца руки дрожали, когда он открывал журнал в этот день!.. Существовал особый реестр капитанов, составленный в порядке производства в капитанский чин. Отец с восторгом вычеркивал всех произведенных и умерших: меньше претендентов. Говорил: мне осточертело подписывать эти два слова — «капитан Леонтьев»...

Поставил тоненькие стаканчики, колбасу на выщербленной пожелтевшей тарелке, в блюдечке с отбитым краем — икру. Принес три красных гвоздики — самый любимый в их доме цветок...

— В какой-то момент своей жизни твой дед начал вышивать скатерть, не отрезая от целого куска. Намеревался в день производства накрыть ею стол. Метров восемь вышил: двадцать лет не производили!.. А ведь радел, любили солдатики, потому как заботился. На какие-то остатки хозяйственных сумм купил невод, так что помимо обычных штей и каши имели солдатики еще и рыбу... А во время восстания Иркутского гарнизона вылез батя выступать: «Братушки, заря занимается... народ!..» Восстание быстренько подавили, участников взяли к ногтю... Отец бил поклоны, молил, чтобы уберег его бог от наказания... Мать следом ходила, хлопала полотенцем по лысине: «Недотепа, вылез!» Но не помог, как ты знаешь, твоему деду господь... Отец рано облысел, борода была густейшая, а голова совершенно лысая... У меня же ни волос, ни бороды...

Принес бульон и миску с горячими пельменями, растекся по комнате мясной сытный дух. Праздник. Раз мы едим пельмени, значит, праздник, и ни о чем тяжелом думать нельзя. Всю бы жизнь их есть...

— Садись.

Его глаза смотрят на Дашу сегодня как-то иначе, чем обычно. Будто раньше они глядели на всем известную девчонку, а неожиданно увидели взрослого сложного человека. Отец разливает вино в три стаканчика: по праздникам Василий тоже с ними. Чокается сначала с

Дашей, после со стаканчиком Василия. Отец неисправимо сентиментален...

— За твой день рождения, девочка, и за день рождения революции... Будь здоров и ты, мальчик, в моей Сибири.— Он целует Дашу, пьет.— Для меня революция — не просто звук. Худо ли, хорошо, но я служил ей...

Даша молча слушает, наблюдает за отцом отчужденными и сочувственными глазами. Отец хмелеет быстро, прихлебывает вино маленькими глоточками, ест жадно, торопясь, переваливая в беззубом рту нежующиеся куски колбасы и хлеба. Верно, что раньше все было вкусней, верно, папка... Даша смотрит на него, слушает, ест мало, а отец говорит, говорит...

— Ничего, наладится все, выкарабкаемся. Заведешь себе что-нибудь приличное, тряпки какие-нибудь, пальто. Облигация должна же когда-то выиграть?.. Я уроки буду давать. Давал же я уроки, когда в гимназии учился? Выкарабкаемся...

Даша не отвечает, только улыбается ему в ответ грустной и взрослой улыбкой, как ребенку.

Николай встретил ее на полдороге, они пролезли задами к сараям и вошли в чистенькую, обшитую фанерой коробку. Даша села на топчан. Николай запер дверь, достал и разложил на застеленной газетой табуретке конфеты, печенье, яблоки, вино.

— У всех праздник, а мы, что ли, хуже людей?

Он открыл вино и разлил в граненые простые стаканы.

— Наши сейчас в «Нарве»...— сказал он, садясь рядом с Дашей и обнимая ее.— Знаешь, бывает небось со всяким, когда обрыдло все твое, не хочется рева, шума, пьяных рож... Хоть в коробке, да своей и со своей... И наверняка до тебя ее сотня языков не облизала.— Он положил голову на каменно прямое, неласковое плечо Даши.— Я знаю, ты меня ненавидишь. Мол, привязался, гад! Жизнь испортил. Но люблю тебя... Вот лежу иной раз, вспоминаю, цветочек мой, дорогушечка моя, одна только ты такая на свете... И никого мне, кроме тебя, не надо... Ешь конфеты.

Николай допил вино, достал из-под топчана сверток, развернул. Шелковое белье, чулки в целлофановом пакете.

— Надень.

— С кого это ты снял?

— С витрины... Говорю продавщице: снимите мне эту рубашечку, она как раз на мою девочку годна...

— Не твоя. И барахла от тебя никогда не возьму, запомни.

— Не моя? — Николай рванул ее за плечо, опрокидывая на подушку.— Не силой я тебя взял, не обидел. Так и ты не обижай меня. Чего тебе надо, кого?.. Да как я, тебя никакой инженер любить не будет! Я ж для тебя что хочешь сделаю, что скажешь достану!.. Ты у меня как игрушечка будешь ходить в шелку да в лаке... И пятнышка на тебя не положу, сам опять на срок пойду... Меня не станет — мою долю тебе всегда отдадут, не оставят одну... А пока я тут, я ж тебе на минуточку соскучиться не дам, на руках тебя, моя лапочка, носить буду, исцелю всю, изнежу... Вот.— Он сполз на пол и стал сдирать с Дашиных ног чулки.— Ни одной девке руки не поцеловал, а тебе ноги — видишь! — Он жадными короткими поцелуями покрывал ее колени, потом повернул и поцеловал пятку.— По полу растекусь, с грязью смешаюсь, только ласково посмотри, улыбнись...

— Дурак, грязные ноги-то, туфли у меня промокают.— Даша отталкивала его, чувствуя, что заражается его горячностью, нервно дрожит.— Пусти!

Даша проводит ладонью по темным прямым волосам, щекочущим

ей сгиб локтя. Смелея, убирает их с лица Николая, скользит кончиками пальцев по его лбу, по бровям, просовывает руку за воротник, гладит шершавые лопатки...

«Опять мировая скорбь?» — иронически вопрошал отец, когда Даша ходила мрачная, — и вдруг «мировая скорбь» исчезла.

Надо полагать, это произошло потому, что у нее теперь был Николай. Видно, каждому человеку необходимо, чтобы его кто-то гладил по голове и чтобы самому ему было кого погладить... Так или иначе Даша ходила веселая, ко всем щедро добрая, словно бы все на свете для себя решившая.

Отец воспринял такую перемену в ней по-своему.

— Я рад, что ты благополучно выкарабкалась из этой истории, — сказал он однажды.

— Из какой истории? — Даша испугалась.

— Перестань! Я же прокурор, все прекрасно понимаю. Не хочешь откровенничать — дело, бесспорно, твое, но могу тебе сообщить, что я действительно рад. Я боялся, что будет хуже. Голова у тебя все-таки моя, трезвая.

— Конечно, у меня трезвая голова.

Если отцу хотелось думать, что ее посетила и была успешно изгнана первая любовь, — тем лучше.

Даше нравилось проверять свою власть над Николаем. Часто, зная по каким-то случайно произнесенным фразам, что на следующий вечер он должен пойти «по делу», Даша приходила без предупреждения, и Николай всегда встречал ее обрадованной растерянной ухмылкой.

— Говорила же, что занята нынче? Эх, здорово, что не ушел я еще! Должен был тут по одному адресу смотаться — ничего, обойдутся...

У него были совсем иные представления о страшном, о жалости, о порядочности.

— Что ты мне мораль читаешь? — удивлялся он. — Ну наплюй, какая тебе разница, что я думаю — так, не так... Все живут не лучше, все воруют. Ты наивная, вот и не замечаешь. Мой батя был жив, помню, ему за счет завода сколько раз ремонт делали; мать и сейчас из конторы бумагу носит, конверты, карандаши, чернила... Кальку на полотне — выстирает и рубашки шьет... Мелочь, а помножь на каждого? Ладно, заткнись. Главное, что я тебя люблю...

Для Дашки это тоже скоро стало главным. Днем на работе она ходила ошалелая, тихая, помня руки и губы Николая, повторяя себе его ласковые слова — их он мастер был изобретать бесконечно.

С осени начал работать драмкружок, им руководил артист Малого театра Днепров. Дашке он дал роль Глафиры в «Волках и овцах»; когда был готов спектакль, костюмы взяли напрокат в костюмерной. Даша надела длинное желтое платье, шляпку — и удивилась: как все-таки действительно одежда меняет человека, пройтись бы в таком виде по улицам, чудо просто... На спектакле было полно народу, все работники заводоуправления; инструктор райкома комсомола Петя Свешников и Пасхин сидели в первом ряду, смеялись и хлопали изо всех сил. А Дашка кланялась, глядя в зал, и жалела, что нет Николая: увидел бы он ее в этом наряде!..

— Ну как, «тихие воды — глубоки»? — сказал на следующий день, придя в копировку, Пасхин и подмигнул Даше. — Ты знаешь, по-моему, у тебя определенно есть способности. Давай не бросай это дело!

— Не брошу, — обещала Даша, отмечая про себя, как по-бульдожьки висят у «главного» щеки, отеки набухли под глазами... Он ей нравился? Вот дурочка была, не понимала ничего... Или Петя Свешников — конфетный красавец в чистеньком пиджаке и рубашечке с отложным во-

ротником... Ах, дура... Она вспоминала лицо Николая — умное, злое, его полуулыбку, когда нижняя губа втянута в выщербинку между зубами, будто он сейчас свистнет...

В эту зиму Даша как никогда чувствовала, что нет у нее зимнего пальто, вообще какой-то теплой одежды. Раньше ей приходилось бегать только до школы и обратно — тут никакая зима не страшна. А теперь надо было ждать трамвая, ехать в трамвае, потом целый квартал бежать от трамвайной остановки до проходной, слыша, как стучат по тротуару заледеневшие подметки, совершенно не чувствуя ног. Озноб в костях не проходил весь день: батареи почему-то нагревались плохо, в отделе стоял холод, работали, накинув пальто. Коченели пальцы, застывала тушь. Дома к возвращению Даши тоже выстывало. Дров было немного, топили едва-едва, трудно было и вставать по утрам: на окне в стакане замерзала вода.

— Давай купим тебе пальто,— уговаривал ее Николай, видя, как долго она не может согреться даже возле раскаленной печки, почти плачет, дую на распухшие пальцы, пританцовывает на расстеленном тулупе.— Ты сдохнешь либо заболеешь! Ну на «те» деньги не хочешь, давай я под стипендию займу. Купи пальто, я из стипендии буду отдавать.

— Что они, меченые, что ли, деньги, жулик несчастный?.. И потом, интересно, под каким соусом я это пальто домой принесу? У меня же отец — прокурор...

— Мерзни, ладно! — злился Николай.— Схватишь воспаление легких, тогда уж твой прокурор будет вполне доволен... Скажи ему, что Васька еще денег прислал.

— Не поверит. Да и я Василию написала, что купили пальто. Сложно теперь объяснять. Не хотелось бы.

— Терпеть не могу я твоего отца!..

— Брось, пожалуйста! Знаешь, как он переживает...

— На это, конечно, мастер! Изучил я таких: и сладко пожрать охота, и совестно: дочка голая бегаёт. Ненавижу кусошников: не сытый и не честный!

— Замолчи!

Сама она могла и говорить и думать про отца что угодно, но больше это не позволялось никому.

Зима благополучно миновала, растаял и утек ручьями снег, загустела грязь. Пасха. У Дьяконовых ели куличи, пасху, крашеные луковой кожурой красно-коричневые яйца, пили водку, после орали песни. Затем Кочновка праздновала Первое мая, День Победы...

Со значительным опозданием в этом году наступило лето, жаркое, как в Сахаре, и миновало, запомнившись первобытно нетерпеливым ликованием по поводу выставки дрезденских шедевров и приезда Неру. Подошла осень.

Василий писал необычные грустные и нежные письма, которые в другое время встревожили бы Дашу, но сейчас, кроме звона собственной крови в ушах, она не слышала на всем свете ничего.

В субботу у них было комсомольское собрание. Даша сидела со своими девчатами, ощущая, как под ногами содрогается цементный пол: красный уголок находился над прессовым цехом. На маленькую, с темно-зелеными занавесями сцену двое парней вынесли из комитета стол. Один из них, дойдя до середины, споткнулся. Даша усмехнулась: она тоже первое время все спотыкалась об эту злополучную доску. Там выступает всего-навсего один уголок, но он-то и стережет танцора в ответственный момент... Чего только не танцевала здесь Даша под нехитрый аккомпанемент аккордеона!.. И русского, и цыганочку, и испанский танец с кастаньетами...

Сидят все кучками. Цеховые — в первом ряду, вон среди них виднеется затылок Ефимки. Последнее время Ефимка изменил прическу: вместо обычного полубокса какой-то, как называют ребята, «политический зачес». Волосы гладко зализаны назад и с затылка чуть подобраны. Это делает его старше, открывает умный просторный лоб, серьезные добрые глаза.

Через ряд сидит конструкторский, дальше — бухгалтерия, позади всех — копировка.

Ефимка не оборачивается: обиделся. Уговаривал поехать с заводскими на Сенеж с ночевкой, она отказалась. Даша взглянула на сваленные в углу рюкзаки, и вдруг подкатился мягкий клубочек: палатка, пригорелая каша, скучное крапанье дождя по листьям, песни под гитару, Маргаритка... И напряженное, завистливое ожидание любви. Неужто она уже никогда не будет такой? Ожидаяще доверчивой, жадной?.. Подвижной, бегающей, танцующей, поющей, плачущей, кокетничающей со всеми напрапалую?.. Точно сонная болезнь пристала, медленно ходишь, медленно двигаешь руками, молчишь, когда надо говорить, петь, плакать. Нетерпеливое беспокойное ожидание движения проснулось во всем теле...

Нина с серьезностью молодости произнесла все те слова, которые положено сказать в начале собрания, затем начались выступления. На повестке дня было три вопроса: о дисциплине, о повышении производительности труда, о поведении комсомольцев и молодежи в быту. Последней снова выступала Нина. Она похвалила выступавших, пообещала, что скоро комитет проведет дискуссию «о дружбе, любви и товариществе» и конференцию о произведениях, посвященных подвигу молодежи на целине.

Нина говорила не спеша, щупая беленькими ладонями края высокой для нее трибуны, голос ее деловито креп, она читала стихи: «А век поджидает на мостовой, сосредоточен, как часовой. Иди — и не бойся с ним рядом встать, твое одиночество веку под стать. Оглянешься — а вокруг враги, руки протянешь — и нет друзей. Но если он скажет: «Солги» — солги! Но если он скажет: «Убей» — убей!..»

Зал загудел голосами, аплодисментами. Даша чувствовала, как раздражает, давит на нее сожаление о годе, который проходила она как во сне. Сколько всего можно было сделать за этот год! На целину поехать: уехали же туда две девчонки из копировки; Петя Свешников предлагал Даше, но она отказалась — не то на уме было... Жить жизнью трудной и прекрасной. Погибнуть от трудностей, чтобы людям лучше, счастливей жилось. Ну почему сейчас не война, не революция! Погибнуть бы на виселице или закрыв грудью амбразуру... погибнуть для людей...

Собрание кончилось. Даша, все еще чувствуя исступленный комок в горле, шла к трамвайной остановке. Ее обогнал заводской автобус, в нем пели песни.

«Уедем с Николаем к Василию, — решила Даша. — От этой бодяги здесь не оторваться... Надо что-то делать, хватит. Не захочет Никола — одна уеду».

Весь следующий вечер в комнатухе Николая Даша размышляла. Николай сидел рядом, тренькал на гитаре, негромко напевал какую-то блатную песенку.

— Никола, — позвала она. — Уедем к Василию? Станем там жить как люди. А?..

Николай поднял голову.

— Как скажешь... Но мне не хочется, Дарька. Не смогу я там.

— Люди-то живут.

— И пусть живут.

Даша села.

— А я так больше не хочу. Хватит. Тогда одна уеду.

Николай тоже сел.

— Одна не поедешь, я теперь навсегда пришит к тебе. Но не смогу жить там, пойми... Тайга, тоска...

— Тайга! Больно мы тут с тобой цивилизацией пользуемся. За зиму одного раза в кино не сходили.

— Все же здесь шум.

— Как хочешь...

Николай долго молчал.

— Не понимаю я тебя,— сказал он отчужденным голосом.— Чокнутая ты, вроде бати своего. Или боишься?.. Будь спокойна, имени твоего никто не произнесет. Все знают: на том свете от меня не скроешься!

— Я и не боюсь.

— Так чего же?.. Видела, какое у Ритки манто?

— Не надо мне.

Даша стала одеваться. Николай следил, как она натягивает застиранную майку.

— Кожа у тебя какая розовая...— Он вздохнул.— Одеть бы тебя красиво, королевой ходила бы, мужики бы на улице падали.

Даша тоже вздохнула. Одеться бы, да. Но по-хорошему, не так. Хоть бы облигация выиграла...

Словно угадав ее мысли, Николай сказал:

— Хочешь, я выигравшую облигацию куплю? Тыщ на десять? Подменишь.

— Он номер помнит.

— Господи, да поговори ты с ним аккуратно. Что он, враг себе?

— Не поймешь ты это.

— Где понять! — Николай зло дергал пиджак, не попадая в рукава.— Ладно, делай как знаешь, все равно я тебя люблю.

Они вышли. В лесу было неприятно тихо. Даша шла впереди и упрямо думала, что все-таки они с Николаем совсем чужие люди и нечего это замазывать, ни к чему.

Когда они подошли к насыпи, от нее отделились три фигуры.

— Нас ждали.— Николай, быстрым движением толкнув Дашу за себя, провел ладонями по пиджаку.— Финку забыл.

Фигуры приблизились, загородили полукольцом дорогу.

— Он,— сказал один.— Тот самый. Ах, гад, за что ж ты парнишку под монастырь подвел?

— Ладно, зря! — оттолкнул его второй.— Разве он поймет!.. Раздевайся, блатнюга, казнить тебя будем. Поиграемся, как ты. Сымай, падло, пиджак и брюки. Ну!..

— Что вы, мальчики,— ласково гаерским тоном отвечал Николай.— Роса на траве, мне зябко будет.

Третий паренек, самый высокий, вытащил нож.

Николай сделал два шага в сторону, так что полукольцо ребят отошло вслед за ним от Даши.

— А кого ты, сука, раздевать хочешь? — тихо спросил он.— Ты, падло, знаешь, возле кого стоишь? — вдруг рванул рубаху, закричал истерическим, корябнувшим по нервам голосом: — Р-режь, с-сука, р-режь! Н-ну!..

Напряженное тело парнишки передернула судорога, он чуть отступил, Николай сунулся ему головой в живот — взмахнув руками, парень хлопнулся навзничь. Николай отскочил, прижался спиной к березе, загремев пряжкой, сдернул ремень, надел петлей на руку.

— Сосунье сопливое! — злобно дрожащим голосом сказал он.— Нож достал — бей, а он жмет его как...

Паренек поднялся, держась за живот.

— У него там свинчатка на пряжке налита,— сказал он.— Ладно, пошли, мы его еще встретим.

Они побрели вдоль линии.

Николай надевал ремень, руки его дрожали.

— Ты что стояла, балда? Я все время боялся, как бы не кольнул тебя кто. Другой раз беги — и на помощь не зови. Я выпутаюсь, хоть их десятеро таких будет! — Николай засмеялся дрожащим, нервным смехом.— Это они мне за своего мстят. Устроил я одному билет на бесплатный курорт.

— Какой билет?

— Шофер один, Дьяконовых, попросил достать ему бумажник с документами. Хорошо заплатил, не то бы я не стал мараться. А потом, оказывается, этот бумажник он сыну подсунул и милицию пригласил: мол, вот чем мальчик занимается! Ну, конечно, дадут тому года два-три...— Николай снова засмеялся.— А эти где-то пронюхали, что через меня все делалось,— и вот... Меня предупреждали, да запомнил я... Ты мне голову все мутишь.— Николай притянул ее к себе, поцеловал.— Ну, иди. Я зайду тут, возьму что-нибудь, а то, пожалуй, поджидают они меня.

«Это Ефимка»,— вдруг подумала Даша.

— А как фамилия шофера?..

— Я не спрашивал, ступай.— Николай снова чмокнул ее в щеку и подтолкнул вперед, сам зашагал задворками к трамвайной остановке.

Даша забежала к Ефимке, но у них было темно, дверь на замке. Утром она сразу же пошла в цех. За Ефимкиным станком работал незнакомый пожилой токарь.

— А мальчик... Он что, заболел?

— Мальчик? — Токарь иронически оглядел Дашу, усмехнулся.— Мальчик твой нехорошими делишками занимается. Вот где твой мальчик! — Он показал ей четыре накрест сложенных пальца.

Даша медленно пошла наверх, от ненависти и желания чем-то досадить Николаю было сухо в горле.

— Где ты пропадаешь? — сердито спросила Галя, когда она села на место.— Распустилась вконец! Хомичев целое утро за чертежом ходит!..

Даша докопировала начатый еще вчера чертеж Хомичева, отнесла кальку в конструкторское. В горле становилось все суше, даже болтовня копировщиц казалась отвратительной.

После обеда давали получку. Когда подошла Дашина очередь и касирша подала ей ведомость, Дашу дернули сзади за рукав. Она недовольно обернулась: Нина.

— Выйди-ка, нужна очень.

— Подождешь! — Даша высвободилась. Вечно у нее пожар, будто кроме ее поручений у людей и дел нет. Пересчитав деньги, она подошла к Нине.

— Что?

— Поговорить надо.

Они вышли на лестничную площадку.

— Ты знаешь об Ефимке? — Нина направила на нее взгляд своих близко сдвинутых к переносице, чуть косящих глаз.

— Знаю.

— Невозможно! Ты подумай, как ловко он притворялся!.. Я сейчас ездила к его отцу, он говорит: за то и бил я его все время, знал, чем занимается. Вам не говорил, доказать не мог, теперь вот выследил. Слушай, почему это я в нем так ошиблась?

Чувствовалось, как сильно она возмущена и потрясена: ошиблась,

неужто ошиблась?.. Даша пожалала плечами: пусть мучается! Нина, не попросившись, стала спускаться по лестнице.

— Погоди!

Уж если она решила совершить задуманное, никто лучше Нины, наверное, не поможет ей в этом...

Нина записала все адреса и фамилии, тряхнула Даше руку.

— Я же знала, что не могла ошибиться. У меня чутье. А я сделаю все так, чтобы тебе это не повредило. Ты славная девка, только я никак не могла понять, что же с тобой?.. Правда всегда лучше лжи.

Она теперь совсем успокоилась: ее умение разбираться в людях и на самом деле не было посрамлено.

После работы Даша зашла в «Гастроном», купила мяса на пельмени, колбасы, масла, сыру. И все время над ней висело спокойно-обреченное: в последний раз.

Отец лежит на кровати, часто дышит, рядом на стуле — камфара, миска с водой, на лбу — сырое полотенце.

— Папка? Тебе плохо?

Отец брезгливо дернулся.

— Не прикасайся ко мне! — Губы его покривились, он плотнее притиснул полотенце к глазам. — Дожил!.. Сам — нищий, сын — убит, дочь — публичная девка...

Даша выпрямилась: знает... Выходит, Василий правду говорил, что отец умеет «представлять» приступы?.. Что ж, если ему от этого театра легче... После до нее дошло слово «убит».

— Кто убит? — спросила она.

Отец отвернулся к стене, по-детски подтянув колени к животу, засунул между ними лодочкой ладони.

Даша подошла к столу. Две телеграммы: «Василий Леонтьев ранен. Состояние тяжелое. Миронов». «Ваш сын скончался, просим прибыть похороны, проезд оплачен. Миронов».

Даша постояла не раздеваясь, потом села на раскладушку. Смеркалось. В переулке загорелся фонарь.

ИВАН ИГНАТЬИЧ

— Не понимаю, что вы с ним так носитесь?.. Не нравится он мне. Правда.

— Я же тебе объяснял, слушай. Сложное дело, концы далеко отсюда, давно... Чем же не нравится?

— Мудрит больно.

Петр, грузно согнувшись, сидел на койке, осторожно катал стакан с чаем в огромных ладонях, курчавые грязные волосы свисали почти до глаз. Иван Игнатъич разглядывал его со смешанным чувством близости и отчуждения: почти не проглядывался уже тот худенький губастый паренек, что прилепился к нему когда-то.

— Это плохо, по-твоему, слушай, — мудрит? Ищет, как жить надо, может? Тебе вот ясно, как следует жить?

— А что не ясно? Жить надо правильно.

— Как правильно, знаешь ты?

— Значит — честно. Ненавижу, кто мудрит, вихляет, прикидывается. Вся смута, все подонство от них.

— Не каждый может жить прямо.

— Бродяга это. Может каждый. Не каждый хочет.

Петр поднялся и прислонился осторожно к стене. Иван Игнатъич

усмехнулся: показалось, что дом, словно кораблик, дал крен на ту сторону, куда привалился Петр. Будто дело делал, гладил огромным сапогом сучок в половице, думал вслух трудно и медленно:

— Каждому, кто мудрит, чего-то надо от жизни. Либо денег, либо должность, либо еще что... женщину. Хочется этого ему достичь во что бы то ни стало — он и не поймет, каким ему прикинуться. Изображает из себя... Получше... или похуже... Так встанет, эдак... Не то!.. Мучается, на себя злится: никак фигуру не найдет! А ты не вывертывайся, не кобенься! Что стоишь — получишь, не заботься о том! Вот вы не заботитесь, как выглядите, потому что вам не надо ничего.

— Как, слушай, — не надо? Очень много надо!

Петр отмахнулся.

— Жизнь прожили, а что нажили? Китель с карманами? Небось и простыней нет своих — казенные!

— Казенные, — согласился Иван Игнатьич.

— И у меня казенные. И не надо мне ни черта, ни барахла никакого. Легкий я. Свободный. Поднялся — и ушел!

Иван Игнатьич смущенно улыбался: давно произнесенными когда-то им самим словами бил его Петр. Проста жизнь? Сложна?.. Черт ее знает...

Его разбудили в пять часов. Пришел Талгат: у стекольщика сломался алмаз, а другого во всем поселке не нашлось.

— Черт, слушай, как же это угораздило?

— Собака его знает! Время пришло...

— У плотников спрашивал?

— Весь поселок на ноги поднял. В мехколонну бегал.

Иван Игнатьич начал сердито одеваться. Глупости, мелочь, а из-за нее срывается задуманное. Если не застеклить сегодня окна, нельзя штукатурить: вдруг ночью заморозки — штукатурка отвалится. А если не штукатурить сегодня, к отчетному собранию в субботу клуб готов не будет. Обидно, нехорошо. Обещал, картину привезут: люди года два уже кино не видели.

Он молча натянул сапоги, поднялся.

— Я такую штуку придумал, — сказал Талгат. — Девушки все же пускай начинают штукатурить. Ничего: день теплый, дождик брызжет... Сам поеду в Соньск. В управлении не достану, на рынке за свои деньги куплю. Давайте мотовоз...

Талгат уехал, а Иван Игнатьич зашел на кухню, попросил, чтобы ему собрали что-нибудь позавтракать, после пошел в клуб. Открывая тугие двери, ходил по замусоренным гулким полам, любовно оглаживал ладонью сыроватые коричневые бока печей. Клуб почти готов, мостки настелены...

До девяти часов он еще успел съездить на тридцатый километр, где закладывали в насыпь большую трубу, потом вернулся в контору. У него не было специальных приемных часов: пока он сидел в кабинете, все время шли с делами начальники и работники отделов, мастера. Когда они с Филиппом Иванычем утверждали график работы автопарка на завтра, пришла бригада женщин-разнорабочих, закричали на разные голоса. Филипп Иваныч рявкнул: «Тихо, женщины! Вот, черт побери, манеру взяли — разом галдеть! Что у вас? Вот ты, Голубева, объясни».

Голубева зачастила, что дядя Миша опять «цифирит», с ними вместе не работает, хотя и не освобожденный он бригадир. Не согласны они обрабатывать его!..

Иван Игнатьич глядел на девушку и хмурился. Лет ей не больше как восемнадцать, а губы накрашены, брови намазаны — и кошунством звучащая в ее устах матерщина!.. Хлопнул ладонью по столу, поднялся.

— Про Белозерова я понял! Ясно! — крикнул он. — И прекратите, ни-

чего от вас больше слушать не хочу! Безобразие, девчонка сопливая, слова не произнесет без мата! Накрасилась-намазалась, матерится, понимаете, как проститутка последняя! Вы что же думаете, на вас управы нет? Я под суд вас отдам!.. Сорок седьмая статья трудового законодательства, знаете?.. Дрянь крашенная! Выйди сейчас отсюда, видеть тебя не хочу!

Сима, нахально улыбаясь и отпуская какие-то шуточки, вышла. Иван Игнатьич, барабанив пальцами по столу и сердито отпыхиваясь, объяснил женщинам, что скоро бригаду перебросят вперед по трассе в Трудный, тогда бригадиром у них будет тетка Нюра. А Белозерову сделано последнее предупреждение, пусть дальше как сам знает. Женщины тоже ушли.

Но настроение испортилось, и он хмуро сопел в ответ на убедительные доводы Филиппа Иваныча, почему завтра весь автопарк надо переключить на возку теса и кирпича. Долгим опытом он знал, как из скромной девчонки делается разбитная девка, на которую уже подействовать можно только резкостью, презрением — уговоры она примет за слабость... И жаль было чего-то, брала досада на все и на всех, на себя, на Василия: тот тоже приложил руку, чтобы девчонка стала такой...

До обеда Талгат не вернулся. После обеда Иван Игнатьич занимался с главбухом, нашли на двадцать семь тысяч пиломатериалов, оставленных поездом при переезде из Шахтерского, не переданные никому на баланс. У поезда, который стоял в Шахтерском, эти материалы числились «на красной» — как излишки; у них же они лежали на убытках. Но несмотря на это, настроение у Ивана Игнатьича не улучшилось.

Талгат вернулся, когда уже совсем стемнело. Алмаз он отыскал, купил втридорога у какого-то стекльщика: весь город обегал, пока повеселилось наткнуться. Начали стеклить. Свет в клубе еще не был подключен, зажгли лучину. Поглядев на неторопливые действия стекльщика, Филипп Иванович взялся ему помогать. Талгат принес белила и олифу, начал красить рамы и подоконники, приговаривая: «Даст, пожалуй, мне Наташа за китель!» — «Ничего, слушай, заступлюсь», — обещал Иван Игнатьич, подщепывая из сухого соснового полена лучину.

К двум часам ночи окна в клубе были застеклены и покрашены, китель же непоправимо погиб. Когда они вышли на улицу и двинулись к общежитию, Талгат сказал: «Есть у меня тут в разнорабочих девчонка одна. Голубева... Знаете? С Василием она этим... Так мне сказали, что она в положении. Боюсь, как бы не придумала что, лихая больно...»

ВАСИЛИЙ

Здесь заводь. В черной воде колеблется отражение сухих стволов, по обрыву стекает полоса бурого мха.

За спиной послышались шаги. Василий быстро обернулся. В тайге бойся не зверя, бойся человека...

— Испугался? — Плитич, опершись рукой о поваленный ствол, опустился рядом. — А я думаю, куда ж ты пошел?.. А ты, выходит, вон куда... Один... Значит, мысли тревожат... — Помолчав, спросил: — Чего до мене не зайдешь никогда?..

— Не хочется.

— Жаль. Ты парень з хорошею башкою, не як уси... Мог бы ты у нас подняться. Нас по земли богато, есть добрые людишки: кротки як голуби, хитри як змеи...

— Какой из меня голубь...

— Тебя в хорошие руки — золотой бы парень стал.

Ясно, он не хуже Плитича мог бы морочить головы дурам-девкам

или тому припадочному мозгляку в кепочке. Как-то Василий спросил мозгляка, для чего ему эти беседы. «А для души. Об душе, понял, надо думать». — «Душа? Откуда у тебя душа? Мура какая...» — «Есть... я думал нету, а она, понял, есть. Глаза коричневые и ребрышки тонкие. Так, понял, и хрупнули. Каждую ночь снится...» Сколько еще гадов ходит на свободе!..

— Гляди, как неумно людишки живут повсюду,— говорил Плитич, ковыряя железными ногтями жесткую ладонь.— Или тебе не жалко их?

— А что я? Сам не знаю ничего.

— Научил бы я тебя всему, сынок, нравишься ты мне. Сердце мое до тебя прилепилось.

— А вы что знаете?

— Знаю много.— Плитич помедлил, глядя голубыми глазами в землю.— Об людях я усе знаю...

— Морочите голову: бог, бог!.. Ведь знаете: нет никакого бога.

— Есть...

Брови Плитича ласково дрогнули, он поднялся и пошел в тайгу. Василий смотрел, как уверенно покачивается меж стволов серая широкая спина, слушал, как тяжело хрустят сучья под шагом. Бог?.. Какой там бог, ерунда какая...

Вечером весь поселок потянулся в клуб — новенький, пронзительно пахнувший мажущейся еще краской. Клуб этот стоил много крови Миронову и Филиппу Иванычу: рабочих по-прежнему не хватало, щиты собирали только по воскресеньям. Василий с Яшкой тоже отработали одно воскресенье: покрыли крышу. Так что с чистой совестью сидели они теперь в последнем ряду наспех сколоченных скамеек, слушали, о чем говорит их предпостройкома. Было отчетное собрание за квартал.

Василий разглядывал сидящих на сцене. У Миронова глаза полузакрыты, руки лежат на животе спокойно, свободно, губы распустились доброй удовлетворенной складкой. Рядом Емельянов одной рукой уперся в кромку стола, другой держится за подбородок, поблескивает золотой зуб.

Василий пошевелился: к Емельянову он испытывал болезненное любопытство.

Сидят за столом три старика путейца: Филипп Иваныч, тетка Нюра и бульдозерист Петр. Эти напряжены, необычные еще находиться перед глазами; лица оттого глуповатые.

Народ все подходит, уже нет мест, сидят на корточках в проходе, теснятся вдоль стен, на подоконниках. Любопытно, празднично; свой клуб, теперь будет наконец кино, танцы, будет куда пойти долгими зимними вечерами. Строить самим не хотелось, но если клуб кем-то построен, можно принять. Каждый из нестроивших довольно думает, что он кого-то ловко обхитрил.

Яшка все еще держал место, сердито огрызался на тех, кто норовил потеснить сидящих на лавке. Он вертел головой, вглядывался во входящих и вдруг замахал призывно кепкой, зашипел:

— Держу, держу! Анна Сергеевна, вот он я!

Емельянова недоуменно обернулась на его шипенье, приподняла брови. С полуулыбкой, покачивая головой, начала пробираться к Яшке. Сбросила платок, расстегнула пальто, втиснулась между костлявым Яшкиным и железной непоколебимости Васильевым плечом, пошутила:

— Чтой-то вы меня, хлопцы, больно усердно сжали. Как бы муж не заругался.

— Муж, Анна Сергеевна, сейчас одного себя видит,— отвечал Яшка.

Василий слышал теперь только толчки крови в висках, изредка достигала его какая-нибудь фраза из речей выступавших. Сменяли друг

друга Филипп Иванович, Емельянов, главбух, начальник планового отдела... Подумал, что нелепо так сидеть, словно сыч, молча надувшись, повернулся к Яшке, хотел что-то сказать, но задел локтем руку Анны Сергеевны и не смог рта раскрыть, только по ухмылке в Яшкиных глазах понял, какое ошалелое у него выражение.

Вышла тетка Нюра. Говорила она смешно на «и»: «делает», «понимает». Рассказывала, что хотя Миронов в части нарядов «порядок делает», но зато рабочих «понимает», об них «думает». В магазине продуктов стало больше, «обув и одежда подходящая». Клуб построили. Их бригаду должны на той неделе перебросить вперед, в тайгу, туда, где будет строиться поселок Трудный. Но Миронов «понимает», что женщинам трудно зимовать в палатках, и там тоже будут в первую очередь строиться дома.

Женщины одобрительно зашумели.

Василий вспомнил вчерашний разговор с Симкой о том, что целую зиму они не увидятся: бригаду путейцев в Трудный перебросят только весной. Симкины слезы — и свое облегчение. Целую зиму он себе хочется: куда захотел — пошел, не хочется — никуда не ходи, спи или читай.

А нынче утром к нему подошла Валя и сообщила, что Симка беременна и решила делать аборт. Василий пожал плечами: хочет — пусть делает. А после, когда бродил по тайге, думал: может, оставить маленького?

Неожиданно Симка вылезла выступать. Было на ее неумело накрашенном лице с пятнами лихорадочного румянца что-то непонятное: радость, отчаянность какая-то. И Василий на мгновение почувствовал к ней нежность: девчонка-дурило, понятная, своя, вылезла пред очи народа, сыплет необдуманными несвязными словами, понесла ее какая-то внутренняя лихая решимость и несет. Неужто ему нужней другая, сложная? Искоса взглянул на Анну Сергеевну: что в ней?.. И будто вдохнул — и не выдыхал: держал перед глазами усталую складку возле небрежно накрашенных сухих губ, тяжелый рассеянный взгляд в себя, натянутый гладко зачесанными волосами белый лоб... Ложбинку, видную в низком вырезе платья, — даже дыхание перехватило. Зажмурился, представив, как рассеянно и покровительственно гладит его по волосам эта женщина, представил себе полное счастливое бездумье: как в детстве, положить ей голову в колени и не думать...

Очнулся, повел плечами, снова услышал Симку, шум зала, запах табачного дыма — им тянуло от дверей. Захотелось курить, но уйти он не мог, только смелее надавил локтем на руку Анне Сергеевне. Она удивленно взглянула на него, улыбнулась.

Миронов настороженно следил из-под бровей за Симкой, беспокойно поглаживая ладонью красное сукно. Перевел взгляд в зал, искал кого-то, вздохнул и снова откинулся на спинку стула, сцепив руки на животе.

— Про меня говорили, что я матерюся, но я теперь не буду материться. Хватит! Напугали меня. Сорок седьмую статью пообещали. Мне Миронов сказал, что это за сорок седьмая статья: за хулиганство в общественном месте срок до пяти лет. Я плакала, просила, обещалась не материться. Только как же так?.. К нам в бригаду все лезли, а теперь бегут. Почему так? Дядя Миша, звезда наша, всю дорогу пьяный, говорят — чифирит. На работу в домашних тапочках придет и сидит, а мы по колено в грязи. Говорит: вы зарабатываете, а я вас обрабатываю... Неужто мы с ним в Трудный поедем? Пусть нам бригадиром тетку Нюру дадут, тогда будем щепки собирать и не будем материться...

Миронов поднялся и, выставив вперед ладонь, будто отталкиваясь от чего-то, начал отвечать на то, что говорилось. Анна Сергеевна встала.

— Душно здесь, краской пахнет,— сказала она негромко Василию.— Голова заболела. Поберегите мне, хлопцы, место до кино...

Она пошла к выходу, и Василий понял, что теперь он может выйти покурить. Как слепой, прошел следом за Емельяновой сквозь насмешливый шепоток баб. Симка поймала за рукав: «Далеко, Вась? Поговорить мне с тобой...» Отмахнулся, почти бегом догнал Анну Сергеевну и остановился, загородив ей дорогу.

— Вася? Уронила я что-нибудь?

— Нет... так...— Василий поежился: в пиджаке, а по улице уже снежок кое-где прикипел.— Погуляем?

— Ладно,— неожиданно легко согласилась Емельянова, и они пошли на расстоянии шага друг от друга, вдоль пустой улицы к бесколесному, наполовину уже вросшему в землю вагончику станции.

— Ты без пальто, холодно небось?

— Я из пиджака — сразу в полушубок. Сядемте.— Василий грубовато взял ее за руку, потянув за собой на поваленный, с холмиком снежка вдоль спины ствол.

Анна Сергеевна опустила рядом, неуклюжая в своем широком венгерском пальто с поясом и пуховом платке. Зябко поежилась, сунув руки в рукава.

— Волосы у тебя хорошие. И брови...— Анна Сергеевна выпростала руку, шутливо запустила жесткие пальцы в Васильев чуб.— Девки небось любят трепать!..

Лицо ее было теперь совсем близко, он увидел мелкие прыщики между бровями, почувствовал чуть наносящее не перегоревшим еще запахом лука и вина дыхание. Этот земной знакомый запах вдруг неприятно отрезвил Василия. «Дурак я!» — безразлично подумал он и поймал руку Анны Сергеевны.

— Ладно баловать-то! Свой рыжий есть.

Разрушилось между ними сложно возведенное, наступила простота. Теперь можно было уже говорить о чем угодно, можно было даже пошалить грубовато в полуобнимки, полупоцелуи — ничего за ними не стояло. словно сидела перед ним другая женщина — не та, которой в недавних нетерпеливых мечтаниях ткнулся головой в колени...

От дома Анну Сергеевну окликнули. Подошел Емельянов с сигаретой в углу рта.

— Гуляешь, понимаешь,— заговорил он, пожимая руку Василию.— Тут народ заходил после собрания, а помидоры я не нашел.

— Началось кино?

— Нет еще, начнется сейчас.

Василий схватил в его глазах накопившуюся, готовую выхлестнуться ярость. «А ну их, разберутся!» Он поднялся и зашагал к клубу, сзади грозиво копилось молчание.

Возле клуба он встретил Миронова.

— Пошли, слушай, ко мне? — неожиданно попросил тот.— Поговорим, выпьем немножко? А завтра условились на рыбалку...

Всю ночь они проговорили, лежа на сдвинутых рядом койках. Василий курил. Будто слетела пелена, стягивающая, неловко сковывающая. Когда накурился до того, что поплыли перед глазами, перемешиваясь, бред с явью, начал рассказывать про свои блуждания возле емельяновского дома.

Иван Игнатьич слушал молча, тяжело вздыхая, когда Василий, наконец, умолк, произнес:

— Аню ты оставь. Приказывать не могу, слушай, сам подумай как мужчина... Вообще, слушай, не нравится мне. Легко уж очень у тебя это... с женщинами. Одна, потом другая и дальше...

— Все! Все... Кругом завязал я. Ну их к черту! Тянет после за душу. Вот разберусь с Симкой...

— Слушай, был бы я женат, взял бы маленького себе... Видно, это надо все-таки человеку: вырастить маленького?

Под утро Василий увидел сон. Ему приснилась мать в южном белом платье с вышивкой и в белой шляпе. Она была худая, как на фотографии у отца в альбоме, но полногрудая, как Анна Сергеевна, и почему-то очень похожа на Анну Сергеевну, хотя Василий знал, что это мать, что она высокая, худая, стриженная и глаза у ней черные. Но она была и полная и сероглазая. Она мелкими шажками шла рядом с Василием, а потом сказала: «Видишь, тут море...» И поплыла, все улыбаясь, улыбаясь какой-то неприличной улыбкой; Василию было стыдно, и он отвертывался, потому что помнил, что это мать. И вдруг она очутилась очень далеко от него, и то выплывала, то скрывалась совсем под водой. Василий страшно испугался и поплыл к ней; плыть было тяжело, он стонал и обливался потом, потом каким-то образом мать очутилась у него на руках, он нес ее, сердце его томилось от нежности, она была маленькой, словно грудной младенец. А вокруг стояли какие-то знакомые люди и отворачивались, чтобы не глядеть на него, потому что им было стыдно.

Василий проснулся с этим длинным ощущением стыда, нежности и счастья, долго лежал, не думая ни о чем, только перебирая в себе эти томительно сладкие ощущения.

Умылся, вышел на крыльцо общежития, остановился, разбирая обломанной расческой волосы. И сейчас же увидел Анну Сергеевну: в телогрейке, накинута на шерстяное нарядное платье, с непокрытой головой, шла она за водой на колонку. Встретились взглядами — Анна Сергеевна кивнула ему просто и так, будто между ними было что-то.

— На Сонь поедешь? — спросила негромко, но слышно.

— Еще вчера договаривались! — обрадованно пробасил Василий, прыгнув с мостков на землю, побежал к столовой.

На полдороге оглянулся. Пятна румянца выступили на щеках Анны Сергеевны, шея некрасиво напряжена, ведра покачиваются, поплескивают, не ровен шаг. Подбежал, принял ведра.

— Дай помогу. Ругал, что ли, вчера муж-то?

Анна Сергеевна усмехнулась, не ответила ничего. Василий двинулся впереди к дому, зло шурил глаза: пялились уж очень бабы. Симка с каким-то узлом прошла навстречу, покривились горько губы, крикнула: «Приходи провожать!..» Донес до ворот, поставил ведра на землю, обернулся. Возле столовой стоял и смотрел Миронов. Василий, отводя взгляд, нахмурился: мало ли что он болтал вчера!

— Василий, — окликнул Миронов, — у нас тут компания собралась, посидишь? А там на Сонь поедем.

В зале столы были сдвинуты. Немудрящая закуска, бутылки с шампанским и малинового цвета настойкой — вся хмельная наличность поселкового магазина. Сидело человек сорок, было уже шумно, суетливо. Василий прошел к своим ребятам.

— Ну? — Яшка вгляделся в его лицо, подвигаясь на лавке. — Успокоилось сердце?

Василий покачал головой.

— Я глупый, что ли, Яха? Все наоборот...

Застолье затянулось, на Сонь поехали уже в двенадцатом часу. Развели костры, они цвели в холодном солнце бледным маковым цветом. Бреднем ловили ельцов и хариусов, варили уху. Начальник мехколонны Макаров с женой и Иван Игнатьич варили уху по какому-то особому «кержацкому» способу. Василий с Яшкой пристроились, в ожидании результата, возле их костра. Неподалеку развели костер Талгат с Фи-

липом Иванычем, к ним подсели Максимов и Емельяновы. Анна Сергеевна, хохоча, возилась с женщинами, пела что-то, пробовала плясать под свою музыку. Изредка она встречалась взглядом с Василием и чуть заметно улыбалась. Иван Игнатьич тоже настороженно поглядывал в ее сторону, покачивал головой. Лениво басил:

— Ты здоров, слушай, пить, Николай Петрович. Варя, а? Две бутылки шампанского — и как стеклышко! Тебя небось и ведром не перешибешь.

— Пустым-то, конечно, не перешибешь,— грустно вздыхал Макаров.— Я бурундук, сибиряк, привык к неженатому спирту...

Василий из-за Яшкиной спины следил за Емельяновой. Ей жарко стало у костра, скинула пальто, туфли, крутилась босая на расстеленном брезенте, с распущенной косой, хохотала. Выпитое вино горячило, томил хмельные мысли. Что придумать, что сделать? Очутиться бы с ней вдвоем, как вчера...

Желтеет в низком серо-голубом небе маленькое солнце. «Гуль-гульк».— приговаривает река, играет холодным солнышком, ломает прихваченные за ночь хрупкие стеклышки. Сытно пахнут открывшиеся от воды затиненные валуны.

— Я вверх по Сони как-то бродил,— чуть повысив голос, чтобы слышно было у другого костра, стал рассказывать Василий.— Километра за три отсюда кедровый крест стоит. Охотник мне встретился, объяснил, что старичок один, тоже охотник, хотел весной Сось переплыть: мишку на другом берегу застрелил! Поплыл и утонул. Сын его труп отыскал, повез на лодке домой. А Сось эту лодку перевернула — и снова старик пошел на дно. Сын поискал, не нашел. Решил, что, значит, судьба отцу быть в реке похороненным. Здоровенный врыл на берегу крест, шомполом надпись выжег...

Встретил глаза Анны Сергеевны, позвал: «Пойдем смотреть крест?» — «Хочу,— ответила,— не могу...» И тут же еще один настороженный взгляд поймал: Емельянов. Сразу пропал интерес ко всему: не отойдет Емельянов от нее...

От костра поднялся Талгат, окликнул издали:

— Василий... Леонтьев!.. Сказать я тебе одну вещь хотел...

Василий не пошевелился. «К черту всех! Не хочу».

— Леонтьев, спишь, что ли? Серьезно зову! — еще раз окликнул Талгат.

— Чего тебе? — Василий сумрачно приподнялся на локте.

Из поселка приехал самосвал, с него соскочил человек и побежал к кострам, смешно оступаясь на шатких белых валунах. Добежав до Талгата, он начал что-то рассказывать ему. Василий снова лег.

Талгат шел к ним. Василий встал, шагнул навстречу: увидел гримасу гнева на Талгатом лице, его летящее, собранное для драки тело. Остановился, пытаясь приготовиться к отпору. Талгат ударил. Василий, взмахнув руками, хлопнулся затылком в соньские валуны, потерял сознание. Когда он открыл глаза, Иван Игнатьич и Макаров разнимали сцепившихся с Талгатом Яшку и Колю Евлахова, от всех костров бежали люди.

«Видела Анна Сергеевна...» Василий вскочил на ноги, зажимая хлынувшую из носа кровь.

Упал Коля Евлахов, отлетел Яшка — Талгата перехватил под руки и держал Иван Игнатьич. Глаза у Талгата заведены были куда-то под веки бешенством, он крикнул:

— Ты сволочь, грязная собака!.. Симка умирает!..

Василий услышал, как тоненько взвизгнул Яшка. Повернулся, пытаясь что-то сказать, встретил белые ненавидящие Яшкины глаза. Яшка подскочил к нему, ударил, ударил еще, сильней. Василий не со-

противлялся, не защищался, только отступал и пытался что-то сказать, успокоить Яшку. Неловко шагнул.— оступился и упал, ударившись виском о валун.

Услышал женский пронзительный крик.

6. Глава, где происходит некоторая переоценка ценностей и еще кое-что

ДАША

По серой мгле слепо растекается солнечный свет. Дымится черная вода Сони, с узких листьев раkitника капает роса. Остовы высохших пихт увешаны мертвой зеленью лишайника; он мокрый, слипшийся, усыпан белыми каплями. На песчаной косе навалены вылизанные водой, похожие на обглоданные кости деревяшки.

На взгорке над Сонью — поселок Трудный. Две палатки, недостроенный щитосборный дом, трактор С-80, самосвал, бульдозер. Стелются дымки, сливаясь с туманом. Из ближней палатки доносится треньканье гитары и негромкие женские голоса. Они сменяют друг друга неизбежно и монотонно, как падение струи, как шум леса. А Сонь катится по валунам, звенит глубоко — звук этот невозможно выключить: мелодичный, непрерывный, назойливый, — точно с неба течет, оплетает тебя, опутывает...

Кругом белеет свежая щепка: поселочку чуть больше месяца. Рабочих пока немного, человек сорок. Они занимаются в основном тем, что строят жилье и рубят просеку: весной сюда переберется весь поезд.

В палатке топится железная печка, кипит чайник, пахнет напаренным смородиновым листом. За длинным, на козлах, столом сидят несколько женщин. Двое читают, одна вышивает, одна гадает на картах. В дальнем углу Сима и Валя лениво поют частушки. Остальные, прямо в одежде, лежат на койках, дремлют, слушают частушки, подпевают, лушат жареные кедровые шишки.

Даша наливает себе чаю, молча выпивает, потом ложится на свою койку, накрывается двумя байковыми одеялами и телогрейкой. Почти у всех женщин есть свои ватные одеяла — под ними теплей, а Даша мерзнет, плохо спит, быстро устает.

В первые дни, как она приехала, рыли ямы под фундамент, после выгружали из карбаза кирпичи, таскали песок, глину, землю для засыпки цоколей у домов. Теперь работают на просеке, обрубая сучья у сваленных деревьев, стаскивают в кучи, жгут. Бригада работает как заведенная. Каждый час тетка Нюра кричит: «Перекур сделаем, девки!» Десять минут посидят, потолкуются — и снова... Обед, а там ужин, сон — и сразу начинаешь замерзать, потому что с Сони идет ветер, тяжелый и холодный, как вода, а столы котлопункта под открытым небом. Приходишь в палатку, ложишься спать — и мерзнешь — утром всю ломает, рук не поднимешь...

Неужели когда-нибудь они из палатки переберутся в дом и не будешь, просыпаясь ночью, тревожно слушать, как плещется над головою брезент, как хрустит и стонет тайга? Неужели когда-нибудь здесь поставят баню, и они напарятся, намоются горячей водой?.. Согреться, отдохнут.

Утро. Из-под приподнятой брезентовой двери в палатку ползет холодный с туманом воздух. Над Сонью густо-белая, смешанная с дымом муть. Не темно и не светло, знобко, сыро, паскудно.

Кое-как причесавшись и промыв глаза, женщины собираются у кот-

лопункта. Едят обстоятельно, большинство спрашивает по второй порции. Над дымящимися мисками склоняются головы, мелькают рукава грязных, в земле и извести, телогреек, гремят ложки, ерзают по схваченной морозом земле сапоги. Слышен надсадный кашель, чавканье, ленивая перебранка, шутки.

Из-за сопки на той стороне Сони зажелтело сквозь мглу солнце. От земли пошел пар, жесткая серая трава сделалась мокрой, ярко-зеленой. Оттаивала тайга — с деревьев часто, как в дождь, сыпались капли.

— Ну, айда, бабоньки-девоньки.— Тетка Нюра облизала ложку.— День, видать, хороший будет: вона как подружка расслаилась последними денежками!..

Женщины поглазели на низенькую березку, редко увешанную сверкающими листочками, посидели молча, поднялись. Рабочий день начат.

Под брезентовый полог палатки, где вместе с плотниками живет строймастер, женщины лезут, хохоча и толкаясь, рассаживаются на грубо сколоченных топчанах, покрытых поверх слежавшегося сена грязным тряпьем.

Талгат сидит возле рации в наушниках, рука на ключе. Косит на вошедших взглядом, кивает. Идет передача сводки о проделанной за вчерашний день работе. Женщины ждут. Из двадцати двух членов бригады пожилых и на возрасте всего только пять, остальные — молодежь. Талгат красив: зеленые глаза, большой твердогоубый рот с очень белыми зубами, смуглое четкое лицо..

Наконец сводка передана.

— Нынче гулять пойдете,— говорит Талгат.— Мох в горах собирать. Будем дом конопатить.

— Ишь, чечмек не нашего бога, что придумал! — ворчит тетка Нюра.— Баб одних в тайгу посылать! Да нас там медведь напугат до смерти, либо еще кто.

— Я с вами пойду,— обещает Талгат.— И ружье возьму.

Охотничьей тропой дошли они к подножью двуглавой сопки и начали подниматься вверх. Сладко и душно пахло прелью, нога проваливалась в замшелые стволы, слышался вязкий запах обламывающихся побегов смородины, душный мышиный запах цикуты.

Талгат шел первым, от него не отставала Валя. Невысокая, с врезавшимися в толстые икры ног сапогами, она то цеплялась за оборванный хлястик его телогрейки, взвизгивала, будто собираясь падать, и тыкалась лицом Талгату в спину, то, хохоча, упиралась в него жесткими ладонями, подбивала ногой под ногу. Талгат молча улыбался.

Даша зло стискивала зубы, опускала глаза. Как они могут?

Двух месяцев не прошло, а они уже могут хихикать. Девка, из-за которой погиб Василий, поет вечерами частушки, плянется на красивого татарина и впадает в мрак, когда он улыбается другой... Что это — равнодушные, бедность чувств? Или просто естественное желание здорового существа оттолкнуть от себя неприятное?..

«Неужто я когда-то была убеждена, что люблю людей?.. Выдумывала себе несчастных, жаждущих стать счастливыми, жаждущих найти правильную дорогу?.. Но кто из людей заслуживает любви? Ефимкин отец?.. Ритка, Зойка, Надежда?.. Мой отец?.. Нина?

Я бы могла убить кого-нибудь. Теперь, пожалуй, могла бы... Первым бы я убила того мозглявого идиота с красным ртом и вялым взглядом. В день моего приезда он встретил меня за палаткой, молча бросился, начал тискать. Я рвала ногтями и зубами омерзительное лицо — он убежал».

Радуйтесь, люди! Вот оно, творение тех четырнадцати тысяч двухсот восьмидесяти шести, начиная от пещеры, умеющее лишь жрать, вожделеть и убивать. Сколько цивилизаций возникало и гибло, чтобы появи-

лась наконец на свет эта паскуда двадцатого века, этот мерзкий слизняк...

Тетка Нюра крикнула:

— Ну вы, бешеный, поскакали, ровно зайцы весной! Чай, сзади люди идут. Отдохнем давай, сядем, пушай подтянутся.

Тетка Нюра идет впереди Даши, тяжело дышит, стирает с лица пот и паутину. Платок она скинула, видны стриженные, заколотые гребнем волосы, сухая морщинистая шея. Рядом с теткой Нюрой попевает Настёнка, толстенная, белокурая, ей чуть больше шестнадцати. Она тоже размотала платок, обтирает концами разопревшее розовое лицо и ведет с теткой Нюрой разговор:

— Где какое ни есть насекомое, непременно на меня ползет. Клещ — так мой, комары, мошка — все мои. От поту, что ли? Очень я всегда потею, а, тетя Нюра?..

Талгат сел на камень, поставил ружье между ног. Натянул козырек кепки на лоб, чтобы не светило в глаза солнце. Валя плюхнулась возле, потянула, играясь, ружье за замок к себе. Талгат отодвинулся.

— С ружьем не игра, девушка. Ясно? Люди жить хотят еще.

И закрыл глаза. На ровно загорелом лице — ни мысли...

Сима лушит шишки, пальцы и губы у ней облипли смолой, поглядывает искоса на Талгата и Валу. хмурится, мрачнеет.

Внизу между стволами светится выбитая ногами площадка, на ней чернеет новой толевой крышей дом, распялены две выгоревшие палатки, а дальше — сколько видит глаз — ничего и никого... Река, тайга, сопки.

Кажется, что это во сне — вообще во сне: Николай, смерть Василия — и остальное тоже. Она учится в десятом классе, все хорошо... Господи, как она, оказывается, хорошо жила когда-то!..

Какое красивое у этого татарина лицо. Таковую вот кожу, наверное, называют «оливковой». Думала, что только в книгах бывают зеленые глаза. Оказывается, радужная коричневая, а при дневном свете кажется зеленой...

...Добравшись наконец до Нового, Даша сидела в конторе, дожидаясь, когда ее определят на работу. Наконец начальник отдела кадров позвал ее:

— Вот твой мастер, проводит тебя до места.

Всю дорогу, пока они тряслись рядом в кабине самосвала, Талгат мрачно молчал. Потом пошли пешком. Талгат и не подумал взять у нее рюкзак или чемодан. Правда, весили они немного, но все же весили...

Даша шла, глядя на неровно прыгавшую впереди спину мастера, изнемогая в бессильной ненависти, потом молча села на поваленный ствол. Талгат прошел еще шагов сто, обернулся, вернулся, сел неподалеку, уперев локти в колени, опустив лицо в ладони. Взглянул сбоку из-под прямых, длинных, как у женщины, волос:

— Устала? Домой хочешь? Зачем ехал сюда?

Даша промолчала.

— Едут девки, едут! — продолжал мастер. — Кой черт нада? Не понимаю.

— Значит, надо.

— Брат помер — мало? Не был бы тот девка — брат жил! Начальник хороший — инфаркт! Больница лежит. Живой будет? Черт знает... Девка — дома место, здесь нет место!

Он очень злился, даже губы тряслись, оттого, наверное, говорил совсем плохо, ничего почти нельзя было разобрать. После — или она привыкла — ей стало казаться, что Талгат чисто говорит по-русски.

— Не ваше дело, куда мне ехать. Вам дали мое направление? Ну и все! Можете идти, я и без вас доберусь до поселка!

— Поселка, поселка... — передразнил Талгат. Он схватил ее вещи и

пошел не оглядываясь. Даша побрела следом, с мстительной радостью глядя по сторонам: чертолом, мрак, сырь... Еще дома смаковала: она едет в поезде — взрыв, огонь, скрежет металла — и забыть... Едет на грузовике через перевал — грузовик летит под откос, удар — и все... Бредет по сугробам, сверкают звезды, метет поземка, звенит мороз. Шаг... шаг... потом, свернувшись в комочек, она засыпает. Навсегда...

Подтянулись отставшие, передохнули, двинулись дальше. Горная пихтовая тайга позади, женщины прыгают по валунам мертвого курумника. Когда-то летели, сшибаясь друг с другом, обломки скал, сейчас они лежат, окатанные временем, плотно покрытые пепельными с чернью пластиночками ричии сизой, подушками рыжего гипнового мха...

Мох сухой и легкий, плотно уминается, кажется, что мешок и не наполнить никогда. Сколько времени проходит, пока они, полусогнувшись, ползут по склону горы, волоча за собой мешки, перепрыгивая с камня на камень, взбираясь все выше? Час, два, три?.. Меж валунов редко торчат тоненькие с шелушащейся коричневой корой карликовые березки, кедровый стланник, стелющиеся пихты, казачий можжевельник с черными ягодами... Даша впервые так высоко в горах.

— Она говорит: я умру, верно, скоро. Будешь ли плакать-то? А я, вот глупая была вовсе, говорю: «А ты мне вареного сахара не покупала...» — слышится голос Настёнки.— А у нас в детском доме девчонка была одна...

Цепочка женщин медленно движется вниз. У Даши устали, чуть дрожат ноги. Она старается вставать только на твердо лежащие, не колеблющиеся под ступней глыбы: пожалуй, загремишь вниз — костей не соберешь. И ловит себя на этой мысли, на этом желании сохранить все-таки свою драгоценную жизнь.

В палатке тепло, даже душно: солнце напекло брезентовый верх. Даша сняла телогрейку и сапоги, дремлет. Женщины тоже дремлют, только Сима сидит на койке, скрестив ноги, тренькает на гитаре. Потянет за струну, отпустит и слушает, морща лоб, опять потянет и снова слушает.

Сколько человек может проспать, если его не будить? Может — двое, а может — и трое суток. Только надо, чтобы было тепло и ни о чем не вспоминалось...

...Она пришла тогда к Николаю среди ночи. Он встретил ее настороженный, взлохмаченный, топтался босыми ногами на грязном полу, бормотал что-то ласковое, но она чувствовала, как он весь взъерошен внутри.

— Николка, я есть хочу.

Как был в одних трусах, он побежал в дом, принес кастрюлю с теплым куриным бульоном и полбуханки белого хлеба. Выловил курицу и положил на газету, налил в стаканы вермут, разломил хлеб.

— Давай.

Они молча выпили, потом съели вареную луковицу, разобрав ее мягкие одежки. Дома у них вареный лук обычно выбрасывался, а оказывается — это вкусно... После по очереди пили прямо из кастрюли бульон, потом Николай разорвал курицу и подвинул Даше гузку и мясистую ногу.

— Своя молодка, не магазинная.

Они молча ели курицу, вытирая руки и губы обрывками газеты. Николай выбросил остатки собаке, лег на топчан, ничего не спрашивая. Даша видела, что он ждет и нервничает.

— Василий погиб, — выдавила она наконец и протянула Николаю телеграммы.

Он прочел, повертел их, спросил:

— Поедешь туда? Лети самолетом, на похороны поспеешь.

Даша пожала плечами.

— Тут каша заварилась...

Он выслушал спокойно и будто даже с облегчением — что за каша, сказал:

— Ерунда, не психуй. Год, два, больше мне не дадут по этому делу. Дождешься?

— Что ж ты за человек? — сказала Даша. — Я же донесла на тебя, предала тебя?..

— Ладно. — Николай вздохнул. — Другая шмара из ревности, или чтобы развязаться, так устроит своего — как звать забудешь... Раньше сядешь — раньше выйдешь. Не психуй. Дожидайся только. — Помолчал. — Не то выйду, зарежу. Честно говорю.

«Ненавижу... Ненавижу тебя, твоих друзей, себя...»

Две совковые лопаты сталкиваются, сухо лязгают; шуршит, ссыпаясь на высланные пергаминоном носилки, всякая дрянь, плотно закрывшая пол комнаты: глина, песок, комья раствора, обломки кирпичей, щепы. Хорошо сказать — вымыть пол! До пола еще надо добраться.

Носилки полны, две пары рук в драных рукавицах поднимают их, две пары обутых в сапоги ног, стараясь шагать ровно, давят серые комья засохшего штукатурного раствора. Через порог — по коридору — мимо других комнат, где так же звенят лопаты, шуршит мусор, топают сапоги. Вот в этих комнатах они будут жить, здесь — сушилка... Неужто все-таки они переедут из палаток в дома, вымоются, выстираются, согреются!..

— Бросаем! — командует Сима.

Даша отпускает одну ручку носилок, мусор сыплется в кучу.

Им с Симой досталось мыть большую комнату в два окна и с печью. Мусор они уже выскребли весь, еще пара носилок — и можно мыть.

— Вот, — говорит Сима, — по эту половицу тебе, дальше — мне. Вон ведро, вон тряпка. А я пойду у девок возьму, пока они еще не моют. Вон бутылка с керосином, много не трать, нету его больше. Окно мой какое хошь...

Она приносит пару ведер, Даша молча берет их, идет за водой на Сонь. Сама растапливает щепками печь, ставит в духовку чайник, чтобы было чем разбавить ледяную соньскую воду.

Начинают мыть окна. Даша трет смоченной в керосине тряпкой заляпанную побелкой, раствором, масляной краской стекла, моет их горячей водой с мылом. Такая работа ей незнакома, она следит, как и что делает Сима, и, стараясь не показать виду, подражает ей. Наломав веник, она выметает начисто свою часть пола и моет. Известковый раствор глубоко впитался в доски, сушит, разъедает и без того сухие обветренные руки, кожа трескается. Даша шлепает на пол толстую мешковину, трет доски веником, меняет воду и моет, моет, пока загаженный серый пол не начинает блестеть свежей желтизной, так же как у Симы.

Тетка Нюра заглядывает к ним.

— Девки, чего это вы все ведра позабрали?.. Ба, у вас уж готово!.. Вот кобылки, всегда теперь буду вас в пару ставить. А другие еще не начинали, окна моют.

Она еще раз с порога, не решаясь ступить грязными сапогами на яичную желтизну досок, оглядывает комнату, улыбается.

— Ровно игрушечка заблестела, не узнаешь! Ну, молодчиhi, скажу Талгату, чтобы непременно чем-нито отметил вас сегодня. Молодчиhi!..

Сима улыбается, ямки на ее худых щеках делаются глубже. Она долго смотрит на Дашу — первый раз, пожалуй, они так прямо глядят друг на друга.

— Руки аж до крови растрескались,— произносит наконец Сима.— И у тебя? Всегда так.

— Резиновые перчатки должны нам на эту работу выдавать,— говорит Даша.

— Доищешься их здесь!.. А ты здорова работать, видать, втянулась. Давай дверь закроем да хошь окатимся горячей водой, пока другие девки еще копошатся. Есть у тебя сменить что? А то я дам рубаху. И штаны дам. Я постиралась вчера.

Они притаскивают воды, запирают двери, раздеваются догола и, поочередно поливая друг друга, моются. Тело томно разнеживает прикосновение горячих струй, на пол шлепаются серые хлопья мыла, яснее, добрее голова, почувствовав желанное чистое тепло. В комнате становится парно, мягко, в окнах еще брезжит серый сумеречный свет.

— Хорошо-то как! — отфыркивается Сима.— Будто новая я...

Она разглядывает Дашу, пристально, словно в зеркало глядит. Усмехается.

— Ты справная какая, чай не ушипнешь. Не то что я...

Сима и правда худущая, на костлявой груди — щуплые мешочки, втянутый живот, худые ноги.

— Страшная как война, правда? Это я после аборта подорвалась так. А раньше тоже была ничего себе девка. Василий небось не зря заметил!

Они взглядывают друг на друга быстро и зло. Даша, усмехнувшись, отворачивается. Ах, какая дура все же эта Симка!

— Девки, бежите все к палатке! — верещит в коридоре Настёнка.— Мужики схватились драться, подушки порют!..

Сима прямо на голое тело натянула брюки, накинула ватник и, не покрыв головы, высочила. Даша замешкалась, одеваясь, но когда она добежала до мужской палатки, накал страстей продолжал оставаться высоким. Даша подошла к стоявшему в стороне Талгату.

— Чего они орут?

Тут она заметила мозглявого. Челюсть у него отвисла, в уголке рта пенилась слюна, глаза довольно и напряженно скользили по толпе. Он быстро переминался с ноги на ногу, держа руку в кармане телогрейки.

«У него там нож»,— решила Даша и толкнула Талгата:

— Гляди-ка на этого... У него нож в кармане.

— Блатной — как ему без ножа...— сказал Талгат, однако взглянул на мозглявого внимательно.— Деньги у дяди Кеша украли. Побольше тысячи будет. Петро с дядей Кешей вещи обыскивают...

Из палатки вышли дядя Кеша и бульдозерист Петр Бутенко.

— У меня в наволочке нашлись,— недоуменно сказал Петр.— Но я не брал...

Даша, пожалуй, впервые видела этого парня не в кабине бульдозера. Она иногда следила, как работает бульдозер на площадке — то поднимая, то опуская нож, ерзая на месте, бросаясь вперед, отступая назад, — какой-то ритуальный слоновий танец. И человек в кабине — склоненное к рычагам чумазое лицо, огромные руки на рукоятках... Сейчас она разглядела, что бульдозерист молод — не старше Василия, — огромный некрасивый парень с добрым лицом и спутанными волосами, упавшими на лоб.

Дядя Кеша стал считать деньги.

— Пятнадцать рублей не хватает,— сказал он.

Все снова заорали, обступив Петра. Талгат протиснулся в середину и крикнул:

— Да не брал он, вы что? Глупые совсем? Зря не надо галдеть, будем вора искать лучше.

— Дружок он твой, понял? — взвизгнул мозглявый.— Нечего глаза стводить людям! Татарин — ты татарин и есть.

— Это к чему говорить татарин-боярин! — рассердился Талгат.— Я тебе не рассказываю, какой ты сякой!

— Бей их, мужики! — завизжал мозглявый.

Плотники снова надвинулись на Петра и на Талгата. Мозглявый стал пробираться ближе к центру толпы.

— Да погодите орать! — крикнул вдруг Петр.— Это же блатной мне деньги подсунул! Забежал я утром в палатку напиться, а он возле моей койки копошится. Тогда мне ни к чему, а теперь вспомнил...

— Выверни карманы давай,— сказал Талгат мозглявому.— Вчера ко мне за деньгами ты ходил, говорил, котлопункт платить нечем. Если найдем деньги — не твои, значит. Давай карманы!

— Я занял,— тихо пробормотал мозглявый и вдруг будто прижался к Петру.

Петр резко обернулся, мозглявый отступил назад и, пробравшись между людьми, побежал к Сони. Все недоуменно глядели вслед, молчали. Слышно было только, как топает сапоги.

— Лодка...— сказал Петр и упал.

Девчата, завизжав, рассыпались кто куда.

— Зарезал Петра! — заорал дядя Кеша.— Держи, мужики, уйдет!.. Он бросился наперерез убежавшему — толпа ринулась следом.

Талгат наклонился над Петром, приподнял мясистое, уткнувшееся в пыль лицо.

— Петро?

— Не трогай его.— Даша подошла и присела рядом.— Не шевели, пускай лежит как есть. Врача вызывай по радию. Жив он?

Подошла тетка Нюра, поднесла зеркальце к губам Петра.

— Запотело.— Задрала телогрейку, разглядывая рану.— Ступай-ка травы мне намни,— сказала Даше.— Той вон, что над входом в палатку сохнет. Кровь остановить надо, гляди, как ползет широко...

Даша натолкла в миске не высохшей еще таволги, глядела, как тетка Нюра шепчет что-то, присыпая этой крошкой узкий — в два пальца — надрез на белой коже, как буреет, на глазах свертываясь, полоса крови.

Талгат вышел из палатки.

— Не отвечают.— Он выругался.

— Неуж до утра ждать? На лодке, может? — спросила тетка Нюра.

— Что болтаешь! Вода поднялась, хлобыщет... Самосвал пошлем, где берегом, где водой, может, проскочит...

Подошли плотники, сгрудились молча, глядя на Петра. Талгат сказал шоферу:

— Костя, заводи, поедешь в Новый.— Он поискал глазами, кивнул Даше.— И ты с ним поезжай, если не боишься...

Темные сопки шли, то сходясь ближе, то расступаясь, между ними бежала, приговаривая сварливым шепоточком, Сонь, полз, прогромыхая кузовом, самосвал. Свет фар поднимал из тьмы белые кусты, стволы деревьев, высохшие стебли трав.

В кузове ото мха густо и тепло пахло землей и еще табачным, терпким. На подушке моталась, послушная каждому толчку, тяжелая голова, тряслось лежащее ничком, безвольно расплзшееся тело.

Зашелестела вода, сминаемая колесами: самосвал вошел в Сонь. Заревели выхлопные газы, колеса, оскальзываясь, переваливались по валунам дна. Слева, отвесно поднимаясь из воды, шла скала. Потом она отступила, открывая узкую полку, машина снова запрыгала по берегу. Неожиданно путь сделался очень мягким, нетряским, по кузову зашлепали комья грязи: заболоченная пойма. Затем опять тряский берег, по-

скрипывающая песчаная отмель; топкая пойма и, наконец, снова длинный, насколько видит глаз, прижим...

Самосвал остановился. Лязгнула дверца. Шофер спросил остуженным голосом:

— Ну как? Жив еще?.. — И, помедлив, с тревогой произнес: — Не одолеть, видать, нам этот прижим. Вода очень высоко, заглушит мотор... Опять же, не зимовать тут...

Он погрохал капотом, снимая вентиляторный ремень, машина тронулась.

Снова заколебалось под колесами неверное скользкое дно, зашлепала о стены кабины вода, завывли, вырываясь, выхлопные газы. Даша, напрягая силы, поддерживала могучее тело, стараясь принимать все толчки на себя. И вдруг она почувствовала, что больше не трясет. Дико ревет мотор, крутятся колеса, чуть вздрагивает кузов, но толчков больше нет. Машина стоит. Но вот стих и рев мотора. Шофер приоткрыл подпертую водой дверцу, влез в кузов.

— Сели! — он выругался. — Хошь загорай, хошь помощи у бога проси. Такое дело, рыжая...

Он закурил, посидел, повздыхал. Потом сказал, что здесь где-то, километрах в пятнадцати — двадцати, работает мехколонна, он пойдет и попросит у них бульдозер, иначе сидеть придется либо пока просека сюда не дойдет, либо пока вода ниже станет. Разделся, осторожно спустился за борт, держа одежду в высоко поднятой руке.

— Холодна! — крикнул он из-за борта.

Вода мягко всплеснула, потом мерно зазвенела, раздвигаемая сильной рукой, послышались рваные хлюпающие звуки, наконец смолкли: человек вышел на берег. Скоро стих и звук шагов.

Даша встала на колени, вглядываясь в темноту, но со всех сторон расплывалось черное, неясное. Она прислушалась к дыханию Петра. Дышал он часто, с клекотом и бульканьем, иногда стонал, иногда бормотал что-то.

Даша снова села, обняла себя за ноги, но скоро стало холодно, и жутковато было глядеть в бесформенное и мохнатое, слившееся в одно — земля и небо, слушать надоедливое до головокружения пошуркивание водяных струй. Она легла, придвинувшись близко к Петру, накрылась полушубком, взялась, чтобы знать, что он жив еще, за теплую, с каменно-шероховатой кожей, руку.

Послышались слабые всплески, Даша приподнялась. На борту самосвала сидел человек.

— Кто это?

Человек неслышно подпрыгнул и опустился рядом, мох мягко хрупнул под сапогами.

— Лежи... Что ты, Рыжик?..

Даша вгляделась. Скулы, тяжелые брови, тоскливый взгляд в сторону...

— Вася?.. Ты как же попал сюда?..

— Шел водой...

— Я не писала тебе, у меня сто бед произошло! Отец просто с ума сходит, не знаю, как он там остался... Пстой, а ты...

— Про Ефимку я знаю уже.

Василий дотронулся до ее щеки мокрой и будто заросшей курчавым волосом ладонью. Даша, чувствуя, как сладко заныло сердце, прижалась теснее, потерлась о ладонь.

— Ах, Васька-Васька, господи, как славно, что ты тут, просто счастье!.. Да здесь Петр, ты знаешь его.

— Знаю, он ясный...

— А что это — ясный?

— Как Иванушка...
— Знаешь, у меня будет ребенок.
— Трудно жить, Рыжик...
— Да... Слушай, я предала Николу и бросила отца... Такая я себе сволочь, ты не представляешь! А живу, боюсь помереть...
— Отца жалко. Мне тебя не судить, сам хорош...
— А кому судить?
— Ивану Игнатьичу.
— Кто такой, никогда не слышала?.. погоди, Вася! — Даша вцепилась в широкую твердую руку, чувствуя, как слабо сползают пальцы. — Это мы с отцом виноваты, ты всю жизнь на нас работал, мы загубили тебя...

Василий снял ушанку.

— Посмотри.

Даша, холодея, увидела под волосами, там, где должен быть висок, огромную вмятину.

Тело Петра дернулось. Даша рывком села, сердце тяжело колотилось, тряс озноб. Петр приподнял голову.

— Пить... Хотя бы глоток...

— Сейчас.

Даша поискала, во что бы достать воды, потом вспомнила про пузырек со спиртом.

— Не знаю, можно ли? Спирт тут...

— Давай! — Петр попытался приподняться.

— Лежи, не сходи с ума! — Даша удержала его.

— Где это я?

— В больницу едем. Ранили тебя, ты не помнишь...

Петр долго молчал, потом проговорил:

— Вроде помню. Дай, где у тебя там...

Он высосал спирт и закашлялся. Кашлял долго, все надсадней, потом в кашле заклокотала мокрота, на губах Петра появилась темная пена, по щеке поползла струйка.

— Петр, Петя! — Даша навалилась на него, пытаясь смять, задавить колотящий его смертельный кашель. — Сдержись хоть немного, кровь у тебя ртом.

Она вскочила, кинулась к борту, до воды было далеко, она прыгнула на подножку, черпнув сапогами, набрала воды в пузырек.

Петр хрипел, стараясь сдержать кашель. Даша прижала к его губам горлышко, он, захлебываясь, глотнул, перевел дух и, отодвинув намочшую кровью подушку, ткнулся лицом в мох.

Даша разулась, вытрясла из сапог воду, сбросила сырые портянки, наложила в сапоги мха и обулась снова.

— Сестренка, — позвал Петр, — ляжь сюда поближе. Трясет меня, озяб я.

Даша легла к нему под полушубок, обняла, прикрыв полой телогрейки.

— Ну вот, полегше... — Тело Петра, напряженное от озноба, вдруг обмякло. — Мягкая ты, горячая... Согрела. — В горле у него снова хлюпнуло, он замолчал.

Густо села роса. Теперь Даша уже сама прижималась теснее к Петру, чтобы сберечь, не расплескивать тепло.

— Сестренка, — тихо спросил вдруг Петр. — Не спишь? Плохо мне, дай еще глотнуть водички.

Даша выползла из-под полушубка.

По сопкам, к поднявшемуся проясневшему небу клочьями тянулся туман. Самосвал стоял по пояс в воде, вокруг, заплетаясь косицами, текла молочно-белая, чуть курящаяся ледяным парком река. Мох в

кузове отсырел, на зеленой крыше кабины частыми каплями белела роса.

Даша разулась и, прыгнув в воду, мучительно-горячо сдавившую ноги, налила пузырек. Откинув ворот полушубка, она приподняла голову Петра, тот напился. Лицо его осунулось, темнело лихорадочным румянцем, черные лохматые волосы были мокры от пота. Скоро он забылся, задышал равнее. Легла и Даша, задремала.

Очнулась она оттого, что ее потрогали за плечо. Над ней стоял шофер. — Землячка, — спросил он. — Что, Петро жив? С бульдозером я пришел...

Сквозь полудрему Даша слышала, как машину дернуло, потом долго трясло по ставшей уже привычной дороге из валунов, потом, видно, въехали на грунтовую дорогу и покатали без помех.

С них сняли полушубок — и Даша очнулась. Ее тормошила женщина в белом халате:

— Вставай, девушка, лазарет! Ой, сколько кровищи!.. Мертвый, что ли?..

Даша прыгнула на землю, разминая затекшие ноги. Обнесенный забором двор, больничные бараки, густо пахнет хлоркой и йодоформом. Два санитары положили Петра на носилки, понесли, Даша пошла рядом, держа его потную руку. Он, приподнимая веки, глядел на нее, Даша в ответ улыбалась.

Петра унесли в операционную, а Даша побрела на кладбище. Собственно, при поселке кладбища еще не было, просто на сопочке, обнесенной редкой изгородью, стояли три креста.

Могила Василия была в стороне, у самой изгороди. Бугор из осевшей уже красной глины, на нем большой веноч, оббитый линиялым кумачом. Даша постояла, прислонясь к изгороди, поглядела на бумажные измятые цветы и ржавую проволоку. Даже слез нет, отупение какое-то и страшная усталость...

...Небо то прояснивалось, то снова затягивалось облаками. Сонь загоралась ленивым огнем, потом тускнела, наливалась мрачной тяжестью, кипела на шиверах. Плямкали копыта лошадей, всплескивала натягиваемая бечева, стучал о камни шест.

— К тому берегу!.. Степка!.. К тому-у! — слышались оклики карбазников.

Карбаз, идущий впереди, был загружен разобранной пилорамой; в их карбазе на носу были сложены продукты, на корме начальство играло в преферанс.

Даша сидела на скамье посреди карбаза ссутулившись, положив подбородок на стиснутые кулаки, глядела в рябую текучую воду, глаза то и дело застилал какой-то туман. Платок у ней съехал, темным бесформенным воротником опоясал шею, на него упали пряди спутавшихся, завязанных пучком волос.

Вечерело. Впереди, на излучине, по самому краю отлогого каменистого берега светился ослепительно-желтый, будто залитый солнцем кустарник, дальше тянулся не потерявший еще своей тусклой устойчивой зелени тальник, потом Сонь, сверкнув черным, круто вильнула вправо. Вдоль берега легла низкая сопочка. Издали казалось, что она сплошь зацвела желтой сурепкой — и среди этой тонкой желтизны березок чернели пихты, краснели осины, нежно зеленели лиственницы. Над сопкой плавали длинные обрывки облаков, следующая за ней сопка плохо проглядывалась сквозь спустившуюся с неба серость.

Даша оглянулась. Неподалеку от нее, в стороне от играющих, сидел Миронов. Глаза прикрыты бровями, тяжелый подбородок лежит на груди, руки сцеплены на животе. Говорят, он только вышел из больницы после инфаркта. Ах, Васька, Васька...

Лицо у Миронова доброе и усталое. Василий писал, что похож на него, многие даже думали, что сын. Похож? Разве что брови...

Солнце село. Отчего вот в эту межу, в эту прогалину между днем и ночью, когда только-только скрылось за окоемом солнце, когда еще не темно, не ночь,— отчего это становится так сумно, так смутно?.. Непонятная тревога выползает, занимает мысли, даже если и нет никаких особых причин человеку тревожиться, все равно смотрит он на потухший небосвод — и тянутся, текут неровные, беспокойные думы...

Совсем стемнело, по воде зашелестел дождь. Даша подняла платок, ту же повязала голову. Кругом уже ничего не было видно, только белесо маячил на носу дождевик карбазника да светлым пятном возникала иногда из тьмы закрытая выцветшим брезентом спина коногона. Сзади наносило запах папиросного дыма: мужчины, бросив играть в преферанс, молча курили.

Над Дашиной головой прошумела, закрыла ее пола дождевика, шершавая рука ласково похлопала по щеке, опустилась на плечо и так осталась. Даша не шевельнулась. Господи, нельзя же все время думать, что человек подходит к тебе обязательно с подлой, паскудной мыслью... Хоть бы к чьей руке по-доброму, по-щенячьи прижаться, высказаться, выплакаться!.. Даша чуть откачнула голову, коснувшись затылком жесткой пуговицы, человек погладил ее по голове уже уверенней, вздохнул.

— Слушай, если бы врачи сказали, что тебе остался год жизни,— как бы ты прожила этот год?

— Мне не хочется жить...

— Не хочется?.. Тебе? Слушай, было дело, заблудился я в пустыне. Двое суток ходил. И осталось на третьи сутки, я тебе скажу, ровно полстакана воды...

— Я бы выплеснула ее...

— А я сел в тени под барханом и стал думать. Слушай, это ведь последняя радость в моей жизни... Я подумал-подумал — и выпил эту воду всю сразу, выпил по глоточку, держа каждый глоток во рту длинное счастливое мгновение... Я наслаждался, я был как царь, я был счастлив. Ты верно сказала: рано или поздно умрешь... Но человек имеет право выпить свои последние полстакана воды, улыбаясь и чувствуя себя счастливым.

— А потом?

— Вечером меня заметил самолет.

Впереди блеснула и зацвела в темноте, приближаясь, крохотная желтая точка. Это либо виднелось окно палатки, либо, вернее всего, светил огонь из открытой дверцы котлопунктовой плиты.

— Знаешь, мне тоже не очень хочется видеть эту девушку. Но поставь себя на ее место. Ах, как ей трудно, я тебе скажу.

— Я ее не виню.

— Нелепо все, слушай...

— Да...

— Я до сих пор не верю. Тяжко мне...

Даша с удивлением почувствовала, как содрогается от рыданий грузное тело стоящего рядом с ней человека. Она молча с благодарностью сжала его руку, гладила ее, чувствуя, как расщелкнулось что-то теплое в сердце...

Еще совсем темно, но, видно, пора вставать: вот тетка Нюра поднялась, дерет гребнем стриженные седые волосы, бросает в открытую дверцу плиты скатанные очески. Поднимаются и другие женщины, тянутся, зевают, зябко ежатся.

По крыше палатки хрупают, перебегают, то усиливаясь, то затихая, частые капли. Натянув на себя все, что есть непромокаемого, женщины

выходят вслед за теткой Нюрой в серую текучую знобь. Дождь захлестывается под крышу котлопункта, шипит на плите и между кастрюлями, светлеет янтарными лужами на смоляных новых досках стола.

Даша принимает свою миску и встречается глазами с сидящей напротив Симой. Та вдруг улыбается, на сероватой коже щек западают ямки. Настёнка подталкивает Дашу:

— Дашутка, а мы вчера утром опять за мхами ходили, а после дом конопатили, потолок засыпали... Все до разъединственной щелочки затыкали, ужо в морозы не станет дуть.

Даша молча кивала в ответ. Что ж, каждый человек обязан выпить последние полстакана воды, не отравляя жизнь окружающим...

От мужской палатки доносится голос Ивана Игнатьича, его перебивает Емельянов. Вчера до поздней ночи шли там громкие разговоры, сегодня с самого утра опять начались. Голоса приближаются.

— У него тяжелое положение, Иван! — говорит Емельянов.

— А у кого, слушай, не тяжелое?.. Только у нас с тобой, у двоих, не тяжелое, а у всех тяжелое... Он должен был разъяснить...

Разговаривая, они подошли к котлопункту, сели в конце стола. Даша взглянула на Ивана Игнатьича. Лицо у него будничное, раздраженное, заметив Дашу, он чуть кивнул ей, приподняв брови.

— Ну, бабоньки-девоньки, айда! Пушай начальство без нас на свободе отоварится! — говорит тетка Нюра.

Девушки разобрали ломы и лопаты, рассыпались по размеченной колышками площадке. Сегодня они роют ямы под фундаменты домов. Даша опять в паре с Симой, похоже, тетка Нюра их нарочно ставит вместе.

Даша взяла лом. Знакомо лег он в ее руки, не то что месяц назад. Тело не напряжено, свободно: поднимается лом, падает, отваливает кусок грунта, снова поднимается, снова падает... Сима выбрасывает из ямы липкий, звякающий галькой о лопату грунт, ровняет отвесно стены. С неба сыплет дождь...

Телогрейка темнеет, тяжелеет, платки промокают насквозь, по спинам ползет сырость. Через два часа наливаются усталостью голова и ноги, болит поясница, медленней поднимается и опускается лом. По лицу течет вода с грязью, волосы намокли и прилипают ко лбу, кожу на лице стягивает пробегающий холодный ветер. Они уже вырыли половину ямы.

Шумя дождевиками, проходит мимо начальство.

— На рудник надо сегодня же сходить. Посмотрим, что за рельеф. Жаль, лошадей нет...

Девушки распрямились, проводили взглядами неуклюжие, в растопыренных потемневших плащах, фигуры.

— Гляди, какая зараза, — прошептала Сима. — На шею сама виснет.

Валя подбежала к проходившим, что-то сказала Талгату и отошла с ним в сторону. За сеткой дождя не было видно лиц, но Валя так цеплялась за плащ Талгата, так умильно складывала на груди руки, кокетливо подталкивая его плечом, — без труда было можно понять, как настойчиво она его о чем-то просит.

— Вот зараза! — горько повторила опять Сима. — И таким пронырам настырным завсегда везде счастье...

Она встретила Дашин взгляд и зло усмехнулась.

— Что ты меня разглядываешь, на мне ничего не написано!.. Да я ему — пусть только скажет — волосами буду ноги мыть и воду пить!.. Первый он меня пожалел, заступился! А кто я ему? Никто... Никто — а пожалел. Просто так.

— Мне-то что? — Даша повела плечами. — Я тебе не свекровь

— Хуже! — Сима приблизила мокрое лицо с заострившимся, в серых веснушках носом.— Как глянешь исподлобья — живой Васька смотрит! Аж сердце перекрутится... Всю жисть не позабыть мне его, проклятого!..

И опять сталкиваются в мокрой яме лом и лопата, смешивается дыхание, плечо задевает плечо, щека чувствует тепло чужой кожи. Даша косится на Симу: не поймешь — то ли ревет, то ли дождь течет по лицу, затекает в нос и в рот.

— Вкальвай! Жестче будешь, другой куснет — клыки сломают!.. — усмехается Сима, поймав ее взгляд, обтирает лицо рукавом.

— Я и так жесткая.

Даша снова опускает голову, переваливает лопатой мокрую грязь. Жесткая? Покрылось, кажется, сердце защитной чешуей, зачерствело, не раскиснет теперь от мимолетного ласкового или обидного взгляда, слова... Но вот Иван Игнатьич пожалел «просто так» — и раскисло...

Вечером переезжали из палаток в дома.

В той самой комнате, которую они недавно мыли, Даша и Сима поставили в угол свои койки, застелили чистое белье. Сима достала из чемодана пестрые вышивки с цветами, кошками, голубками и развесила все это великолепие над своей и над Дашиной койками, прикрепила булавками открытки, потом, отойдя в сторону, долго приглядывалась и, наконец, удовлетворенно прошептала:

— Ну вот... Вот какой у нас с тобой домик-то славный!

Даша смотрела на пестревшую наивными рожицами стену, молчала. От отца она унаследовала презренье к любому рукоделью, тем более такому немудрящему; но после серых брезентовых стен, грязных тряпок, навалом складываемых на кровати — лишь бы потеплей, — все это казалось чем-то праздничным, веселящим сердце наивной доброжелательной простотой. Она улыбнулась.

— И правда славный, Симка!

В этой же комнате возились, устраиваясь, тетка Нюра, Катерина, Настёнка и еще две девушки. Жарко натопили печь, вымылись в корыте по очереди, поливая друг друга из чайника. Ополоски не выливали; приятно было стоять в теплой воде хотя бы по щиколотку.

Даша вымылась, легла на койку и смотрела, как тетка Нюра, белея костистой спиной с грубо выступающими над крестцом позвонками, моет Настёнке голову щелоком, а та расчесывает соломенные длинные пряди густым гребнем.

К Настёнке у нее давно уже было покровительственно-теплое отношение. В первый день, когда Даша приехала, эта беленькая девочка, вдруг что-то разузнав, подбежала к ней и, обхватив за шею, заплакала: «Так ты Васина сестра? Как мне его жалко-то! Больно любила я его: добрый был». Дашка тоже тогда сердито и коротко поплакала.

Настёнка постирала свою единственную сменку белья, повесила над печкой и расхаживала в одних валенках, подтирая мыльные пятна на полу. Было что-то детское в ее наивном бесстыдстве, в пренебрежении к своему вполне уже девичьему, по-деревенски плотному телу. Слила воду из корыта в ведро и, накинув пальто, сунулась было к двери, выплеснуть помои. Тетка Нюра прикрикнула:

— Настька! Нагишкой? Осатанела? Фершалов тут нет вас лечить!

— Да мне жарко, тетя Нюр!

— Оденьси, оденьси, неча форсить!

Настёнка надела кофточку и брюки, замотала голову шалью, выбежала за дверь и тут же вернулась, тяжело, счастливо дыша, будто за ней гнались. Грохнула к печке пустое ведро.

— Кольку едва в дверях не стоптала!

...Девчата все уже улеглись по своим койкам, только тетка Нюра с

расчесанными на две стороны волосами, в байковом халате, сидит возле печки, пьет из кружки свой любимый крепкий чай с сахаром.

Настёнка встает, садится рядом и тоже — будто дело делает — начинает сосредоточенно пить чай.

Даша смотрит на них сквозь закрывающиеся веки и лениво думает, что когда-то давно у тетки Нюры тоже было пухлое без морщин лицо, чистое гладкое тело и вся жизнь впереди...

Тетка Нюра глядит на раздумывающуюся Настёнку и думает то, что про нее думает Даша, но ей кажется, что это было почти вчера. Она громко прихлебывает из кружки, вздыхает.

— Давно ли и я такая ляжкастая была, а теперь ровно кобыла старая сделалась. Быстрая, девки, наша жисть: не огляниси — проскочит...

Она пьет чай кружку за кружкой, вздыхает и — словно сама с собой — перебирает свою жизнь. Замуж вышла семнадцати лет, «всего годков десять с мужем пожила — была ли бабой-то?» Муж был хороший, но погиб в аварии, потом умерли один за другим от болезней дети, потом тетка Нюра пошла работать на строительство мясокомбината неподалеку от деревни, потом перебралась на стройку в ближний город, потом завербовалась на стройку в Сибирь — и стала катать по стране с одного строительства на другое: «Ездию с востока на запад — из барака в палатку новоселье справляю...»

Погасили свет, скоро все задышали ровно, тетка Нюра начала похрапывать, Настёнка что-то забормотала во сне. Только Даша не могла заснуть, крутилась с боку на бок. К горлу подступила тошнота.

— Дашуха? — Сима потрогала ее за плечо. — Хорошо-то как? Гляди, я ноги босые высунула наружу, а то все обумшись... Когда живешь ничего маненько — дак забываешь все плохое, а как коснется — дак вспомнишь все...

— Хорошо... — прошептала Даша. — Вот так бы жить, чтобы только тепло, чисто... выспаться. И не думать ни о чем...

— Хорошо... Едим досыта, теперь в домах будем... — и добавила через паузу: — Не Миронов — всю зиму бы в палатках бедовали: головной отряд!.. Заботится он о нас, из кожи лезет, а не люблю его...

По коридору прошел кто-то, чуть зацепляя на ходу подковкой сапога.

— Талгат! — Сима села на койке. — Я его походочку-любочку сда-лека различу: он едва левой ногой чепляет, прихрамывает. К Вальке: уговорила, стерва!..

Хлопнула соседняя дверь, сапоги Талгата прочекали по комнате и смолкли где-то совсем рядом. Скрипнула через стенку койка, женский голос сказал:

— Пришел!.. Садись поближе. Намылася я, теплая. А задремала, думала — не схотишь прийти. Садись-ка, садись...

Койка заскрипела, Талгат сел.

— Я тебя слушаю, Валя. Чего ты хошь от меня?.. Ты же знаешь, жена у меня в Новом... Одного коня два раза не захомотаешь.

— Любушка, голубочек, не замуж я прошусь... Ну, приляг сюда...

— Тесно тут будет, ежели я прилягу. Ты погоди руками, давай так поговорим... И как это вы, девки... Чудной народ!.. Сама лезет, после плакать станет, а куда жалиться бежать?.. Да и не люблю я этих, которые сами лезут... Нечего тебе больше сказать — пошел я. Устал, на рудник ходили...

Опять прочекали подковки, хлопнула дверь. За стеной послышались всхлипы. Сима вдруг вылетела в коридор.

— Талгат! — она обхватила его за шею. — Талгат, ах какой ты...

Талгат сердито выругался:

— Мать честная, напугала!.. Ну, сумасшедшие вы, девки! Лучше бы мне сто головорезов дали, чем двадцать девок...

7. Глава о Длинной, пожалуй, слишком Длинной зиме

ДАША

Вот уже три дня они не ходят на работы: мороз пятьдесят два градуса. Печку топят не переставая. Все как попало валяются по своим койкам, ждут, пока закипит начавший уже посвистывать чайник, поют.

Нигде так не поют, как в их комнате, самые голосистые, самые пехахи собрались. Даша ведет, Сима и Катерина вторят, голоса остальных ползут шероховато, точно поземка по соньскому льду. Тетка Нюра молчит, пощелкивает ножницами, стряхивает с колен обрезки ситца — и вдруг вступает вместе с Дашей, высоко дишканит, так что томят, режут сладкой болью по сердцу эти два голоса.

— Сима, — просит Настёнка, когда песня смолкает, — Симочка, дорогочек, спой про сероглазую. А?

У Симы волосы гладко зачесаны, собраны на затылке в загнутуюся крючком смешную косичку, кофточка в горошек расстегнута, видна худая шея. Она снимает гитару, подтягивает струны и начинает песню, где есть слова, пронзающие каждый раз Настёнкино сердце. «Где ж ты, где ж ты, моя дорогуша, сероглазая чайка моя!..»

— Ох, Симка! — Настёнка, всхлипывая, утыкается в подушку. — До чего ж мне эта песня нравится, мочи нет! Так и грезится, что это обо мне кто-то поет: мол, чайка моя, сероглазая!.. Сероглазая чайка!.. Ласково-то как, жалостно... Девки, до чего ж мне охота, чтобы жалел кто-то меня, целовал!.. Меня с того самого, как мамка померла, не целовали...

— Иди, я тебя поцелую, — говорит Катерина.

Девчата хохочут, Настёнка тоже смеется, прячет лицо.

— Ну тебя, я правду говорю!

— И я правду: разжалобила ты меня. Иди, раз сказала!

Настёнка подходит к Катерине и стоит рядом, прыская в кулак. Катерина притягивает ее к себе, серьезно целует в глаза, в лоб, гладит по белокурым мягким волосам. У нее блестят слезы: прошлой весной она похоронила дочку.

— Вот, — говорит Катерина, — как захочется, чтобы кто-то тебя там пожалел, меня покличь. А мужиков, разную сволочь, гони от себя к черту! Поняла?

— Не то поправишься, как Дашка! — острит Поля и сама хохочет. Голос у нее грубый, наверное, поэтому все, что ни скажет Поля, звучит грубо. В комнате ее не любят.

— Не болтай, коли тебя не касается! — обрывает тетка Нюра и взглядывает на Дашу многозначительным долгим взглядом. Даша хмурится: ну что всем забота! Не будет она ничего делать, какая разница в конце концов: так не хорошо и так плохо.

Настёнка выбегает за дровами, возвращается, грохнув охапку возле печки, впустив морозное облако.

Даша смутно, точно во сне, вспоминает Москву, свою комнатенку с плитой, не видной летом из-за газетных завалов. Трудно небось отцу колоть дрова. И вообще трудно... Даша перестает дышать, чтобы прошла спазма. Не хватало еще разреветься... А в Москве отец последнее время ее раздражал, едва ли не до ненависти. Только себя слышала, идиотка...

Отец повесил на стену Васи́н детский портрет, прибил еловые веточки и черную ленту. Вечером они ужинали молча, отец вдруг замирал, неотрывно глядя на портрет, ложка в руке начинала дрожать, глаза краснели. Даше все это казалось чудовищным, сладким самонистязанием. Не выдержав, она выскакивала в коридор и молча редела.

А его надо было просто пожалеть. Он всегда был моложе их всех, обидчивый, как ребенок, и слышал всю жизнь одного себя. И когда везло, и когда перестало везти. Но никто никогда, даже собственные дети, не подошли к нему, не погладили по голове: «Ну как ты, папка? Ладно, что же делать, ведь нужно жить... Да брось, родной, я понимаю, жить трудно...» Никогда она не сказала ему этих слов, не приласкалась... «Какая ты черствая...» И правда черствая.

Даша переменяла позу, выпрямилась, прижав локтями тяжелый живот, послушала, как шевельнулся ребенок и заворочался, больно ударяя в бока — чем? Ножками? Локтями?..

Возле двери потоптался кто-то, сбивая снег с валенок, дверь распахнулась, вошел краснолицый парень в ушанке.

— Батюшки, да это Петр! — ахнула тетка Нюра.

— Петро! — Даша вскочила. — Выписался?

Петр подошел, молча стиснул ее громадными руками, поцеловал.

— Сумасшедший!.. — Даша вырвалась.

— А ты — нет? Вихором несесси. Куды несесси? — проворчала тетка Нюра.

Петр подал Даше сверток.

— Гостинец тебе привез.

— Ну як ты? Целый? — спросила Катерина. — Дай сигаретку.

— Целый. — Петр тоже закурил и присел к Симе на койку. — Как жисть, синеглазая?

— То валко, то шатко... У меня всю дорогу так-то! — Сима похлопала Петра по багровой от мороза шее. — Черт жилистый, резали, резали его!..

В свертке оказалось ядовито-малиновое вино, кулек с конфетами и отрез шелка.

— Это мы можем вместе распить, ладно. — Даша положила вино и конфеты возле себя на койке, протянула назад цветастый отрез. — Крепдешин, что ли? Жене подаришь.

— Так в том и дело! — Петр загасил сигарету, оглянулся на тетку Нюру. — Женщины, извините, буду при вас говорить. Полтора месяца там лежал, все думал о том моменте, когда скажу. На перевязку меня везут, либо колют, либо так лежу — все ты перед глазами. И как будто забыл уж, пожалуй, какая ты есть, а чувствую: жмешься мягкая, махонькая... Выходи за меня? Ну?

Даша растерянно оглядела девушек.

— Ты что, Петя? Какая из меня невеста, у меня ребенок скоро будет!..

— От кого?

— Нет его здесь... умер.

— Так?.. Ну это ничего. — Петр пересел к Даше, положил руку ей на плечи. — Бывает... дело житейское. Пушай растет, ничего. Меня тут механиком теперь назначили, оклад хороший... Комнату обещали дать к весне.

— Да ты что? Смеешься? — Даша высвободилась. — Это же серьезное дело. А может, у меня характер плохой?

— Я не шучу, какие смехи? А характер... Ничего, я терпеливый... — Петр поднялся. — Извини тогда... За тобой остается — только помани.

Он вышел.

— С ума сошла! — Тетка Нюра сердито отбросила ножницы. — Это

какого, интересно, ты принца ждешь? Такой мужик, за им как у Христа проживать будешь! Беруть — надо идтить. Это дело сезонное.

Настёнка хихикнула.

— Я б тоже за него не пошла... У него ручищи, как ковш у экскаватора. Обнимет подюжей — и хряпнешь...

— Отстаньте, прицепились...— Даша легла, уткнувшись в подушку. И жалко, и смешно. Больше, пожалуй, жалко — хоть вправду замуж иди...

В комнате наступило молчание. Даша подняла голову. Девушки одна за одной отводило глаза. Никому из них, сколько они тут живут, никто еще не предлагал замужества.

— Ты, Даша, не решай так сгоряча.— Катерина подошла и остановилась возле ее койки.— Петро хороший мужик, добрый, не пьет.

— Ты бы пошла за него? — огрызнулась Даша.— Молчишь? Ну и молчи тогда!

Катерина присела на край койки, подперла подбородок кулаками и задумалась о чем-то.

Девчата притихли. Даша тоже лежала молча, смотрела на Катерину, думала. Когда она сюда приехала, то сразу выделила Катерину среди других девчат. Явно «городская», с миловидным умным лицом, хорошими «городскими» платьями, которые она надевала вечером, придя с работы, подтянутая, чистая. После Даша узнала, что Катерина жила до войны в Киеве, родители ее погибли во время первой же бомбежки, Катерина с теткой и двоюродными сестрами уехала в Свердловск и там вышла замуж. Что произошло дальше, почему она разошлась с мужем — никто не знал. Катерина не любила о себе много рассказывать.

Пожалуй, у единственной из девчат, у Катерины, был чемодан с книгами. Разрозненные томики Чехова, Гоголя, несколько романов Дюма, «Кобзарь» на украинском языке и почему-то «Флора России» Маевского.

Теперь, когда Даша втянулась в работу и, приходя домой, уже не валялась замертво на койку, она брала у Катерины «Кобзаря», с удовольствием заучивала ласковые музыкальные стихи, читала определитель Маевского, отыскивая там названия незнакомых ей сибирских цветов. Живокость — царь-зелье, борец — волкобойник — очень ядовитый...

— Пошла бы,— вдруг сказала Катерина.— А что? Пошла бы... Дом бы поставили на берегу Сони. Огород бы я развела. Лето здесь хорошее, жаркое... Детей бы нарожала... Года через три-четыре рудник начнет работать, дорогу пустят. Поселок тут будет большой, а там, глядишь, и город...

В дверь постучали, вошел Плитич.

— День добрый, девчаты. Не работаете?

— Дедушка Плитич пришел! — радуется Настёнка.

Плитич оглядывает девушек веселыми глазами, стирает иней с бровей, снимает ушанку и присаживается на ближнюю к дверям койку.

— Ну что же, девчаты, как вы сейчас находитесь в праздности и мысли ваши, значить, тоже в праздности, решил я побеседовать с вами об очень, девчаты мои милые, серьезном и важном для вашей жизни деле...

Девушки, готовясь слушать, быстрее допивают чай, ложатся, чтобы лучше было видно Плитича, кто на живот, кто на бок, кто, перебравшись к соседке на койку, наваливается ей на плечо. Плитич приподнимает сивые брови, будто одаривает всех нежной голубишной веселых глаз, ровной белизной зубов.

— Я, милые мои девчаты, нынче пришел до вас не просто как дедушка Плитич, а как свидетель Иеговы, коих число сейчас на Земном шаре нащитывается многих...

— Дедусь, а кто такое Иегова? — спрашивает Настёнка, в ее глазах восторг и интерес, как у ребенка, готовящегося выслушать страшную сказку.

— Иегова, дочка, есть название бога.— Плитич достает из кармана какую-то затрепанную книжонку и продолжает, перелистывая страницы.— Я хочу, милые мои девчаты, обратить ваше внимание на несколько интересных текстов библейских, которые доказывают, что мы с вами живем непосредственно перед установлением царствия божьего для усах людей доброй воли. Притеснения и беспокойства окончатся навеки, но перед этим переживем наибольшую катастрофу в истории света, показанную через библию как Армагеддон — битва бога вседержителя, или, как вы читаете, надо быть, в газетах,— атомную и водородную войну. Битва эта должна иметь место с целью уничтожения всякого зла на земле и усах людей усах наций и леригий... А смерть, девчаты, послана богом человеку единственно за его грехи, ибо как одним человеком вошел грех в мир, с грехом — смерть; так смерть перешла на всех людей, потому что в нем мы все согрешили...

Ласковые глаза Плитича то прикрывались, то открывались, обводя лица девушек, и Даша, когда этот голубой взгляд касался ее, чувствовала неловкость. В первый раз она видела человека, всерьез говорящего о боге.

— А так бы, что ли, не умирали люди, когда б Адам не согрешил? — насмешливо спросила Катерина.

— А так, доченька, человек был рожден для счастья и вечной безгрешной жизни...

Еще самая ночь, тьма, но пора вставать. Даша берет тихо шелкнущий будильник: половина седьмого. В комнате выстыло, окошки оплыли льдом. Сунув ноги в валенки, накинув полушубок, Даша выскакивает на крыльцо, утаптывает в снегу площадку, колет дрова. Она дежурная, ее очередь подняться пораньше, затопить печь, напоить девчат чаем.

Нестерпимо исходит светом луна, лилово полыхает снег. Чуть теплятся желтеньким, едва поднимаясь над сугробами, окна домов, ползут из труб дымки. Тарахтит бульдозер возле мехмастерской, громяхают кузова самосвалов, чадно полыхают костры — шофера кочегарят, разогревая моторы.

Даша набирает поленья на руку, пытается подняться. Ей давно уже не так просто присесть и встать.

Скрипит снег, кто-то пробирается тропкой к их дому.

— Талгат! — Даша ахает.— Погоди, Талгат, я печку не затопила еще, проспала. А в тех комнатах вовсе девчата не вставали.

Другой раз мастер заругался бы, Талгат терпеть не может, когда опаздывают, но сегодня у него хорошее настроение: мороз упал, на работы людей выводить можно.

— Пропала! — кричит он.— Это как называется, когда один человек всех подводит?

Талгат хватает ее вместе с дровами, крутит, вжимая большими валенками ямы в вытопанную Дашей площадку. Даша расцепляет руки — дрова разлетаются в снег,— обхватывает Талгата за шею.

— Медведь ты, Талгат! — сердится она.— Собирала я, собирала дрова — пожалуйста! Думаешь, легко?

Мастер быстро, обеими руками накидывает рассыпанные поленья в охапку, взбегает на крыльцо, распахивает ногой дверь.

— Девчата, кончай ночевать! — кричит он.— Все, упал мороз, ра-

богаты жарко будет!..— и отдельно Симе, со смущенной ухмылкой: — Поднимайся! Заспалась вовсе, косматка...

Даше пришлось два раза доливать чайник: выкипал досуха, пока пришли Настёнка и Поля. Возвращались с работы вместе, потом они отстали и пропадали где-то два часа с лишним. Все успели уже поужинать, напились чаю и собрались спать, а девчат не было.

— Не случилось ли чего? — тревожилась Катерина.— Настёнка глупая еще, а у Поли на уме подкраситься, челку намылить да хоть с медведем, а перемигнуться!

Когда девушки наконец пришли, Катерина позвала к себе Настёнку.

— Где шлялась, не вздумай сбрехнуть?

— С дедушкой Плитичем мы...

— Допроповедовался, старый козел! — удивилась тетка Нюра.— Старик-старик, а к этому, выходит, охота осталась?

— Да нет! — Настёнка прыснула.— Мы с Полей на пилораму забежали, спросить дедушку, что делать надо, чтобы, значит, спастись. Я буду спасаться, девки.

— Что мелишь, что, дура, мелишь! — крикнула тетка Нюра.— Старик-то ваш блаженный, глупый! — Спасешься!.. Гляди, спасешься! Молодые, а глупые, что им скажут — они слушают, уши развесили!

Катерина сказала:

— Побадуются и охолонут дён через пять. Пустяковое дело, со скуки.

Как-то зашла на беседу и Даша, села в углу на койке, слушала, смотрела в лицо Плитичу, старалась поймать ханжескую ухмылочку, хитрую расчетливость — какие должны были, по Дашиным понятиям, присутствовать на лице пройдохи-святоши. Но оставалось оно искренним и доброжелательным. И все же в разговорах о боге, которые Плитич вел с девочками, было для Даши что-то нечистое, вызывающее брезгливость. Даша сама не могла понять, чем все же ей неприятен этот красивый кудрявый старик, равно доброжелательный ко всем и равно, на ее взгляд, ко всем безразличный? В конце концов он имел право думать как угодно: в способности к брюзжанию и к страшноватым по точности попадания разговорам с отцом соревноваться ему все равно было не под силу. Но копилось где-то против него раздражение, вертелась Даша на койке, переваливая тяжелый живот, обливалась ненавистью и решимостью поговорить с ним один на один и как следует. Девчатам и так нелегко живется, а тут этот со своим богом...

Правда, что это будет за разговор, Даша представляла смутно, ей казалось, что слова, рожденные ненавистью, должны прийти сами собой. К тому же отец всегда говорил о попах и верующих как о чем-то нелепом и шатком, и Даша считала, что верить в бога могут лишь люди невежественные, какие-то духовные калеки, и разубедить их, в общем, не так трудно.

Выйдя вечером из котлопункта, она незаметно отстала от своих, прошла на стройдвор. В длинном, заложённом штабелями досок сарае было пусто; темно, сладко пахло хлебным духом теплого дерева. Снизу от фундамента пилорамы слышалось негромкое шурканье лопаты. Даша спустилась туда.

— Это ты, Григорий? — окликнул Плитич.

Даша поздоровалась и присела на бетонированный фундамент. Плитич, бросив сгребать опилки, оперся о лопату.

— Что ты, дочка?

— Я хочу спросить, сами-то вы верите в бога?..

Плитич удивленно шевельнулся, и Даша почувствовала, что он улыбается.

— Верю... В бога все верят, дочка. Когда тебе плохо бывает, ты не

говоришь, помоги мне марксизм-ленинизм. А вздохнешь поглубже и промолчишь. До кого просьба — известно, до бога...

Плитич покашлял, ожидая, что Даша скажет, потом мягко спросил:

— Сомненья мучают или так, от праздности, любопытствуешь?

— Сомненья...

— В сомненьях — истина... Бог испытывает терпение человекoв и страшно покарает того, чьей рукой сейчас испытывает терпение наше.

Плитич подошел, сел рядом с Дашей на станину, и Даша почувствовала исходящий от него непривычно чистый запах — запах кедровых опилок и снега. «Он же не курит», — вспомнила она.

— Бог запечатал, дочка, твои уста и открыл мои... — Плитич снова улыбнулся, приблизив к ней лицо, и продолжал, задушевно понизив голос: — Верю, дочка, в щастливую, безгрешную жисть на земле. Это придет обязательно. Иначе не для чего существовать людям, злобно копошащимся в дерьме своем, паки черви в яме...

Плитич протянул руку — и Даша, не успев удивиться тому, что он произнесенные когда-то ею самой слова, подчинилась пальцам, стиснувшим запястье.

— Говорю, шо узнав, шо увидев, або ж угадав. Завидую успокоившемуся от сует пустых, терпеливо ожидающему во тьме света грядущего. Васе завидую, легко заснул. Суждено увидеть свет ему? Не знаю... Один господь вправе положить на весы его добро и его зло. Надейся...

Быстро, дрожащими ногами поднялась по лестнице, побежала по еле заметной в темноте тропинке к общежитию. Сзади, будто настигая, хрупал негромко снег.

— Где была? — настороженно спросила Сима. — Исчезла, как привидение, гляжу — нет тебя.

— С Плитичем говорила.

Сима долго посмотрела на нее.

— Плакала, что ли?..

— Нет...

— Что ж меня не позвала, вместе бы веселей...

— Думала, не захочешь.

— Спросила б.

Думала, хватит и своей великой мудрости, чтобы противопоставить ее темному заблуждающемуся старику, представляла, как высмеет его так, что стыдно будет ему другой раз и глаза показать к ним в общежитие. А теперь у самой надолго останется ощущение жгучего стыда, беспомощности своей, безграмотности. Останется ненависть к старику, ласково унизившему ее, и вместе неожиданная жалость. Наверное, и в нем колышутся, словно черная вода в омуте, обида, горечь и любовь к людям. Она моложе, ей легче отпихнуть от себя неприятное, легче снова уверовать в справедливость свершающегося, в грядущее близкое счастье. Он стар, потому взвалил на себя бога, но даже с такой ношей ему все же легче, чем отцу, который вообще ни во что не верит...

Дверь открылась. Петр внес какого-то парнишку, поставил его на пол, хмурo сказал:

— К тебе, Даша... Тетя Нюр, чем-нито натрите его. Обморозился он здорово, из Нового пешком шел.

Комната согласно ахнула.

Даша подошла ближе, вглядываясь в замотанное шарфом лицо, в темные, скользящие между щелочками ресниц глаза.

— Ефимка!

Тот молча улыбнулся почерневшими губами и, подломив колени, упал. Некоторое время в комнате стояла растерянная тишина, девушки смотрели на Дашу.

Петр перевел взгляд с Даши на Ефимку, прикинул что-то и наконец спросил, облегченно вздохнув, улыбаясь:

— Брат, что ли? Ну чего ты, как курица, крылья распустила? На твою койку его перенести?

— Брат,— согласилась Даша и, наклонившись над Ефимкой, размотала заледеневший от дыхания шарф, пригладила встопорщившийся ежик по-тюремному остриженных волос.— Семнадцать лет ему.

— Пусти-ка, девка.— Тетка Нюра отстранила ее и, раздев Ефимку, принялась растирать смесью жира и спирта, влила в рот несколько глотков горячего чаю со спиртом. Потом, уложив под одеяло, тепло укрыла.— Ничего, парнишечка крепкий, жить будет.

Когда уходили на работу на следующий день, Ефимка все спал. Проснулся он лишь к вечеру, напился чаю, плохо соображая, где он и что с ним, снова заснул. Девчата постояли у койки, посмотрели на его опухшее лицо с почерневшей, лоскутьями отшелушивающейся кожей.

— Счастливая Дашка,— сказала Поля,— с братом теперь будет жить. Вдвоем-то легче...

— Это не брат, пацан с нашего двора. Так просто сказала, чтобы Петро ничего не подумал...

Выслушали Ефимкину историю очень внимательно, ахали, удивлялись, Настёнка попросила:

— Дашутка, ты жалеяй его. Не виноватый же он... А можно, я постираю его шмутки?

— И то, пока парень спит, обстирайте да зачините ему все, девки. Ах ты, умница сероглазая, как напомнила хорошо!..— обрадовалась тетя Нюра.

Окончательно очнулся Ефимка только на следующий день. Забегав в обед из котлопункта, Настёнка увидела, что он лежит, заложив руки под голову, и о чем-то думает, глядя в потолок.

— А где Даша?

Настёнка подошла к койке, разглядывая Ефимку, потом, улыбнувшись, сказала:

— Дашутка обедает еще. Чай, и ты есть хочишь? Вона тут твое все чистое, чиненое, мы сообразили тебе, пока ты спал. Гляди-ка, пожалуй что чуть не трое суток отсыпался. Как мишка... Одевайся, пошли обедать.

— Так ты уйди, что ли,— проворчал Ефимка, сердито закрываясь одеялом.— Ведь я голый, как же одеваться-то мне?..

Настёнка хихикнула и выскочила в коридор.

Вечером Ефимка рассказал Даше, что, когда его выпустили после суда, он, чтобы удержаться от мести пьяному отцу, сбежал. Зайцем доехал до Киева, потом перебрался в Харьков, потом в Магнитогорск...

— Но тоска меня такая брала, Дашка! Неужто, думаю, все кончилось? Ведь это что за жизнь: держи, словно заяц, уши на макухе да озирайся... Надоело мне озираться, и решил я приехать к тебе, как, может, ты посоветуешь мне, что делать...

— Будешь жить, как все мы... Что я тебе посоветую, сама ничего не знаю...

Будешь жить, как все мы... А как? Снова, как на вокзале. Снова, как и дома, у Даши ощущение недолгости такой жизни, ощущение, что еще немножко перетерпеть, переждать — и уедешь дальше. А куда? Вот и Васька метался с одного конца России на другой, искал чего-то, что погасило бы суетную жажду перемены мест, успокоило... И у Даши в душе эта же суета и томление...

Полгода назад семь бесконечных суток вез ее поезд через всю Россию, а она валялась без сна на верхней полке, тоскливо глазела в окно на ржавую грусть полей, мусолила мысли о самоубийстве. Они помогли

ей выжить, нелепо — но это так. Сознание, что в ее власти прекратить эту бесконечную страшную боль, давало силы дотянуть день. Потом еще, еще... А после боль стала глуше. А потом появился интерес к тому, что будет... Она жива, живет. Но как?..

Отец любил повторять, что когда он перестал верить — он умер. Ей казалось это обычным отцовским кокетством, одним из тех, ничего не значащих афоризмов, которых было у него превеликое множество. Теперь Даша начала понимать, что здесь отец говорил правду. Нужна какая-то точка впереди, к которой бы шла жизнь. Без этой точки (отец называл это клочком сена перед мордой осла), без веры, человек не живет — топчется на месте и любая ноша ему тяжка и неудобна.

Но погасло что-то в душе... Видится она себе со стороны уже не умной, большой, способной открыть бесконечное количество Америк,— видится такой, какая, наверное, она и есть: слабая, некрасивая, растерянная, не очень умная. И к тому же беременная... черт знает, где теперь отец этого несчастного ребенка...

Вот Плитич верит, что есть всевидящее, справедливое, ничего не забывающее существо. С этой уверенностью ему хорошо и спокойно. С этой уверенностью он может снять полушубок, отдать замерзающему и самому замерзнуть подле. Он думает, что наступит момент, когда за этот поступок он будет справедливо награжден. Он верит: будь хорошим, делай доброе, бойся делать зло — и тебе воздастся! Может быть, для людей, могущих искренне принять эти наивные заповеди, есть тут какой-то выход и успокоение, может быть, есть... Но Даша чувствовала — не вполне понимая, в чем тут дело, — что хотя Плитич учит девочек, как стать лучше, чище, выше,— девочкам будет хуже, если они начнут вдруг жить по заповедям Плитича. Она не могла еще толком разобраться в причине своей подсознательной настроенности против доброго проповедника, но опять же интуицией чувствовала, что она права.

А самой Дашке тошно, беспокойно, и какое-то беспросветье снова маячит впереди... Ну родит, ну будет работать. А дальше? Что дальше?.. Жить каждым днем? Радоваться солнцу, если оно светит, пище, если она есть, дождю, потому что он полезен цветам и траве?..

На тропке, ведущей к Сони, спуют люди, в ведрах черно и густо сверкает соньская водица. Даша тоже спускается к Сони, скользит на обледенелой тропке, грохая ведрами. Подо льдом бурлит, всплескивается вода, рвет из рук ведро, выбрасывает его на лед, наполняет и снова выплескивается, намерзая по краям мутными молочными гулями. Наконец ведра наполнены, можно возвращаться. Даша, задыхаясь, ползет на горку. От ближних елей вдруг доносится стон. Вздвогнув, Даша опускает ведро на тропку, делает два шага к ельнику.

— Кто тут?

Стон слышен тише. Даша, проваливаясь, делает еще два шага.

— Кто здесь? Что с вами?

— Я это... Василий. Брат твой. Велю тебе исповедовать едино учение бога Ягве. Велю стать овцой божьей.

Даша молча возвращается на тропу, поднимает ведра и тут же ставит. Нет сил нести. От злых слез и обиды перехватило дыхание. Старый дурень, выдумал способ обращения на путь истинный заблудшей души! Ефимка выслушал ее, оделся.

— Пошли!

Выйдя в коридор, он по очереди распахнул все двери, потом забежал в мужское общежитие.

— Видно, у себя он.

Плитич и точно был на пилораме, подлаживал что-то. звякал в полутьме ключом. Ефимка неслышно подошел, положил ему на плечо руку. Плитич обернулся.

— Еще раз вспомнишь Ваську, сволочь, убью! Гнида поганая!

Ефимка приблизил лицо близко к лицу Плитича, поскрипел зубами, ища слов,— и вдруг плюнул. Так отпечатались навсегда у Даши не испуганные, не жалкие, а просто удивленные глаза старика. Смотрел Плитич не на Ефимку, а на нее.

— Что ты сделал? Зачем? — крикнула она, чувствуя суеверный страх не за себя, а за то маленькое, что в ней, чувствуя стыд за то, что сделано. Все равно что обидеть блаженного или ребенка...

ИВАН ИГНАТЬИЧ

Снег. Вокруг городов темнеют присыпанные гарью окраины, а дальше, на сотни и тысячи километров,— нетронутая сверкающая целина. Вспыхивают и теплятся в сумерках огни. Где россыпью, где горстью, где крошечной кучкой, а где и вовсе по одному. И бессонно летят составы, низют огонь к огню на непрочную нить. Оплетают землю шершавым дымком. Прошел состав — и дымок уже прошлое. Очень быстро, слишком даже быстро уходит сегодня во вчера. Зима идет к концу, желтеют страницы газет, на которых печатались речи делегатов съезда. Март. Март тысяча девятьсот пятьдесят шестого года...

Над воротами комбината — флаг с черной каймой. Умер Берут.

Иван Игнатьич отошел от окна, опустился на диван, рядом с Сахаровым. Емельянов приоткрыл дверь.

— Виктор Петрович, может, поедем уже! Я позвонил в гараж.

Сахаров кивнул.

— Заходи, Георгий, народ подойдет сейчас,— вместе поедем. Посиди пока.

Емельянов вошел и остановился у двери, добродушно посмеиваясь, переступая с ноги на ногу.

— Да садись ты, черт! — Сахаров болезненно поморщился, махнул рукой.

— Погоди, слушай, в главк его перетянут, тогда кому перед кем стоять придется?

Емельянов пожал плечами, вышел.

— Зря ты, Иван! — Сахаров покачал головой.— Ценный, умный работник, хоть и со своим барахлом. Я рад, что взял его в управление.

— Я и говорю, слушай, далеко Георгий пойдет. Только он в замешательстве сейчас, как та собака, у которой вырабатывали рефлекс на круг, а потом нарисовали овал...

Сахаров встал, походил по кабинету, потом раздраженно сказал:

— Слушай, какого черта ты там устраиваешь? Что за игра в государство в государстве? Дешевый авторитет завоевываешь?

— Не понимаю.

— Почему свинина у тебя в магазине?

— За что купил — за то и продаю.

— Прекрати, Иван, эту кустарную филантропию!.. Другой бы на моем месте...

— Что?

— Устроил бы тебе две ревизии и отдал под суд.

— Хорошенькое дело, этого только не хватало, слушай.

— Знаешь, что у меня к тебе слабость...

В кабинет начали собираться члены бюро. Здоровались, отпускали всякие шуточки — всё, как обычно, но даже в шутках сегодня сквозила некоторая скованность и растерянность. Сахаров разговаривал по теле-

фону, остальные расселись на расставленных вдоль стен стульях, глуша голоса, переговаривались.

— ...Подкопаев на Северном Кавказе дорогу строит.

— Наверное, «северные» получает!

— Лучше Северный Кавказ, чем Южная Печора!..

Подкопаев... Это с ним рядом шли они, в шеренге многих других, полярной ночью от Котласа, и каждый нес по два кирпича, чтобы было из чего сложить печи в землянках...

Наконец собрались все, поехали в обком. Секретарь обкома достал из несгораемого шкафа книжечку в красной обложке, начал читать. Иван Игнатьич слушал, уперев ладони в толстые колени, отпыхиваясь, чувствуя, как снова натягивается от сердца к спине больная жилка.

Выслушали, помолчали, стали расходиться. Мелькнуло в толпе осунувшееся угрюмое лицо Кравца, они сочувственно и понимающе кивнули друг другу.

Сойдя с мотовоза, Иван Игнатьич прошел несколько шагов и сел передохнуть на рельсы.

Осенью он навязал трем уборщицам по десяти полугодовалых тощих поросят, предназначенных ОРСом на немедленный забой, и пообещал каждой, что зимой самого маленького боровка отдаст бесплатно, если остальные будут живы. Откармливали поросят помоями из столовой и картошкой. Недавно боровов забили, в самом маленьком оказалось двести двадцать килограммов. Поскольку поросята были уже ОРСом списаны как проданные и деньги за них были поездом уплачены,— Иван Игнатьич разделил стоимость шестимесячного тощего боровка на нынешние килограммы, прикинул процентов пятнадцать на накладные расходы и велел отдать свинину в магазин и столовые. Обошлась она по восемь рублей — так и продавали. В столовую отдали кишки и ливер, повар добавил картошки и сделал колбасу, которую продавали совсем дешево. В столовой с этой осени вообще было очень дешевое питание, потому что туда дали свою картошку и капусту с подсобного хозяйства. Сажали, убирали и обрабатывали картошку всем поездом,— десятый мешок себе. Осенью на средства, которые профсоюз выделил на покупку оркестра, Иван Игнатьич распорядился купить невод, и в столовой всю осень была почти бесплатно рыба... Конечно, все это до первой ревизии, от которой его бережет Сахаров.

Дешевый авторитет... Может быть, дешевый, ведь завоевать его очень просто: заботься о благополучии вверенных тебе людей больше, чем о своем собственном, чем о своей незаменимой, к сожалению, шкуре. Вкладывая в это всю жизнь, из года в год, себя, свое счастье, свой досуг. Тогда, может быть, возле твоего смертного одра все будут горько плакать, один ты — удовлетворенно улыбаться. Впрочем, как известно, на всех не угодишь, и найдется кто-нибудь, кто скажет: «Сдох, собака?.. Туда и дорога!..»

Есть авторитет иного сорта. Этот не дешевый. Существует на земле порода людей, в глазах которых, даже невнимательному, виден стальной блеск, возможно, его излучает железная перегородочка между восприятием и чувством. Двигается такой человек по жизни, как танк, как нож,— попадись на пути, пройдет сквозь, не заметив, не вспомнив. Он оправдан собой и окружающими, так как непреклонно уверен, что он и есть, наконец, единственный, ради которого родились и умерли те четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть, начиная от пещеры. Что все они — просто мостик от зверя к нему. Уверенность эта передается обывателю, который млеет от предчувствия, что вот он — сверхчеловек. Ради него трудилось миллионы лет человечество. Ибо жив в обывателе язычник, приносящий в жертву богам свое дитя, обильно окропляющий алтарь кровью...

А человечество живет, тянется в меру сил к солнцу — одни вытягиваются высоко, другие ниже, третьих за этими совсем не различишь, но каждый имеет равное право на жизнь и солнечный свет. Подобно, как на некошеном лугу есть травы высокие, есть средние, есть совсем пластающиеся по земле, — ничего уж тут не поделаешь, не определишь, какая ценней. Скоси луг, сравняй их в одно — отрастет стерня и снова будут травы высокие, низкие и те, что посередине между первыми и последними...

8. Глава о вытравшей облигации

Леонтьев слез с подоконника, зажег свет, налил холодного чаю и взял еще одну помадку. Лег на кровать, подсунув под голову жесткую ватную подушку.

Когда он сидел после подавления эсеровского мятежа в Крестах, вместе с ним выходили на прогулку два великих князя и Верховский, бывший министр Керенского. Верховский, проходя мимо, произносил укоризненно: «Интеллигент! стыдно, молодой человек!..»

С Верховским они были знакомы давно, еще с той поры, когда Леонтьев, приехав в Петербург, начал заниматься юридической практикой. Встречались на музыкальных вечерах у одной актрисы.

«Гуляю со всякой сволочью! — сказал Леонтьев Любе, когда она пришла к нему на свиданье. — Скажи, чтобы решали там скорей, туда или сюда».

А ведь после приезда с фронта он все время работал в комитете у большевиков. Не выходил из партии эсеров, в которую вступил еще мальчишкой, лишь по обычному своему головотяпству и пренебрежению формальной стороной дела. Он собрался написать заявление о выходе как раз в тот день, на который был назначен мятеж, впрочем, он об этом и не подозревал. По дороге в эсеровский комитет, находившийся рядом с Московским вокзалом, купил себе и Любе у частника копченую жирную селедку. Сразу не понял, почему в парадном разбито стекло, почему стоит такая неестественная тишина.

Так с селедкой и заявлением в кармане был переправлен на Гороховую. Сидел вместе с остальными взятыми, слушал разговоры об английской эскадре, которая подходит к Кронштадту, о том, что большевикам вот-вот конец. Когда пришел красноармеец и начал выкрикивать по списку, Леонтьев закипятился: «Я тоже должен быть в этом списке!» — «Пошли!» — равнодушно согласился вызывающий, а сосед дернул Леонтьева за рукав: «Вы сошли с ума!..» Вызывали расстреливать на остров Голодай.

Оставшихся перевезли в Кресты, и он просидел там еще неделю, кажется. Потом его выпустили и приняли в партию сразу, без кандидатского стажа.

Леонтьев стал вспоминать Лелю и подумал, что, в сущности, она была не такая уж скверная женщина. Просто очень молодая и неумная, оттого трогательная. Что-то трогательное было даже в ее наивном хамстве, когда, желая сделать нечто, против чего он восставал, она кричала о его бывшем эсерстве. И он пугался, конечно уступал. Была она просто испорченным, уличным ребенком — свежая, яркоглазая и порочная... Бегала, смешно выставив грудь и отведя назад пухленькие ручки, словно цыпленок, растопыривший крылышки. «Интеллигент! Эсер! Троцкист!» — все три слова в ее устах звучали одинаково бранно. Что же — она, конечно, продукт среды, воспитанница ночлежек...

За четыре года, что они прожили вместе, он не успел к ней привык-

нуть. Все время как бы приглядывался со стороны к ее дикому буйству во время скандалов, к удивительно глупой лживости, похотливости, жадности.

Он женился на этой женщине, надеясь воспитать ее, приобщить к культуре, поднять до себя. Вместо этого он сам, час за часом, день за днем, терял что-то, пока не опустился до нее. И уже не поднялся.

Тем не менее он ее любил гораздо сильнее, чем когда-то Любу. Сейчас, оглядываясь назад, он понимал, что никогда не верил в равновеликость женщин, хотя произносил на эту тему с трибун искренние слова, поминая имена Коллонтай, Арманд и Крупской. Теперь он пожимал плечами, вспоминая эти речи,— смешно говорить всерьез о женском уме, женском таланте. Кто слышал что-нибудь о женщине — философе, писателе, художнике, композиторе? О творце-женщине? Даже те, маленькие из малых, которые что-то пописывали, что-то рисовали, что-то лепили, были скорее мужчинами, чем женщинами: Сафо и Жорж Санд носили мужские костюмы. Гений — это мужчина...

То, что в других было тайно, в Леле было явно — только и всего. Глупость, низость, похотливость... Он пытался вылепить из Дашки человека, самостоятельно мыслящего, свободного, прекрасного человека... Вложил в это всю жизнь, а что вышло?.. Копия матери, вспомнить неприятно. И Леонтьев не стал вспоминать о Даше, он никогда о ней не вспоминал, не читал ее писем, только из снов своих изгнать ее было не в его силах.

Он снова принялся думать о далеком, перебирать свои тысячекратно перемусоленные воспоминания — некоторые из них доставляли боль, но она была не тяжелой, приятной.

Почему все-таки тогда он не попытался что-то сделать, чтобы спасти тех, двадцать восемь? Почему?.. Да потому, что за две войны обесценилась человеческая жизнь больше, чем горсть хворосту. Хворост продавали и покупали, а кому пришла бы в голову дикая мысль выкупить человека? Выкупить из рук смерти? Да никому.

Смерть не вызывала уже ни удивления, ни любопытства, ни страха, ни, тем более, сострадания.

В гражданскую, в одну из зим — он не помнит точно год, — Люба заболела тифом, он повез ее в тыл и дорогой заболел тоже. Он еще держался на ногах, но мучил озноб и жажда, иногда меркло сознание. Стоял дикий мороз, но топить было уже нечем, а проясняющимся иногда сознанием Леонтьев понимал, что эта ночь будет последней. На одной из остановок он вышел из теплушки и, покачиваясь на слабых ногах, побрел вдоль состава к паровозу. Горела крохотная луна, сверкал снег безгранично, а состав был темный, длинный и молчаливый. Все это путалось в горячечном мозгу Леонтьева с какими-то сценами из декадентских пьес, которые они ставили в бытность его студентом. Он добрел до паровоза и увидел вагон, над трубой которого вился дымок. Леонтьев постучал, ему не сразу, но открыли. Он вошел, увидел топящуюся железную печку. «Моя жена и я, — сказал Леонтьев, — больны тифом. Если вы не поможете нам, к утру мы замерзнем». — «Вы же понимаете, товарищ, что взять тифозных сюда невозможно: здесь едут командиры, армию нельзя обезглавить... Попробуем, конечно, что-нибудь придумать...»

Их сняли с поезда на следующей большой станции, потом они узнали, что об этом позаботился тот самый командир, с которым он разговаривал. Но Леонтьева навсегда потряс его равнодушный взгляд. Впрочем, Леонтьев всегда был прекраснодушным интеллигентом. Просто и на самом деле жизнь человеческая была до предела обесценена, и смерть никого уже не удивляла и не трогала...

Леонтьев вдруг почувствовал страшный озноб, словно тело вспомнило ту морозную ночь. Он долго лежал, надеясь согреться, потом, кряхтя и постанывая, встал и пошел на кухню вскипятить чаю.

— Хотите посмотреть «Вечерку»? — спросил сосед. Они обычно обменивались газетами.— Кстати облигацию проверите, там тираж золотого займа есть.

— Бесплезно,— сказал Леонтьев и взглянул на таблицу.— Она у меня уже десять лет лежит.

037482. Он сразу увидел эту цифру, потому что знал на память ее и даже то место, где она должна стоять в таблице. И серия тоже сошлась. Облигация выиграла тысячу рублей.

Такие небольшие, в сущности, по старым его масштабам, деньги, он уже давно не держал в руках... Леонтьев растерянно смотрел в газетный лист, соображая, что же следует в первую очередь покупать и вообще как быть с этими деньгами?

Видимо, придется отдавать долги, даже те, на которые давно уже займодавы махнули рукой,— уйдет больше половины суммы. В общем, ни то и ни се, остаются гроши... Леонтьев недовольство какое-то ощутил: лишние хлопоты, а толку?..

И вдруг вспомнил, что облигации у него нет. Полтора месяца назад он отдал ее Маргаритке вместо подарка ко дню рождения...

«Позвоню ей...» — облегченно, будто роняя с плеч гору, подумал Леонтьев. Этой возможности, этого предлога он жаждал сегодня весь вечер — и был наконец услышан.

Боясь ошибки, перечел номер — все было правильно. Он выключил незакипевший чайник, торопливо оделся и пошел к трамвайной остановке, где был телефон-автомат. Долго чиркал спичками, набирая номер: лампочка в автомате не горела. Подошла мать Маргаритки, радушно поздоровалась, потом подошла Маргаритка, неохотно, будто со сна, промямлила: «Здравствуйте... Некогда было, вот и не зашла. Зайду как-нибудь. До свиданья». И повесила трубку. Леонтьев про облигацию сказать ничего не успел. Он долго рылся в карманах, пока наконец отыскал еще пятиалтынный, снова, чиркая спичками, набрал номер, снова подошла Маргариткина мать и уже удивленно и недовольно сказала: «Пожалуйста-пожалуйста...» Снова Маргаритка еще более сонным голосом пробормотала: «Что?..» И, выслушав про облигацию, сказала: «Хорошо. Спасибо. Но она ведь теперь моя?» — «Конечно! Девочка, мне же не надо ничего, я за тебя рад!» — кричал Леонтьев в трубку — и услышал частые гудки.

Он пришел домой, разделся, включил чайник, заварил свежего чая и лег на кровати, подсунув под голову жесткую подушку в матрасной наволочке, перекачивал беззубым ртом помадку, потягивал из стакана крепкий чай...

9. Глава о родившемся

ДАША

Пьяно пахнет талым снегом, мокрой землей... Ах, как ходит над тайгой знобкий пьяный ветер, клонит, треплет головы почерневшим за зиму, просыпающимся соснам и пихтам, рвет с них слежавшийся мокрый снег. Все пьяно, все сыро, все проснулось, не молчит — и общие звуки эти, не прекращаясь ни на минуту, томят, тревожат, торопят...

Сонь несет сизые грязные льдины, громоздит их одна на одну, выталакивает — и, подточив нависший еще с прошлого ледохода берег, обрушивает его, уносит крошащийся бурым суглинком кусок вместе с кри-

вой пихтой. Так и идет стойком среди сизых льдин еще живое, но уже погибшее дерево. Мокро гудит снег, сползая с незалесенных склонов, ухаает взрывом, падая в реку. Сонь жадно заплескивает на льдины, лижет снег, торопит: «Тай, тай, скорее!..» — и, разбухая оттого, что не может вместить всего, что проглотила, вспучивается, выбрасывается на берега, бедокурит, словно перепившая бабенка: «Ох, держите меня, ох, не могу!..» И, смотришь, уже идут льдины, неся обломки домов, кубики из-под солярки, мотки троса, а иногда смятый, словно последняя тряпка, плывет и человек на льдине.

Гудит Сонь, тает снег, развезло зимник. Конец апреля.

Даша глядит в темное окно на поблескивающие редко станционные огоньки, кусает в кровь губы, считает:

— Раз, два, три, четыре...

Незаметно голос ее, сдерживаемый вначале, переходит в крик. Тогда к ней приближается, шаркая тапочками, заспанная няня, ворчит:

— Мамаша, мамаша, договорились же, что родим тихо. Младенцы спят. роженицы тоже.

И Даша опять кусает губы и опять начинает шепотом считать огни.

По последней дороге, подолгу буксуя в раскисших колдобинах, самосвал отвез ее в больницу. Теперь Трудный снова отрезан, только попискивание рации связывает его с миром. Поселок изменился за зиму, вырос, вытянулся в длину, далеко отступила тайга. Пока был зимник, забросили туда много техники, горючее, продовольствие. В конце марта перебрались в Трудный мехколонновцы. Земляное полотно прошло перед поселком, прижав его к сопке.

Даша схватывается руками за край стола и кричит, напрягаясь, корчась от выворачивающей ее боли. Чужое онемевшее тело изгибается, мечется по столу, рот хватает воздух, давится криком, рычит... Возле суетятся, говорят, что-то делают — но все заслонила боль, корчится в схватке, выталкивает из себя созревшую, ставшую чужой новую жизнь обессилевшее тело... Потом легкость и тишина.

Даша осматривается. Человек в белом халате приподнимает что-то красное и мокрое, лежащее у нее в ногах, и Даша видит, что это ребенок, мягко обвисший в руке врача. Тонкие ручки растопырены, мокрые пальчики сжимаются и разжимаются, нечаянно захватывают что-то блестящее на столе, отпускают и снова сжимаются и разжимаются. До сознания доходят хриплые вякающие звуки — это плачет ребенок.

Врач передает ребенка сестре, та кладет его на весы.

— Легко родила, — говорит он. — И девчонка здоровая. Ножницы ухватила, хирургом будет! А тебе кого хотелось, сына небось?

«Девчонка... — равнодушно, словно о чужой, думает Даша. — Спать...»

В окно светит солнце, душно пахнет хлорамином, еще чем-то больничным. Даша приподнимает с лица руку, смотрит на высыпавший по коже росный пот, переваливает на подушке легкую слабую голову. Слабость, умиротворенное, слезливое настроение, очень хочется есть. В палате лежат еще четыре роженицы, они с любопытством разглядывают Дашу, но та, жадно гремя ложкой, съедает обед и снова засыпает.

Ей приносят тугой пакетик. Из полотняного обрамления торчат пухлые малиновые щеки, глаза плотно закрыты, на малиновом лбу, будто нарисованные, выгнулись дугой тонкие бровки, — между бровями красное пятнышко: не то родинка, не то просто бугорок какой-то.

Маленькое спит. Спит оно и тогда, когда Даша, нажав на подбородок, вкладывает ему сосок в рот, выдавливая несколько капель молока. Тонкие розовые губы пошевелились, горлышко глотнуло — и снова спит, торопливо посапывает приплюснутый в белых точках носик. Даша сцеживает в розовый рот капли молока, разглядывает красное, некрасивое личико. Девчонка, еще одна девчонка... Ее девчонка.

На сердце пусто, только усмешливое умиление и любопытство.

Через неделю, взяв завернутый в два одеяла — байковое и теплое — сверток, Даша выходит из ворот больницы на улицу. Киснет взъерошенный коричневый снег, белые сосульки обтекают солнцем. Тело непривычно легкое, тонкое, молодое, заплетаются, торопятся ноги, будто еще два быстрых шага — и поплывешь над поселком в белесую рыхлую синь.

Маленькое в одеяле вдруг дернулось, едва не выскользнув из рук, и заворочалось, побряхтывая, попискивая. Вот, Дашка, тебе еще забота, теперь сама-то — что, сама-то — как-нибудь, все мысли сюда, к этому слабому, твоему...

Даша ступила сапогами с деревянных мостков в размятую колесами грязь. Домой бы... Но Трудный отрезан надолго. Поколебавшись, Даша двинулась в контору.

По распоряжению Миронова, комендант повел ее на станцию. Здесь, на запасном пути, стояли красные вагончики, в каждом было по два отделения, рассчитанных на семью. Вот в одном таком отделении с печкой, окном, столиком и двумя, друг над другом, нарами, поселилась временно со своей Николинкой Даша. Комендант выдал ей постельные принадлежности, чайник, тазик, ведро. Еще раньше, в конторе, Даша получила ссуду и аванс. Можно было определяться жить.

Привыкая таскать на руках переставший уже быть частью ее самой, но все еще неотделимый от нее сверток, Даша сходила в магазин, купила поесть. Потом, решившись все-таки оставить Николинку в вагоне, сбегала, набрала охапку шепок у строящегося неподалеку дома путевого обходчика, потом, схватив ведро, побежала за водой на Сонь. Ослабевшие руки едва тащили тяжелое ведро, Даша несколько раз останавливалась, передыхала, а когда дошла до ставшего почти привычным места возле стрелки, оторопело замерла. Вагонов не было. Даша осмотрелась еще раз и поставила ведро на землю. Похоже было, что она спит.

Опомнившись немного. Даша снова поглядела вокруг и увидела, как новенький паровозик с буквами «ОВ» на боку, заталкивает на третий путь эти злополучные вагончики. Бодро гукнув, он отцепился, зайдя за стрелку гукнул еще пару раз и покатил задом наперед куда-то к тупику, где, возле выстроенного этой зимой нового моста через Сонь, стояло несколько платформ, груженных лесом.

Торопя подламывающиеся ноги, бежала через пути к вагонам. «Упала, убилась!» — спешило сердце. Но когда она вошла, Николинка спала все так же крепко — видно, ей, от роду уже железнодорожнице, толчки маневрирующего состава не казались помехой для нормальной жизни.

Даша плотно закрыла дверь и принялась топить печку. Скоро закипел чайник, стало тепло, и Даша решила наконец развернуть Николинку, сменить ей пеленки. Погрела у печки две пеленки и уголок, разложила все на постели, приготовила тазик с теплой водой и развязала ленты на одеяле.

Одно одеяло, другое, клеенка, теплая пеленка, еще одна — словно капустный кочанок разбирала Дашка свою девчонку — и по мере того, как снимались эти солидные листки, все жалче становилось то, что оставалось. И, наконец, — вот она, мокренькая до самых черных, легких, как перышки, волосенок; красные, туго блестящие пяточки криво подняты вверх, шевелятся горошины пальцев, вздутый живот перетянут белым, в желтых подтеках бинтом, грудь, ручонки — все это несоразмерно маленькое, по сравнению с большой длинноволосой головкой. Темные косоватые глазки смотрят куда-то в глубь себя: еще не живет сознанием в этом мире человек, он еще где-то там, в прошлом, в воспоминаниях

о пережитом недавно страхе рождения — потому мудр и равнодушен взгляд мутноватых, малоподвижных глазок. Руки шевельнулись, качнулись над лицом, пальцы задели за приоткрытый, розовеющий деснами рот — и человек уже жадно сосет, мусолит спичечки пальцев.

«Бедненькая моя, голодная моя...» — жалко защемило, расплылось в умилении Дашино сердце. Она положила Николинку на чистое, высвободила у нее изо рта упрямо вырывающиеся, непокорные ручки, запеленала. Сунула к орущему обиженному рту грудь и, томясь от нежности, смотрела, как захватал, заахал жадно человек, ловя брызжащий молоком сосок. Приладился и торопливо зачмокал.

Дрогнул, накренившись под чьей-то тяжелой ногой вагончик, в дверь постучали.

— Нельзя... Можно! — крикнула Даша, суетливо закрываясь платком, поднявшись, чтобы засунуть под нары таз с грязными пеленками. Вошел Миронов.

— Ну, как вам тут? — спросил он, остановившись у двери и оглянув все разом: жарко топящуюся печку, кипящий чайник, запотевшее окошко и Дашу с ребенком, прикрывшую грудь.

— Хорошо... Спасибо большое... Доживем, пока дорогу наладят.

Даша смотрела на высокого грузного человека в путевой шинели со споротыми погонами. Он подпирал плечом небеленый дверной косяк и глядел на нее утомленными глазами. Она не предлагала ему раздеться или просто сесть: слишком громоздок, слишком велик был он для их игрушечной комнатухи. Миронов снял фуражку, пригладил коротко подстриженные волосы и снова нахлобучил ее, так что она точно пришла околывшем на красную, видно никогда не пропадающую полосу на лбу.

— Ну ладно, слушайте, — сказал он. — Устали сегодня, спать хотите?.. Я пойду. — Он распахнул дверь и, оглянувшись, спросил: — Можно заглядывать к вам иногда?

— Конечно...

Дверь закрылась.

Николинка, насосавшись, уже спала. Даша уложила ее к стенке, пропоскала и развесила пеленки, напилась чаю и тоже легла. Заснула она сразу, однако ночью несколько раз просыпалась. Сначала оттого, что их перетаскивали на другой путь, а после — от гудков и оттого, что вдруг освещал комнатуху, слепя глаза, прожектор остановившегося на соседних путях паровоза. Николинка просыпалась, только чтобы поесть.

Так они и стали жить здесь, ожидая, когда наладят лежневку, чтобы могли ходить машины до Трудного. Даша сначала сидела у вагончика, потом стала ходить к магазину и конторе, лущила орешки, разговаривала с женщинами. Раза два она даже сходила в клуб, в кино, а немного окрепнув, начала гулять с Николинкой на опушке постаревшей за зиму тайги. Здесь, у Нового, прореженная и прорубленная далеко вглубь тайга выглядела по-домашнему безобидной, уютной, как подмосковный лесок.

Контора участка, вместе с основной массой рабочих, должна была, едва наладят лежневку, перебраться в Трудный. В эти последние перед отъездом дни все суетились, укладывались, спорили, что брать, а что оставить. Даша слонялась среди всего этого чужая.

Почти каждый вечер к ней стал заходить Миронов. Очевидно, это сделалось известным всему поселку, потому что, когда однажды его срочно вызвали к телефону из Соньска, дежурный сразу же направился на розыски к Даше.

Даша сначала стеснялась и тяготилась присутствием этого человека, но скоро по вечерам стала ловить себя на том, что прислушивается к

шагам возле вагона, и если Миронов почему-либо не приходил, у ней обиженно и одиноко щемило внутри.

Он приходил, раздевался, пробирался осторожно в самый угол к окну и, заняв своим тучным телом добрую половину нар, сидел допоздна. Ласково глядел из-под черных с проседью бровей на Дашино слабо освещенное керосиновой лампой лицо, на ее руки, когда она стирала пеленки или возилась с Николинкой.

Иногда Даша распеленывала при нем Николинку, и Миронов смотрел на барахтающееся в белых тряпках тельце с любопытством и нежностью. Он прижимал толстыми пальцами крохотный мизинец на кривой, колеблющейся в воздухе ножке и удивленно говорил:

— Слушайте, вы сама девчонка — и вот, пожалуйста, еще девчонка!

Когда он произнес это в первый раз, Даша возразила, что просто она выглядит так молодо, на самом же деле ей уже двадцатый год. Иван Игнатьич приподнял брови, усмехнулся и промолчал, а на следующий день, подержавшись за гладкую, еще без линий ладошку, снова повторил:

— Сама девчонка — и у ней еще девчонка. Слушайте, а?..

На следующий вечер Миронов не пришел, и Даша, уложив Николинку, долго сидела, глядя в озаряемое белыми лучами прожекторов окно, прислушивалась к голосам, к лязгу ключей, к постукиванию молотка и тяжелому топоту пробежавших сцепщиков. Тоскливо и сердито томилось сердце, надеясь, что Иван Игнатьич придет все-таки, зная, что он уже не может прийти, и опасаясь, что он не придет и завтра — вообще никогда теперь не придет!.. Перебирала в памяти — не обидела ли его чем, а может, ему просто надоело ходить?

Прижавшись лбом к запотелому стеклу, Даша смотрела в окно. Проехал, ломая луч прожектора о рельсы, смешной, словно игрушечный, паровозик — низенький с широкой трубой и маленькими колесами. Он гукнул три раза и остановился, свистя белым паром, рассыпая по ветру красные искры. Потом он прицепился к составу с лесом и потащил его, такой смешной и деловитый, такой несолидный, во главе этого, сравнительно длинного состава. Проплывали, мелькая, платформы.

...Зима осталась позади — непонятная, смутная пора. Ночами, особенно последние месяцы, Даша стала кричать во сне, и ее будили девчата. Ей снился Николай, теплая комната с красным абажуром, где-то спящий ребенок — его она не видела, но знала, что он тут, в комнате. На душе было покойно и уютно, но вдруг возникала тревога. Даша начинала внутренне торопиться, появлялся страх, она выбегала из комнаты и видела всегда одно и то же: узкая улица с невысокими старыми домами, табличка с номером, вместо лампочки там горит, высоко взвиваясь тоненьким язычком, свеча. По улице шел Николай, она тревожно спешила к нему, не повиновались будто скованные параличом ноги, но вдруг кто-то ударял ее в спину. Она падала, слушая, как боль долго пронзает ее, и начинала рыдать: «Николка, Николка, так мы и не пожили с тобой...»

Кто-нибудь из девчат расталкивал ее: «Дашутка, ты что стонешь так страшно?» Она просыпалась в слезах и долго не могла сообразить, где явь, где сон.

Еще Даша часто думала об отце. Постепенно забылись его капризы, его чудачества, его детский эгоизм, и она, как раньше Василий, стала скучать о нем. Послала два письма, где в смешных тонах описывала события здешней жизни, хвалила природу, знакомую отцу с детства. После Нового года она стала посылать ему ежемесячно по сто рублей. Деньги и письма уходили, как в воду. Видно, из хорошо развитого у него чувства самосохранения отец запретил себе думать о Даше, иначе мучил бы его ежечасный, ежеминутный страх за нее. Так проще: нет

дочери — нет страха. Даша перестала писать — пускай старик живет, как ему легче.

Как и что будет дальше, Даша не представляла. Зиму провела в ожиданье, когда наконец свершится положенное. И вот свершилось. Уезжать? Остаться?.. Что-то снова менять не хотелось. Когда Даша поступала на работу, с ней заключили договор на пять лет. Раньше срока не уедешь...

И В А Н И Г Н А Т Ь И Ч

Мимо текла грязная весенняя тайга, бурый осевший снег, присыпанный березовым семенем.

— Останови, Анатолий!.. — Иван Игнатьич тяжело вылез из газика, умял в снегу глубокую ямку и, зачерпнув складным стаканчиком, с наслаждением напился весенней пахучей воды, потом подал стаканчик Анатолию. Все таежники, все скитальцы убеждены, что весенняя снеговая вода вкусна и полезна для здоровья. Станный у нее вкус — чуть сладковатый, чуть вяжущий гортань, вероятно потому, что настоена на кедровом и пихтовом ошкурье, березовом семени.

Газик тронулся дальше, медленно переваливаясь по наспех состыкованным бревнам лежневки. Иван Игнатьич привычно уперся ногой в переднюю стенку кабины, его грузное тело тяжело содрогалось на выбоинах. Он улыбался про себя, вспоминая какие-то свои разговоры с Дашей, ее девчонку. Ему было приятно об этом думать.

Возле первых домов Трудного Иван Игнатьич снова велел Анатолию остановиться и, поднявшись по свежему желтому крыльцу, распахнул дверь. Послезавтра в эти дома въедут люди, хотя печки еще сыроваты, окна и полы не мыты, не крашены. Не успел Талгат... Ладно.. все-таки лучше, чем в бараке по две, по три семьи в одной комнате.

Иван Игнатьич присел на некрашенный подоконник, обвел глазами квадратную светлую комнату, представил, что посередине стоит стол, накрытый белой крахмальной скатертью, над ним низко — лампа с абажуром. Кровать, диван, какие-то коврики на полу — так, кажется, обставляют жильё семейные люди?..

Странно быстро проходит жизнь. Все думаешь: год, ну еще год — а там отдохну, растолкаю дела и наконец со вкусом займусь медленным житьем. Но вот уже за пятьдесят, не верится, удивительно, потому что еще только вчера была учеба в рабфаке, в железнодорожном институте, работа в изыскательской партии — зеленая молодость...

Будь он хоть лет на пятнадцать моложе, он бы женился на этой «девчонке с девчонкой» и поселился бы с ними обеими в такой вот небольшой комнате — пусть бы совсем рядом возилось и кричало это маленькое с мудрым, в себя, взглядом темноватых глазок. Дашу плач дочки часто раздражает, хотя она и старается не показывать, — ему эти крики умилительны, трогательны: человек... Может быть, детей надо иметь не в юности, когда главным образом слышишь в ушах гул собственной крови, все же прочее отвлекает, раздражает, — а гораздо позже, когда умеешь уже смотреть на окружающее спокойно и со стороны...

Вошел Талгат. Черт знает, каким образом строймастера узнают, что на участок прибыл начальник.

— Здравствуйте, Иван Игнатьич. За качество не думайте, покрасить только не успели вот.

— Крыши не текут?

— Не текут будто. Дождей уже много шло, показали бы себя... Баню сегодня заканчиваем, послезавтра котел затопим — пускай, кто хочет, вымоются с дороги...

Они пошли по домам, смотрели на углы и на печи, проверяли засыпку потолков, побывали в покуда еще сухой новой бане «на двадцать шаек». Так миновал день. А вечером Ивану Игнатьичу постелили в конторе, и он сказал, чтобы Талгат позвал Плитича да заодно попросил заведующую котлопунктом принести чего-нибудь поесть.

Заведующая принесла чайник крепкого сладкого чая, хлеба, банку разогретых мясных консервов. Она постелила на конторском столе, залитом чернилами и заваленном разлохматившимися чертежами, чистую тряпку, нарезала хлеб, поставила тарелку, вывалила в нее консервы.

— Кушайте, Иван Игнатьич.

Ивану Игнатьичу было знакомо такое покровительственно-жалостливое отношение к нему немолодых женщин: холостяк, неустроенный, пуговицу пришить некому. В их глазах он живет неправильно, нелепо. Господи, конечно, неправильно: что-то успеваешь, а больше только желаешь успеть. Конечно, неправильно это, что не было, нет у него личного счастья, вообще личного — кто спорит с этим? Торопился жить, не успел... Теперь уже не наверстаешь.

— Большое облегчение, что столовая сюда переберется,— сказала заведующая.— Надоели консервы. Правда или болтают, что в Новом по восемь рублей за килограмм свинину продают?

Иван Игнатьич все объяснил заведующей про магазин и про столовую, и она ушла, участливо спросив, не надо ли ему что-нибудь зашить, постирать. Иван Игнатьич, поблагодарив, отказался.

Плитич по вызову не спешил. Иван Игнатьич успел уже поесть, убрать со стола, прилечь на койку, закрывшись шинелью: в конторе было холодно. Время близилось к двенадцати, скоро должны были выключить движок — и Иван Игнатьич подумал, что Талгат Плитича не нашел, свидание придется отложить на завтрашнее утро. Тут в дверь постучали, вошел Плитич. Сташил с большой головы ушанку, стал у порога.

— Я слушаю вас, товарищ начальник. Сколько можно одного человека тревожить? Преступил закон — сажайте. Следовательно, милиция, теперь вы...

Ивану Игнатьичу рассказали, что иеговистская секта вообще-то запрещена как антисоветская организация: руководящий центр ее находится в Бруклине, в Америке. Иеговисты обычно работают строго конспиративно, литературу хранят в ножках табуреток, в выдолбленных поленьях и прочих тайниках. Следовательно, смеясь, рассказал, что Плитич хранит свои «божественные» журналы просто в чемодане, и вообще — какой он иеговист, если говорить серьезно. Слышал звон...

Иван Игнатьич сел на койке, сумрачно глядя на измятое морщинами лицо Плитича, и подумал, что, вероятно, они ровесники.

— А почему вы именно иеговистскую секту выбрали? — задал он вопрос действительно его интересующий.

Плитич скупо отвечал, что «было ему знамение». Внучек умер от воспаления легких, когда ехали в Сибирь. Иеговисты учили не скорбеть об умерших. Они провожают своих мертвецов с веселыми песнями: их ждет после Армагеддона счастливая жизнь, время это приближается, свидание недалеко...

— Ну, все у вас, товарищ начальник? Может, отпустите меня? Лампочка замигала — того гляди ток выключат: как в темноте домой пойду? О вере не буду больше разговаривать с людьми...

— Идите.— Иван Игнатьич вздохнул.— Я вас вызывал именно за тем, чтобы вы мне перестали тут разлагать людей болтовней об Армагеддоне. Жизнь людям хорошую надо сейчас создавать на земле. После смерти ничего не будет.

— Я вас не убеждаю, товарищ начальник. Каждый дятел свое дерево долбит. Только с Христом люди уже две тысячи лет живут...

— Христом живут, а не с Христом! — возразил Иван Игнатьич. — Верой в Христа... Фашистских лагерей не довелось вам повидать? Все-прощением, благостной агитацией человечество не исправишь!..

— Так я пойду, значит, товарищ начальник?

Плитич нахлобучил ушанку и, не дожидаясь ответа, вышел.

Иван Игнатьич лег, счастливо подумав, что завтра вернется в Новый и вечером зайдет в вагон к Даше. Он стал засыпать и вдруг увидел белые сонские валуны и Василия, лежащего навзничь, свое желание броситься на кого-то, ударить, отомстить, но кому мстить — некому... Очнулся — сердце сжали тоска и страх за Дашу, за девочку. Как они там? Он вертелся на скрипучей койке, не мог заснуть и вздыхал, вспоминая Плитича, упрямо уверовавшего в нестрашность смерти, в скорую встречу с милым внучонком.

Любая вера — это желание переделать человека по образу и подобию идеала, сложившегося в душе верующего. «Красив как бог!» — за этой фразой представляется совершенная плоть, веселое, лукавое, эротичное божество греков. С ним, впрочем, надо держать ухо востро, иначе будешь высмеян, ловко обманут, обведен вокруг пальца. «Не грши, люби ближнего, будь добр...» — к этим разумным и человечным заповедям первых христиан церковники добавили еще одну, ставшую главной в сегодняшней религии: «Смирись!» Смирения, примирения с обстоятельствами, всепрощения Иван Игнатьич не принимал...

ДАША

На следующий вечер Иван Игнатьич пришел рано.

— Наладил Ишмухамедов лежневку, — сказал он. — Я вчера вечером проверять ездил, вот и не зашел. Завтра начнем переселяться. — Он помолчал. — Но вас раньше, чем через три дня, я не отправлю.

— Почему?

— Дорогу надо обкатать. Слушайте, с лежневкой, знаете, какие фокусы бывают? Не связал, забыл плотник закрепить какую-нибудь пару бревен... Одна машина прошла — ничего, другая — ничего, а третья нажала колесом на комель — и летит, слушайте, бревно, как из катапульты либо шоферу в лоб, либо в кузов. Страшное дело... Ишмухамедов, конечно, работает старательно, только такие мелочи, я вам скажу, и бог не углядит...

— Так ведь и на тех машинах люди поедут.

— На первых мы будем разный скарб перевозить, чтобы не рисковать лишнего. Народ дня через два-три тронется, а вам и вовсе спешить нечего... И я к вам привык. Туда мой новый главный поедет, людей принимать, я еще с неделю здесь пробуду. Слушайте, я же привык к вам, мне же без вас тоскливо будет!..

Он смотрел снизу Даше в лицо, его рука лежала на Дашином локте.

Даша машинально покачивала Николинку, хотя та давно заснула и дышала по-младенчески часто и коротко. Она подросла за эти дни, личико у ней побелело, заметней стали черные дужки бровей, пунцовый рот. Из-под чепчика на лоб падали лохмочками длинные мягкие волосенки. Даша осторожно убрала у нее с ресниц какую-то крошку, веко дернулось, маленький нос сморщился и чихнул. Лицо на минуту замерло, потом опять по нему побежали тени, дрогнули брови, рот расплылся в улыбке, беззащитно обнажив розовые десны. Даше объяснили в больнице, что это просто гримасы: нервная система у младенца еще очень

несовершенна, неуправляема, сознательно на раздражения она реагировать не может. Но Даша верила: просто человек пока живет чем-то своим, давним, привнесенным предыдущей кровью. У него свои старые радости, давние печали, мудрые заботы. Он не спешит принимать новый мир с новыми хлопотами...

— Привык я к вам,— повторил Иван Игнатьич.— Привязался очень. Вы даже не можете себе представить, сколько вы со своим цыпленком заняли места в моей жизни... Страшное дело...

Ох, как изменился Трудный! Едет машина по центральной улице. Даша смотрит в окно,— и, как в Москве,— ни одного знакомого лица!.. И дома какие-то чужие, хотя уж, кажется, в каждом из них Даша либо мыла пол, либо под фундамент ямы копала, либо песок и глину для печей носила, либо штaketник прибывала. Изменились дома, раньше были друг на друга похожи, а теперь пестрят окна разными занавесочками — какая с мережкой, какая с вышивкой, где тюлевая, где марлевая. На одном окне — герань, на другом — фикус, на крыльце ведра стоят, на ступеньках половики валяются, незнакомая собака сидит, о столб телеенок трется... И вывески: «Пекарня», «Смешанный», «Столовая», «Ясли», «Контора СМП»...

Шофер высадил ее у общежития, и Даша, оскальзываясь на мокрых затоптанных досках, пошла к дому. Еще раз оглянулась на поселок, затянутый сеткой дождя: размахнули за зиму населенный пункт!..

Дверь из комнаты в коридор была распахнута, оттуда доносился рев, визг, топот. Даша остановилась.

— Мужиков не задерживают, попросился — и расчет, а нашего брата, галок, дёржут!

По комнате металась Валя, напротив, в телогрейке и платке, стояла, угрюмо скрестив руки, тетка Нюра. Девчата собрались кучкой у печки и хмуро смотрели, как Валя топает ногами и рвет на себе платок.

— Я тебя не держу, бешеная! — негромко отвечала тетка Нюра.— Иди к мастеру! Такая ты мне работница на дух не нужна!

— Работала, дура была! Вкальвала! — кричала Валя.— У меня дома все подруги замуж повыходили, я ни на одной свадьбе не отгуляла!.. Я домой хочу, я хорошего винограда уже четыре года не ела!.. Удивили: свинина по восемь рублей! У нас она сроду по шесть!..

— Хватит разоряться! — сказала Сима.— Война давно ли кончилась? У вас по шесть, а у нас по сорок — не хочешь?.. Кати отседова, никто тебя не держит.

— Иди к начальнику,— подтвердила тетка Нюра.— Мое дело небольшое, а держать я тебя не стану.

Валя, вскрикнув и высморкав в край платка покрасневший нос, пробежала мимо Даши на улицу.

— Дашутка! — ахнула Настёнка.— Девки, Дашутка приехала!

— Ну-ка, давай их сюда! — Катерина, подойдя к Даше, почти силой вырвала у нее Николинку.— Ишь черномазенькая!..

Она положила Николинку на свою койку, подкинула в печку дров, закрыла дверь. Подошла Сима, дернула Дашу за плечо, поворачивая к себе.

— Дай хоть поглядеть на тебя. Мамаша... Молодая опять стала.

— Красивая! — подтвердила Настёнка.— Девки, Дашутка, пожалуй что красивей всех теперь в поселке?

— Раз начальник ходил, значит, красивей.— Сима усмехнулась.— Уж он не ошибется!.. А мы тебя еще позавчера ждали: полы намыли, убрались. Видишь, обратно затоптали. Не спешила ты. Ну ништо, снова вымоем. Настька, давай за водой!..

Катерина, развязав теплое одеяльце, провела осторожно и жадно руками по корчащемуся, просыпающемуся тельцу. Поднялись в воздух

запеленатые ножки, заходили бугорками под тонким одеяльцем, вырываясь, ручки, личико закривилось, раздалось недовольное капризное побряхтыванье.

— Да это кто вертится, кто крутится? Кто, я спрашиваю, морщится?..— Катерина, посмеиваясь, прижалась лицом к одеялу, утискивая дрожащими руками корчащееся тельце.— Так бы и съела тебя, так бы и проглотила, скоморох ты несчастный, крыса сопливая, лягуша раненая!..

— Катька, оставь! — прикрикнула тетка Нюра.— Вцепилась! Кости девчонке помнешь, там и всего-то ничего нет. Дашка, покорми ее, видишь, растрясло дорогой, жрать хотит.

— Мне б их человек пятнадцать — и то мало! — вздохнула Катерина, передавая Даше Николинку.

— А Петр тут как сумасшедший ходил, девка, когда узнал, что у тебя Миронов бывает. Да и мы удивились.— Тетка Нюра осуждающе покачала головой.

— С ума сошли?! — Даша покраснела.— У Миронова и в голове того не было...

Вбежала Настёнка.

— Девки! — давась от хохота и глядя на всех вытаращенными изумленными глазами, закричала она.— Валька-то учудила! Приперлась в контору, разделась до самой нагишки и стоит. Пока, говорит, расчет не дадите, стоять буду!

Девчата переглянулись и дружно бросились к выходу. Когда они вбежали в контору, из распахнутой двери раскатами вырывался бас Миронова.

— Расчет тебе? Дадим расчет, нам такие распутные не нужны! Ишь удивить захотела, выставилась! Голых баб мы тут не видели!.. Да мне тебя с сахаром такую работницу не надо, катись отсюда, пока я тебя табуреткой пополам не перешиб! Наглая... Там, там оденешься...

Из двери выскочила Валя, стараясь сохранить на лице улыбочку, торопливо стала натягивать одежду.

Когда Миронов, выйдя следом за Валею, поравнялся с Дашей, лицо у него было спокойным, даже скучным. Он ласково кивнул Даше, спросил мимоходом: «Как доехала, все в порядке?» И, взяв в отделе кадров какие-то бумаги, прошел к себе в кабинет. Туда же зашла Валя.

Долго из кабинета не доносилось ни звука, лишь поскрипывала табуретка да хлопала от сквозняка форточка. Потом заговорила Валя:

— Что ж вы молчите? Позвали, а сами молчите? Скажите, коли не нужна я...

— Я думаю. Думаю, что бы такое тебе в трудовую книжку записать? Запишу плохое, слушай, жизнь испорчу тебе... Придешь куда-нибудь на работу поступать, а там все это написано. Страшное дело... Слушай, скажут, не нужна нам такая работница, она как бешеная собака у нас тут всех перезаразит, будут голышом, словно дикари, бегать. Слушай, а? Ведь работать тебе хоть где — придется. Бардаков ведь нет — это там такие вещи в моде, чтобы голышом.

Валя засмеялась.

— Слушай, ты же симпатичная девушка, держи только себя поостроже, а?.. И что ты себе такое в голову вбила, я тебя, конечно, могу отпустить — слышала, наверное, к нам на стройку тысяча комсомольцев приезжают?.. Людьями мы не нуждаемся. И вообще я против того, чтобы кого-то держать силой. Предупредил за две недели — получай расчет... Работника я всегда найду. Но куда тебе такой ехать? От себя не уедешь... А потом самое трудное позади, скоро стадион здесь вам построим: летом — волейбол, танцы, зимой — каток... Молодежь придет, студенты. Весело будет...

— Пойдем, — сказала Сима.— Проповедь началась!..

В комнате у них было уже жарко натоплено, пахло теплой сыростью от вымытых полов и от кастрюли, парившей в духовке. Катерина налила в эмалированный таз кипятку, разбавила, попробовала локтем, потом сняла с Николинки распашонку. Вода в теплой воде расслабленными ручками, девчонка поднимала дрожащую на тонкой шее черную головку и молчала. Катерина слегка потерла ее мягкой тряпочкой, потом намылила и велела Даше поливать, сама осторожно, мякишами пальцев, водила по мягкому темечку. Кругом молчаливой стеной выстроились девчата.

Скоро Николинке показалось обидным, что с ней так бесцеремонно обращаются, и она заплакала по-младенчески пронзительно и однотонно, требуя, чтобы прекратили наконец это безобразие. Это безобразие прекратили, девчонку вытерли и запеленали, но она продолжала орать, пока не ткнулся ей в рот теплый сосок, тогда девчонка крикнула еще два раза, чтобы не думали, что ее так легко утешить, затем жадно торопливо зачмокала, глаза закатились под веки, тельце обмякло.

Пока Даша кормила Николинку, Катерина и Сима сдвинули две койки, между ними поставили табуретки, накрыли чистыми полотенцами. В честь нового члена их общежития нужно было дать банкет.

— Николинка?.. Эть чье же имя, вроде не наше,— спрашивала тетка Нюра, прихватывая беззубым ртом кусок рыбы.— Татарское, что ли?

— Почему?.. Славянское! А чье — не знаю, то ли болгарское, то ли чешское, то ли сербское... Не все ли равно!

— Дашутка, неуж она когда станет большой? — удивлялась Настёнка.— И не верится. Не человек ведь еще, так, червячок...

— Типун тебе, трепло ты эдакое! — замახнулась испуганно Катерина.— Болтает, не знает что...

Дверь отворилась, вошли Петр и Ефимка, стали раздеваться у порога. За ними, процокав когтями по полу, вошла низенькая черная собака, вопросительно взглянула на Петра и, потоптавшись, легла у печки.

— Хлеб-соль! — приветствовал Петр.

— Свой еди-им! — отозвалась тетка Нюра и подвинулась на койке.— Тольки вас у нас не хватало. Еще кобеля с собой притащили! Чай, здесь дите.

— Сука это,— сказал Петр.— Она чистюля, краше нас — где воду увидит, сейчас купается. Такса максимовская приبلудилась ко мне: уехали, а скотинку бросили...

— Видно, торопились! — усмехнулась Катерина.— Ладно, пусть ее лежит. Садитесь, мужики, с нами.

Мужчины присели. Катерина налила им в стаканы водки, они разом выпили, потом потянулись вилками к банкам с консервами. Петр подцепил сизый кружок лука и, поймав его толстыми губами, сочно захрустел, обмакивая в соль кусок черного хлеба. Ефимка тоже подцепил кружок и тоже захрустел, утирая тыльной стороной ладони выдавившиеся на глаза слезы.

Он вытянулся за зиму, окреп, разговаривал басом и во всем подражал Петру. Сейчас сидел так же, как Петр, уперев свободную руку в колено, лениво развернув плечи и выставив грудь. У него так же небрежно свисал на черные брови чуб, так же, как у Петра, зашершавели широкие ладони, только лицо было юношески мягко и смугло, над пухлыми губами темнел пушок.

— Дашутка, покажи девочку,— попросил Петр.

— Узнать хочешь, не твоя ли? — хихикнула Поля, стрельнув на Ефимку быстрым взглядом.

Но Ефимка, отвалившись к стенке, смотрел только на Настёнку, а та, краснея и посмеиваясь, пряталась за Симу.

— Может, моя будет.— Петр подошел к Дашиной койке, присел на край и долго глядел на спящую Николинку.

— Маленькая... Тоже человек...— вздохнув и почесав свой пыльный чуб, произнес он потом и смущенно посмотрел мимо Даши.— Дышит как часто, будто бежала... Брови черные. Дашутка, правда, не моя ли?..

— Общая! — отшутилась Даша, толкнула Петра в плечо.— Кончай висеть над девкой: микробы ведь!

Кто-то аккуратно прихватил Дашу за ногу, она, вздрогнув, обернулась. Такса стояла возле, держала ее за щиколотку, медленно стискивая челюсти. Хватка у нее была железная.

— Петя!

— Оставь, Боза! — серьезно сказал Петр.— На место иди.

Такса послушно разжала зубы, кашлянула, выплевывая невидимые пылинки, которые она собрала с Дашиных чулок, и пошла к печке, вихляясь мягким телом.

— Ишь барахло! — удивилась тетка Нюра.— Заступается, значит, как бы не обидели детинушку здорового!

— С вами держи ухо востро! — согласился Петр и набрал консервов на кусок хлеба.— На-ка, Боза!

Такса привычно села столбиком, взяла хлеб и благодарно ткнулась носом Петру в руку. Глаза у ней были серьезные и влюбленные.

— Голодала она сильно, когда подобрал я ее,— объяснил Петр.— Попрошайничать у столовой не обучена — едва не подохла!

Вошел Миронов, за ним Валя. Даша отодвинулась от Петра, напряженно распрямила плечи.

— Здравствуйте, девушки! — поздоровался Миронов.— Эх, как у вас тут весело!.. Анна Павловна, мы договорились, значит, с этой девушкой, что она пока, слушайте, работать будет. Там посмотрим...

Будто невзначай взглянул через Петра на Николинку, скользнул по Даше взглядом — и вышел.

Валя долго поглядела ему вслед, постояла, то ли собираясь с мыслями, то ли ожидая, что и ее пригласят к еде. Никто ничего не сказал, Валя пошла к выходу. Даша ревниво отвернулась.

Нелепый ты, Дашка, человек — ведь решила же, что Миронов был не прав, да в придачу еще некрасиво груб и бестактен? Осудить и сделать соответствующие железные выводы — так, кажется, поступают все нормальные женщины?.. Она покорно оправдывает, замазывает, торопясь, старается позабыть голос и слова, вовсе не идущие облику мягкого стеснительного человека, какого она себе прочно придумала. «Табуреткой перешибу!..»

Хорошо, а как бы тебе хотелось? «Лёля, при детях!..» — и, болезненно сморщившись, закрыть уши?.. Даже теперь она помнит интонацию и выражение отцовского лица, даже сейчас оплескивается все изнутри горячим от жалости, обиды и унижения. Нет, уж лучше «табуреткой перешибу».

Наверное, и правда лучше: вон как светится девчонка, смотрит в себя влюбленными глазами... На самом деле, куда Вальке ехать? Когда тебе хорошо,— пожалуйста, живи один, но когда плохо, должно быть среди людей. Никто, как Иван Игнатьич, не знает это...

Отпуск летел быстро. Утром, после того как все уходили на работу, Даша вставала, убиралась в комнате, шла гулять с Николинкой и возвращалась лишь к вечеру, когда надо было вскипятить девчатам чай и истопить печку.

Николинка быстро стала привычным и полноправным членом общегития, с ней нянчились наперебой не только свои, но и девчата из других комнат. Если же она начинала кричать и долго, несмотря на укачивания, не засыпала, поднималась тетка Нюра и, взяв ребенка у расха-

живающей по комнате Даши, ворчала сердито: «Не хотела спать лежа — спи стоя!» Развернув Николинку, приспособливая ей на живот теплые тряпки с распаренными травами, бормотала какие-то наговоры, и девчонка, то ли накричавшись, то ли от этого тети Ньюрино колдовства, засыпала.

— Таскайсьи ты днем дело не в дело! — ворчала тетка Нюра. — Чай, мочится она, простынет, гляди! И ты грудь застудишь — на воле кормишь.

Но Даша продолжала «таскаться». Побывав у своих девчат, которые опять подсобничали печникам на домах, Даша уходила за поселок. Пересмеивалась со знакомыми шоферами, смотрела, как экскаватор скребет ковшом суглинистый с дресвой обрыв и, лягнув днищем, грохает полкуба грунта в кузов самосвала.

Между валунами на берегу Сони уже пробился тоненький лучок. Даша жевала его, пропитываясь острыми и пряными, как запах пота, таежными ароматами. Стояла серая весна. Грузно осел запыленный березовым семенем снег, кое-где, среди коричневых подпалин мха, раскрыли длинные темно-голубые лепестки низенькие цветы. Были они пахучие, нежные, покрытые котеночьей серой шерсткой, ядовитые. Сонтрава — назывались эти цветы в определителе Маевского.

Но Даше не хотелось их рвать. Тупо поглазев на ленивую голубизну, она шла дальше. И в награду за эти метания, за торопливый олений бег, ей встречался на дороге мироновский газик. Кивнув в ответ на приветствие, Даша возвращалась в поселок.

Однажды газик остановился. Миронов открыл дверцу, опустив на подножку ногу, туго натянувшую голенище сапога.

— Даша? Садитесь, я подвезу вас.

— Спасибо, я лучше пешком.

Миронов высунулся весь, долго поглядел на нее, потом прыгнул на землю.

— Я пройдусь тоже. Поезжай, Анатолий.

Он молча пошел рядом с ней, иногда задевая ее шинелью, взглядывал на нее сверху. Даша видела себя будто со стороны: серенькое замерзшее лицо, серые веснушки, грубый вязаный платок съехал на косу, рыжие толстые волосы вяло выютя на висках, глаза в рыжих ресницах...

— Гляди...

Миронов взял ее за руку и, перешагнув через кювет, вывел к Сони. Садилось солнце.

Плыли зеленые льдины, шел широкими разводами красный свет. По сопке на той стороне Сони полз розовый рыхлый снег, бесшумно касался воды и пропадал. Мягко гудел влажный воздух.

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, я весной забирался на высокую сопку, становился, скрестив на груди руки. Вот так. — Иван Игнатьич показал. — И смотрел, как садится солнце. Мне казалось, что я очень великий человек и все могу.

Когда они вошли в поселок, из крайнего дома вышел Плитич. Даша с того памятного разговора избегала встречаться с Плитичем, по-видимому, и он не стремился к встрече: издали заметив, сворачивал в сторону. Как-то она столкнулась с ним в столовой: старик шел от раздачи, неся тяжелый поднос, — глаза глядели перед собой, лицо, как всегда, было мягко сосредоточено, в себе. То ли он не увидел Дашу, то ли сделал вид, что не увидел.

Сейчас Даша опустила глаза, думая, что старик, как раньше, пройдет мимо. Но Плитич шел прямо к ним. Даша виновато потупилась.

— Здравствуйте, товарищ начальник, — поздоровался Плитич с Иваном Игнатьичем, потом взглянул на Дашу. — Здравствуй. Покажи девочку.

Даша отогнула уголок простыни. Плитич заглянул, потом снял ушанку.

— Знак у ней есть,— сказал он удивленно.— Между бровями звездочка.

Действительно, между бровями у Николинки было красное родимое пятно. Сразу после родов оно бросалось в глаза, особенно багрово краснело пятно, когда девочка плакала. Даша сильно огорчалась по этому поводу. Но теперь пятно побледнело. Даша о нем почти позабыла, а старик увидел.

— Знак...— задумчиво и удивленно повторил Плитич, медленно поклонился в пояс, мелькнув сивыми кудрями, надел ушанку.— Сына ее люди ждут, береги дитя...

Он пошел своей дорогой — тихий сумасшедший, а Даша сердито поправила уголок простыни, закрыла дочке лицо.

— Не бойся,— Иван Игнатьич дотронулся до ее плеча.— Блаженный он... Не бойся.

Иван Игнатьич задумался и замолчал, шел дальше, шумно отпыхиваясь, не глядя на Дашу. Возле общежития они расстались. Даша пошла домой, а Иван Игнатьич отправился в контору.

Густо синеющий в коротких ресницах глаз вдруг замер, забившись в уголок, и оставался так, чуть подергиваясь, белея роговицей. Потом головка медленно повернулась — оба глаза осмысленно и прямо уставились на Дашу. Расплылся, розовея деснами, большой рот.

Даша крепче прижала теплое тельце, заулыбалась, жадно удерживая взглядом эти установившие с ней человеческий контакт глаза. Они будто спросили: «Так это ты моя мать? Хорошо...»

Николинка снова перевалила головку набок, продолжая сосать, но темно-синий глазок то и дело скашивался, нащупывал Дашино лицо, рот распускался в улыбке. Человек получил от жизни новое ощущение и осваивал его.

Даша положила Николинку на койку, думая, что та, как обычно, заснет, но девчонка не хотела спать. Она лежала на сером байковом одеяле розовой, туго запеленатой куколкой, и ее чуть вытянутая к затылку длинноволосая головка медленно поворачивалась вслед за взглядом, скользящим по стенам. Вот глаза нашли на потолке теплое желтое пятно от лампы, зацепились за него; насупились тонкие бровки, поднялись спеленатые ножки, рот выдохнул:

— Гха... Гу-у...— И загулило, запело горлышко, заулыбалось лицо, задергались под пеленкой ручки. Даша снова распеленала ее, пусть погуляет.

Девчата расселись на койках, следили за Дашей и Николинкой с необыкновенным вниманием. Распльвался беззубый рот младенца — распльвались, словно отражая эту ухмылку, губы у девчат, вырывался обший, как вздох, смешок.

— Любишь ее, Дашка? — спросила Сима.

Даша отодвинулась от дочки, смущенно улыбнулась.

— Каждую минуту за нее страшно... Есть рыбы какие-то, которые своих мальков во рту носят,— и я бы так!.. Окружить бы ее собой — бо- леть бы вместо нее, огорчаться — все бы плохое принять на себя...

— Вроде, как можно больше себя кого любить?..— удивилась Сима.— Нет, можно. Я и то ее люблю. Гляди, платьице шью: летом уже надеть можно будет.

Сима приподняла двумя пальцами свое шитье и показала: крохотное, словно на куклу, ситцевое платьице с оборочками, бантиками, завязочками... Надень — и будет уже Николинка девочка...

— Ты ей байковое шей! — попросила Настёнка. — Потеплее станет, можно надеть, а ножки запеленать. Так всегда делают.

— Сошью — на два дня работы!

— Росла бы скорей! — сказала Катерина. — Обрядим, как игрушку — рук вон сколько! Не дождусь, когда она сидеть будет... Потом — на ножки встанет, потом заговорит. Господи!..

Девчонка наигралась и заснула, будто на полуслове, развалив обмякшие ручки и ножки. Даша запеленала ее, села, положив подбородок на спинку койки. Спать еще не хочется, гулять тоже не хочется, в клуб идти не хочется...

— Входите, не заперто — кто там?

Подавив робость и дрожь в ногах, Даша толкнула дверь. Иван Игнатич лежал на койке поверх одеяла в нижней белой рубашке, расстегнутой на груди, и в синих форменных брюках. Он удивленно и торопливо сел, протянул руку за кителем, сунул ноги в тапочки. Провел ладонью по седым, коротко стриженным волосам.

— Проходите, я оденусь сейчас.

— Да вы лежите. Я так... Я сейчас уйду.

— Ну да, уйду...

Он надел китель, opravил койку.

— Раздевайся, тепло тут... Слушай, я ведь так рад тебе, ты же знаешь...

Он помог ей снять телогрейку и платок, положил удобнее подушку, чтобы Даша устроила на ней Николинку, ушел на кухню кипятить и заваривать чай.

Даша осмотрелась. Шинель на гвозде возле двери, чемодан под койкой, сапоги в углу. Стол, заваленный чертежами, схемами, нарядами, какими-то справочниками. И все. Нет, вон еще тумбочка — на ней зеркало, бритвенный прибор, мыло, паста, зубная щетка. Один стакан. В тумбочке нитроглицерин, и в бумажном кульке — слипшиеся коричневые конфеты «Бим-Бом». Вот теперь все... У нее самой не больше барахла, но ведь этот человек подходит к закату жизни...

Они молча и с наслаждением пили чай. Чай был горячий, темно-красный, горько и терпко сушил горло. Иван Игнатич сидел на койке, положив руку на спеленатые ножки Николинки, откинувшись к стене.

— Хорошо-то как, слушай, — сказал он вдруг, поднимая на Дашу глаза. — Просто будто время остановилось, так хорошо...

Даша кивнула. Чувствовала она себя сейчас маленькой, зависимой и тревожно счастливой. Она не желала ничего больше, чем было. Просто сидеть, уткнувшись взглядом в стакан, прихлебывать потихоньку чай и знать, что он здесь.

И не стыдно, не унижительно быть глупее, слабее его — конечно, не стыдно, и какое счастье, что не надо пыжиться, выдавая себя не за то, что ты есть. Слабая, глупая, некрасивая — пусть. Ты нужна ему — и это все. Пожалуйста — можно даже чистить ему сапоги и зашивать шинель, не ожидая, когда он почистит тебе туфли, потому что с ним не надо считаться — он давно сделал больше: Даша живет здесь меньше года, просто живет — и это кажется ей едва ли не подвигом. Он уже лет двадцать думает и заботится о таких, как она, как Валька, Сима...

«Это, конечно, вы правильно говорите — умереть для людей. Верно — не жалко, а даже сладко. Бывают моменты...» — сказал ей как-то Иван Игнатич. — Только, слушайте, командира эскадрильи, Героя Советского Союза, спросили однажды, как, мол, он относится к таранам? «Подвиг! — отвечает. — Героизм и самоотверженность». — «Значит, вы в своей эс-

кадрилье тараны пропагандируете?...» — «Нет, что вы! У меня ребята точной стрельбе учатся...»

Умереть для людей легко. Жить для людей трудно...

И еще думалось Даше, что в общем-то она только-только начинает жизнь. Какая у нее биография? Нет биографии... Все кажущиеся ей сейчас тяжелыми, непереносимыми события последних полутора лет уместятся когда-нибудь в ее рассказе в одну фразу: «...А ты родилась на той дороге, где погиб мой брат». Подобно, как отец говорил: «У нас в Томске гора самоубийц была, там брат застрелился...» Любимый младший брат Андрей, мать после этого слегла и так и не встала, — но отодвинулась эта трагедия, уплотнили ее последующие события жизни, революция, гражданская война... Конечно, для машинистки Туси даже поломка машинки — событие памятное. Но у всех простых нормальных людей жизнь плотна серьезными происшествиями, как кусочек урана атомами... Не ей судить отца — прав Василий. Покуда не совершила она ничего такого, чтобы самой хотя бы стало ясно: если что — устоит перед ударами судьбы, поведет себя так, как надо. Не совершила она таких поступков, не ей судить отца.

Иван Игнатъич сидел, неудобно опершись локтями в матрас, откинувшись к стене. Закрывшись бровями. Изредка приподняв брови, он взглядывал на Дашу. Даша грела руки о стакан, зависимо и счастливо улыбалась.

Проснулась Николинка. Даша покормила ее, потом развернула, чтобы сменить пеленки.

— Дай мне ее, — попросил вдруг Иван Игнатъич.

Накинув на спинку дочке сухую пеленку, Даша положила девочку в ладони Ивану Игнатъичу. Он стоял посредине комнаты, расставив ноги и согнувшись, смотрел на темноглазого большелобого младенца, шарящего в воздухе маленькими руками. Лицо Ивана Игнатъича было потрясенным и нежным.

Поселок быстро благоустроивался, приобретал давно обжитый, цивилизованный вид. Наставили столбов с белянькими изоляторами — дали во все дома ток от «жээски», настелили мостки: на танцы девчата теперь прямо из дома шли в туфлях. А когда на площадке за поселком, где по плану должен был разместиться стадион, подсохла земля, устроили воскресник.

Светило солнце, играли аккордеон и два баяна — было празднично, как всегда на воскресниках. Большинство пришедших ровняло за самосвалами грунт, потом его укатывал каток. Остальные рыли ямы под столбы для ограды. Даша с Симой тоже рыли ямы, дело это было привычное.

Солнце поднималось все выше, девушки сбросили рубахи, работали в майках, принимая на плечи первый загар. Даша удивленно вспоминала: полгода назад шумела тайга, а теперь большой поселок, стадион... Будет куда сбегать в волейбол поиграть, поболеть возле футбольных ворот, а зимой здесь зальют каток...

Подшло и остановилось неподалеку начальство, с довольными лицами слушали музыку, следили за работающими, неторопливо переговаривались, кивая головами. Приехали Сахаров, Емельянов, еще кто-то из управления. Тут же стоял Иван Игнатъич с хмурым озабоченным лицом, заложив руки за спину.

Емельянов скинул пиджак и взял у Настёнки лопату, начал ловко ровнять углы ямы, что-то шуточно говорил, блестя золотым зубом. Настёнка, краснея, наклоняла голову, смеялась.

Вразвалку подбрел какой-то незнакомый парень с бритым затылком,

на шею болтался крест на цепочке, поверх выреза майки широко синела накладка: купола соборов.

— Ну чего тебе, Архимандрит? — спросил Емельянов. — Дал я направление — чего ты еще хочешь?

— Не принимают тут меня, гражданин начальник.

— Не нужен бульдозерист, есть, — подтвердил Иван Игнатьич.

— Возьми на другие работы! Парень с правами — неужто, понимаешь, не сумеешь использовать?..

— Вот именно, с правами надо использовать по специальности. За чем же, слушай, на других работах?

— Бойтесь, гражданин начальник! — Архимандрит сплюнул в сторону, передернув плечом. — Думаете, из таких мест я — порядку не знаю?

— И боюсь, — согласился Иван Игнатьич. — Пользы от тебя может быть мало, а вреда много. Тебе, парень, поначалу надо в городе устроиться работать. Там легче освоиться.

— К милиции ближе... — усмехнулся Архимандрит, потом спросил: — Не знаете случайно, гражданин начальник, какая есть Даша Леонтьева? Сказали мне — тут она.

Даша удивленно выпрямилась; услышав свою фамилию, встретила взглядом с Иваном Игнатьичем. Тот поднял брови, неуверенно сказал:

— Вон, рыженькая... А милиция, слушай, тебе не мешает. У нас тут народ серьезный, свои порядки.

— Медведь — прокурор! — подхватил Архимандрит. — Благодарю, гражданин начальник, у меня к этой девочке дело есть...

— Мы помозгуем, как с тобой быть, — солидно перебил его Емельянов. — Надо, Иван, больше доверять людям.

— Надо...

— А то, понимаешь, нехорошо получается — к кому всей душой, к кому задницей... Ровнее надо работать... — Емельянов, посменываясь, смотрел голубыми глазами на нахмурившегося Ивана Игнатьича. — А ты, друг, покрутись тут несколько дней... Мы обмозгуем.

— Это можно, гражданин начальник...

Архимандрит, улыбаясь, подходил к Даше, и та уже знала, от кого поручение. Утомленно поскуцнела.

— Здравствуй, девочка! — приветствовал Архимандрит, скользя по Даше взглядом. — Подарочек у меня есть. Держи! Рада? За ответом приду, не забывай меня...

Он бросил ей треугольником сложенное письмо и дружески подмигнул.

Даша присела на край ямы.

— От твоего? — Сима сочувственно обхватила ее за плечи. — Сразу как померла — позеленела аж!

Иван Игнатьич тревожно следил за ней, Даша наклонилась, будто подбирая что-то на дне ямы, сунула письмо за пазуху. Когда она выпрямилась, Емельянов, хохотнув, что-то сказал Ивану Игнатьичу. Тот гневно вспыхнул, стиснул за спиной пальцы, резко повернулся и пошел к поселку. Начальство двинулось следом.

«Здравствуй, бесценная моя девочка!.. Шлет тебе привет знакомый Николай. Не знаю, помнишь ли ты меня или уже давно думать позабыла, а я тебя помню и никогда не смогу забыть...»

Дочитав, Даша смяла записку, ответила на вопросительный взгляд Симы.

— Не забыл — пишет. На том спасибо...

Работали на стадионе до обеда, потом пошли по домам. Девчата валялись по койкам, блаженно отдыхая. Даша тоже лежала на койке, иг-

рала с распеленатой Николинкой: пригбала ей ножку ко рту и отпустила. Та хохотала, закатываясь. Как немного надо этому человеку, чтобы быть счастливым! Сытый, сухой, мать рядом — и хохочет, заливаясь, показывая розовые десны...

Николай подробно рассказывал о своем житье, описывал, как мечтает, чтобы Даша приехала к нему на свиданье, потому что, хотя дружки и могут прислать ему девочку, как тысяча и одна ночь Шехерезады, но, кроме Даши, ему никто не нужен. Он писал еще ласковые непристойные слова, вспоминая подробности их взаимных ласк, и Даша сердито и униженно сжималась внутри, понимая, что Архимандрит прочел записку. Память ее брезгливо не отзывалась, равнодушно молчала плоть.

Только время может что-то загладить. Нужно просто терпеливо ждать, пока пройдет достаточное количество лет, которые сровняют содеянное по глупости...

Даша еще раз перечитала записку, смяла ее и сунула под подушку. Не казнить же теперь всю жизнь — смешно. Отец — и тот вон все «новую жизнь» начать собирается, а ей и подавно не поздно. Отдаст Николинку в ясли, будет опять работать, а там видно будет. Может, еще и учиться поступит куда-нибудь на заочное. Вон Катерина послала документы в Инской железнодорожный техникум...

Постучали. Вошел Иван Игнатьич, остановился у двери. Даша замерла, не зная, то ли пригласить его пройти, то ли молчать: а может, он за чем-нибудь к тетке Нюре пришел?

— Здравствуйте, девушки,— сказал Иван Игнатьич.— Я к тебе, Даша, можно?

Сима поставила табуретку возле Дашиной койки, пригласила.

— Садитесь, пожалуйста, Иван Игнатьич! Проходите.

Иван Игнатьич согласно кивнул, снял фуражку и опустился на табуретку. Даша, перебравшись через Николинку, села на койке.

— Ну как, слушай, твои дела? Беспокоился я очень.

— Ничего... Это ерунда все, вы не думайте.

— А я рано утром в Соньск с Сахаровым уезжаю, не мог не зайти... Неприятности у меня...— добавил Иван Игнатьич, помедлив.

— Неприятности?

— Да... Утрясется, слушай, расскажу...— Иван Игнатьич поднялся, нахлобучил фуражку, застегнул шинель.

— Что привезти из Соньска, девушки?

— Конфет шоколадных! — сказала Поля.

— Куклу нашей дочке! — восхищенно крикнула Настёнка.— Только самую большую, с закрывающимися глазами и настоящими ресницами!..

— Сама пока играть будешь? — спросил Иван Игнатьич и подытожил.— Значит, конфет и куклу?..

— Разделяйтесь с неприятностями,— сказала тетка Нюра,— да возвращайтесь. Без гостинцев примем.

Иван Игнатьич задумчиво кивнул и вышел.

— Емельянов под него копает...— объяснила Катерина.— Слышала я. Ревизоры дела проверяют: финансовую дисциплину наш Иван нарушил.

— Не могут люди терпеть, чтобы жил такой человек безбедно!..— сказала тетка Нюра.

Вечером, оставив Николинку спать под присмотром тетки Нюры, Даша пошла в клуб. Надо было рассеяться, отвлечься от тоскливых дум, от них все равно никакой прибыли — только руки опускаются.

Она танцевала то с одним, то с другим знакомым шофером и с ленивым удивлением понимала, что нет для нее теперь мужчин на белом свете. Красивые бравые ребята, лихие шоферы — а она танцует словно заведенный манекен, даже не слышит, что ей говорят. Села на лавку

рядом с Настёнкой и Ефимкой и увидела, как пробирается сквозь толпу Архимандрит. Еще издали протянул руку, спросил утверждающе:

— Потанцуем.

Даша качнула головой.

— Не хочу, устала.

— Ты, цыпленок?..— Архимандрит взял за плечо Настёнку.

— Не пойду. Ефимка! — Настёнка вырвалась, Ефимка встал, сунув руку в карман пиджака, словно заправский блатной, сказал угрожающе:

— Не трожь их!

— Брезгуете, суки подзаборные? Гордитесь? — Архимандрит длинно выругался.— Ладно, я вам докажу...

Ефимка и два шофера взяли его под руки, подталкивая к выходу.

— Пустите, гады, сам уйду!..— Архимандрит вырвался и пошел к дверям, по-собачьи вихляя задом.

Даше вдруг стало невыносимо тоскливо и скучно, захотелось уйти и лечь дома, но она заставляла себя сидеть, рассеянно слушать болтовню Настёнки о том, что на стройку, по комсомольскому призыву, скоро придет тысяча комсомольцев.

— А-а-а! — донесся с улицы крик.

Даша первой вскочила и, прорвавшись сквозь тесноту танцующих, побежала к общежитию. Скинула дорогой мешающие туфли.

Возле их дома уже стояла толпа, суетились, заламывая руки, женщины. Пробившись вперед, Даша увидела бульдозер, который, странно высоко задрав нож, толкал угол их дома. Один щит начал, хряпнув, отдираться, посыпалась глина. В кабине маячил бритый затылок Архимандрита.

— А-а-а! — рванувшим навыворот легкие голосом крикнула Даша и бросилась под нож, распахнув руки, загораживая собой стену. Там, за этим щитом, спала на койке Николинка.

...Случайно подойдя на крики, Иван Игнатьич не сразу сообразил, зачем бульдозер с настойчивостью пьяного отдирает у дома щит. Разглядел в кабине приезжего бульдозериста, услышал Дашин вопль, увидел ее, точно распятую на изуродованной стене, ожидающую толчка ножа. Взял воткнутый в бревно топор, заскочил на гусеницу, рванул дверцу — не сильно ударил обувком. Бритая голова ткнулась в спинку сиденья. Иван Игнатьич потянул рычаг, бульдозер смолк и остановился.

10. И последняя...

Рвались и перестали рваться бомбы в Суэце. Шестьдесят четыре делегации проголосовали за то, чтобы не польхал огонь над древним песком пирамид, над священной землей Палестины...

Невесело острил англичанин Пилкинтон, что он и его друзья намерены создать ассоциацию пользователей каналом Кеннет-Эйвол. «Как пользователь каналом Кеннет-Эйвол я был глубоко возмущен, когда некоторое время тому назад английское правительство национализировало этот канал, не спросивши предварительно моего разрешения и даже не проконсультировавшись со мной...»

Голос кардинала Миндсенти нес нации пастырское послание, через австрийскую границу шли хортисты и танки...

Иван Игнатьич сидел в кресле перед распахнутым окном, вертел ручку приемника. Зеленый луч в глазке то расширялся, то сужался в ниточку. Как и всем, Ивану Игнатьичу не хотелось умирать, но он приучил себя не думать о смерти. «Когда я есть — ее нет,— когда она есть — меня нет...»

Иван Игнатьич взял со стола пояснительную записку к годовому бухгалтерскому отчету — он приехал с ней в министерство, — перелистал. Какие тоненькие стали эти пояснительные записки — только по одному объему ее можно понять, что дела на стройке идут хорошо. Со всем недавно эти записки были очень пухлыми, в них обстоятельно докладывалось:

«...В первом полугодии по-прежнему чувствовался недостаток жилья, вернее — его почти не было. Рабочие из-за необеспеченности жильем, отсутствия обуви и одежды не выходили на работу. Только по указанной причине в I квартале было потеряно 51 126 человеко-дней, или 36% всех неявок на работу...

...На стройку прибыла значительная часть командиров, не имеющих производственного опыта... Огромна была текучесть комсостава: начальник поезда Ашикманов снят за пьянство и растратирование материалов, привлечен к суду, главный бухгалтер Хабратов пьянствовал, запутал учет и отчетность, в результате дезертировал.

В IV квартале года многие рабочие не имели жилищ, т. е. значительная часть сборно-щитовых домов прибыла с опозданием на полгода. С большим опозданием прибыли лес, кровля и другие материалы, в том числе экскаваторы.

Кроме того, в мае двадцать девять дней было дождливых, в июне — семнадцать, бездорожье, автотранспорт не ходил. Отсыпка земляного полотна фактически не производилась...»

Да, все это было — куда денешься от истории? Война — как долго еще слышны были ее последствия по всей стране, по всему, куда ни сунься. Не хватало стройматериалов и техники — она шла на восстановление разрушенных городов и промышленных предприятий.

Люди... Кто тогда ехал к нему на стройку? Полубеспризорные-полудетдомовцы, их осиротила война. Уголовники — в надежде, что у правосудия до медвежьих углов руки не дойдут. Летуны — сорвать деньгу: обесцененный рубль в этих местах раздавался щедро.

Теперь стройку не узнаешь — потому так тонка пояснительная записка, нечего оправдываться: план перевыполнен, качество работ хорошее и отличное. Техники хватает, стройматериалов достаточно.

А народ? Люди тоже стали другими, — или ему кажется это?.. В толпе приехавших по комсомольским путевкам вчерашних десятиклассников как-то потерялись — или просто подтянулись до общего уровня — его побывалые, неробкие на язык и на поступки девчата и парни... Одеваются чище и лучше, поют вместе с новенькими их песни. В общем, конечно, никому не хочется быть хуже других...

Иван Игнатьич усмехнулся, вспомнив шумный свой поселок. Птицеферма... Да, прибавилось, конечно, ему с этой ребятней забот, но другие это заботы, приятные...

Он шелкнул ручкой — глазок погас. Иван Игнатьич вспомнил Леонтьева и стал думать о том, что нелегко устоять перед временем и событиями. Забывая, что сам устоял перед ними, к старости оставшись более верным себе, чем когда был молодым и не умел еще как следует отличать главное от неглавного.

Потом вспомнил, как после окончания института он ходил с изыскательной партией в тайге. Им сообщили, что нужно ехать на какой-то слет в Красноярск — и они вышли в цивилизацию заросшие бородами, оборванные, одичавшие. Молоденькая секретарша начальника приняла в них деятельное участие: разыскала на складе магазина какие-то очень приличные по тому времени костюмы, помогла купить разную мелочь — от рубах до носков и галстуков — едва ли не за руку водила по поселку: в баню, в парикмахерскую, в столовую — преобразуя неуклюжих таежных медведей в цивилизованных юношей. За два дня она так привыкла

к ним, что укатила следом в Красноярск. После совещания Иван ушел с ней на Енисей, они плавали ночью наперегонки, борясь с могучим течением, а потом до утра просидели, прижавшись друг к другу, целовались. Была она, эта девчонка, некрасивой, не очень умной — никакой... Женись он на ней — не было бы в его жизни Ани и всего с ней связанного. Но ему желалось и ждалось тогда необычного, останавливающего глаз и ум. Он еще не понимал, что в человеке главное не то, что броско отличает его от прочих, — как правило, это внешнее и трудное, — а то, чем человек похож на остальных людей. В человеке главное — человеческое...

Ну что ж, а все-таки под конец жизни ему щедро плеснули счастья. И хорошо, что именно он попался Даше на дороге беды — надежное плечо, опершись на которое она передохнет, чтобы двигаться дальше. Он прекрасно понимал, что скоро она уйдет дальше...

Иван Игнатьич думал о том, что у нас непременно должен быть культ ребенка, потому что дети — это будущее поколение, от них зависит свершение надежд умерших уже теперь мечтателей. Он вспомнил, как, впервые взяв Николинку, захлебнулся, неожиданно ощутив ладонями Человечка. Крутилась, переваливаясь с боку на бок, головка с вытертыми на затылке волосами, темные глазки скользили по его лицу, руки тянулись потрогать. Чудо природы, живой человек лежал, целиком умещаясь в его ладонях, словно Адам в ладонях бога.

Еще Иван Игнатьич думал, что если по чьему-либо преступному безрассудству землю потрясет взрыв, то там, в стороне от населенных пунктов, уцелеет, сохранится темноглазое зернышко с пятном между бровями. Сохранится, прорастет, от него вновь взойдет посев на ниве России...



4 октября этого года исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения автора текста «Интернационала» — Эжена Потье (1816—1887).

Песни Эжена Потье были активнейшим средством революционной пропаганды. Сборник, выпущенный в год смерти поэта (в нем впервые был напечатан текст «Интернационала»), недаром называется «Революционные песни».

В. И. Ленин в статье, посвященной 25-летию со дня смерти Потье, писал в нелегальной «Правде» (1913): Потье «...оставил по себе поистине нерукотворный памятник. Он был одним из самых великих пропагандистов посредством песни».

В литературном наследии поэта-революционера еще немало ярких произведений, неизвестных советскому читателю. Песня «Давильня» публикуется впервые.

Давильня

Осенних дней, когда-то синих,
Лазурь мутна... Сентябрь, прости!
Эй, сборщицы! Пора в корзинах
В давилню гроздья отнести.
Вот выливают в чан бродильный
Весь выжатый из гроздьев сок...
Теперь лежат они, бессильны...
Как путь их жертвенный жесток!

Воспеть нам мучеников надо,
Тех, кто пожертвовал собой.
Хвала вам, гроздья винограда,

За то, что сок вы дали свой!
«Где гроздья? Кровью истекают! —
Лоза промолвила, скорбя. —
Их топчут, мучают, пытаются,
Под прессом давят их, губя!»
Лоза ошиблась: гроздья живы,
И ждет их радостный удел:
Их к жизни новой и счастливой
Сумеет вызвать винодел.

Их сок, в агонии пролитый,
Народ усталый подбодрит.
Напиток, гением добытый,
Все человечество пьянит.
Хоть не воздвигли мавзолея
Всем, кто был в жертву принесен, —
Сократу, Гусу, Галилею, —
У нас в крови — их Пантеон.

Да, сладостным любовным спазмам
Их дрожь предсмертная сродни.
Опьянены энтузиазмом,
Наш мир покинули они.
Презрели эшафот кровавый
И те, кого скосил Террор,
Чьи головы роняла Слава
И жирондистов злобный хор.

О, верь надежде неизменно,
Придавленный, как прессом, класс,
И те, что сосланы в Кайенну, —
Вы — выжимки народных масс!
Коль Настоящее бесплодно —
Из чаши Будущего пить
Стремимся мы душой свободной,
Ту чашу вам дано налить!

Когда придут дни вандемьера —
Любовь, и знанья, и вино
Польются щедро и без меры
Для всех, кто жаждет их давно.
Распятый некогда, расправит
Вновь руки радостно Христос,
Сойдет с креста, затем поставит
Его подпоркою для лоз.

Воспеть нам мучеников надо,
Всех, кто пожертвовал собой.
Хвала вам, гроздья винограда,
За то, что сок вы дали свой!

*Перевел
ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВ*

За горизонт

Сквозь кузнечиков тонкий,
Как травинка,
Трезвон
Не зову к горизонту,
А за горизонт.

По морям, по долинам,
Как неправый закон,
Искривленностью линий
Замывается он.

Так отчаливай снова
И плыви, Робинзон,
Каждой мыслью и словом
Только за горизонт.

Будто трубы запели,
И стремян перезвон.
Это кинулись к цели —
Прорвать горизонт,

И судьба-амазонка,
Обскакав гарнизон,
Понеслась к горизонту
И за горизонт.

• • •

Через сады и огороды
Ушел неведомо куда.
На негативном небосводе
Плеснулась первая звезда.

Трава и звезды...
Что иного?
Трава и звезды, и трава.
Об этом не скажу ни слова.
Лежат ничком мои слова.

А сам я укрываюсь бездной
И озираюсь на зенит.
Мне хор напутственных созвездий,
Как хор кузнечиков, звенит.

И если б совы не сновали
И не кричали дергачи —
Уютно, как на сеновале,
В неогорчительной ночи.

• • •

Снова пройти привелось мне
Полям взволнованной ржи.
Счастье напели колосья
И начертили стрижи,

На травяной постели
Кузнечик его отковал,
Листья нашелестели,
Голос накуковал.

• • •

Полям так полям,
Лесом так лесом,
В зенит — по отвесу,
В гранит — по отвесу.

Не надо накручивать лишних
спиралей
И по кривой уходить от истин.
Мир,
Обступивший нас,
Матерьялен,
Миры,
Окружившие нас,
Неблизки.

Лесник

По сутеми в лесу еловом
Хожу, сажусь на пень истлевший
И перекидываюсь словом
Со здешним лешим.

Иду по мостовине шаткой
В марийских липовых лаптях,
Пестрят заплатки на локтях,
И на стволах берез — заплатки.

Но только снег нальдевший стает,
Мне, не стяжавшему уют,
Все трубачи весенней стаи
Поют...
Да как еще поют!

И я стою, услышав вестников,
И почему-то весь дрожу,
Как нареченную невесту,
Я пихту за руку держу.

Северный обоз

Очень низко по Цельсию,
Будто в антиаду,
Как в загробной процессии,
За санями иду.

От ползущих полозьев
Озлобленный визг
Над промерзшим обозом
Ознобно повис.

И подумал об Индии я
И о пляжной воде.
Лошаденка заиндевели,
Будто белый медведь.

Кислый семиовчинный
Тулуп тяготит,
Но его самочинно
Не скинешь в пути.

Обступает пихтарник.
Наледь лап — на весу.
Мы, забытые парни,
В позабытом лесу.

Присугробило вехи
На белом пути,
А нам ехать да ехать,
Идти да идти.

Дон Кихот

Туман над Севильей синеет,
Подраненного знобит.
И нет у тебя Дульцинеи,
Согнуло тебя от обид.

Так чем же твой подвиг заманчив,
И ты обретаешь друзей

Один изо всей Ламанчи,
Один из Испании всей?
Да мало ль героев победных,
Расправившихся с врагом,
И подвигов заповедных,
Посеявших славу и гром!

Зачем же тебя люблю я,
Отдавшего жизнь на слом,
Как богу пою аллилуйя,
Тебе, поединщик со злом!

• • •

Я строю дом.
Шумит кругом
Загадочная Русь,
Как издревле,
Из дерева
Вытесываю
Брус.

Стволы спилил
И оголил
Нагорье над рекой,
Как будто бы
Мечты свои
Свалил своей рукой.

Но вот на срубленный лесок
Упал весенний свет,
И корни подавали сок
Стволам,
Которых нет.

Ржавеет злобная пила,
Повыщерблен топор,
А лес, где вырубка была,
Не вырос до сих пор.

Ракета

Опасны да и взрывчаты при случае
События сегодняшнего дня.
А это ведь и есть мое горючее,
Чтоб подгонять и чтоб
приподнимать.

А я и есть ревущая ракета,
Машина превращения времен,
Направленная в сторону рассвета
Без возвращенья на ремонт.



Рисунки В. Востринова

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ В РАЮ

ЛИРИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Это Лида первая сказала, что мы живем в раю. Мы поехали на закате по Шевакалу, я перестал грести, положил весло поперек лодки, стало так тихо, что слышно, как капли падают с весла. Вода была зеленая и гладкая и густая, как масло. А тепла, словно парное молоко, которым поит нас вечером Шура, подоив Морозку. Листья лежали на воде, крепкие, как подносы. На коротких шеях торчали круглые и плотные головы кувшинок. Стрекоза остановилась и вибрировала в воздухе рядом с нами. Долгоногий водомер скользил по воде, как Христос.

— Ну рай, просто рай,— сказала Лида,— двадцать четыре дня в раю.

Она сидела лицом ко мне на средней скамье, опустив обе руки по бортам лодки в воду. Комары стояли над ее головой, как нимб. Розовое небо плавало в озере, облака вытянулись по небосводу, будто Млечный Путь. Десятый час был в начале, а солнце все горело над лесом.

Вообще-то мы собирались провести свой отпуск в Карелии, а попали в Японию. Каких названий нет в России! В девятьсот пятом году чужие, дальние мужики пришли в эти пензенские места, построились, их называли (из-за японской войны) японцами. Так и пошло. Теперь от той деревни остался всего один дом, дяди Максима. Мы живем не в самой Японии — от нас до нее два километра, — а на Шишке, на пасеке. Железная дорога почти рядом, и ночью слышно, как вдалеке проходит по мосту через Суру поезд, но до ближайшей деревни Соколовки — семь километров, до Репёвки — десять. В приемнике у Ивана давно сели

батарейки, света на пасеке, конечно, нет, почта до Шишки не доходит. Чем не рай?

Стоят на бугре дом, хлев, ульи, пониже в огороде банька, вот и всё. Позади лес, впереди простор: озеро, луга, потом Сура, за Сурую опять леса. Райские куши.

Утром пчелы летят, как пули, и гудят, как огонь. Ульи, словно печки, в которых не гаснет пламя. Пчелы летят всегда одной и той же дорогой между домом и хлевом. Утренний лёт — с пасеки, вечерний лёт — домой. Мы спим на сеновале, в хлеву, и ходим с сеновала в дом как раз сквозь эту огневую, пулеметную завесу. В трех шагах видно, как пронзают воздух сотни и тысячи пчел. Одни сюда, другие туда. Иди смело, они не ударятся об тебя, облетят. Им некогда, они заняты, они работают. Никто не работает так, как пчелы. С первого до последнего дня. Рабочая пчела живет тридцать один день. Она живет так мало потому, объясняет Иван, что слишком уж себя расходует. Она почти не спит. Первые три дня своей жизни она не летает, работает в улье: чистит его, вентилирует, охраняет. Потом уходит в лёт. С восхода до заката носит она в семью мед, пергу, воду. Среди присущих ей рефлексов есть, должно быть, рефлекс самозабвения. Под конец коротенькой своей жизни она снова перестает быть лётной пчелой: остается в улье и делает то, что еще в ее силах. Перед смертью она уже не вылетает, а просто выпадает с летка и уползает по траве подальше, чтобы не затруднять подруг вознею со своим трупом.

Сейчас нектен зацвел, вся пчела на нектене, дни стоят солнечные, долги, и пасека гудит, как топка.

Но все-таки я хожу с опухшим глазом, а у Лиды губа, как у лягушонка. Шура говорит: ничего, пчелиный укус полезен.

Шура с Иваном живут на Шевакале пятый год. До этого Иван еще девять лет, на другой совхозной пасеке, был помощником пчеловода. Всю войну он отшоферил, подвозил снаряды к зенитной батарее. Под Москвой подвозил, на Днепре, под Веной и под Прагой.

— И шофер какой, и тракторист, и всякая механика ему, дураку, в руки, а он, нечистый его раздери, полюбил пчел, пичего ты с ним не сделаешь...

Шура говорит это при Иване, он, видно, привык, сидит на корточках у двери, прислонясь к косяку, худой, небритый, в чудной кепке, поднявшейся пузырями, которую он почти никогда не снимает. Слушает с интересом, как не про себя, потом мирно говорит:

— Да будет тебе, богородица!

Я не придумываю, он зовет ее богородицей, и она, распевная, действительно, как богородица в нашем раю.

У них трое ребят: Толька, Вовка и Валёна, средняя. Толька перешел в седьмой класс, да, похоже, не перешел чисто, почти остался, работа ему на лето по русскому и арифметике. В школу он ходит за семь километров, в Соколовку,— зимой через лес. Когда ходит, когда нет. И дело не только в том, что в лесу волки есть,— просто некогда.

Вовка пошел в первый класс, но тоже мало ходил, едва выучился за год читать. Валёна живет зимой в интернате, за семьдесят километров. Мальчишки головастые, коренастые, «толстолобые», как Шура их зовет, а Валёна тоненькая, с тонким, мылым личиком, тонконогая. Она уже косы обрезала и, собираясь как-то в совхоз, просила у Шуры: «Мамк, дай твой капрон надеть!», хотя трудно представить, что есть у Шуры капрон. Но купается Валёна вместе с мальчишками в длинных Тольки-



Михаил Михайлович Роцин родился в 1933 году. В 1958 году закончил Литературный институт имени Горького.

Рассказы и статьи М. Роцина публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Молодая гвардия», «Неделя».

Первая книга рассказов «В маленьком городе» издана в Волгограде в 1956 году. В прошлом году в издательстве «Советский писатель» вышел второй сборник рассказов «Каких-нибудь двадцать минут».

под горы, но дома ее считают покапризней и поленивей парней, сами мальчишки ругают ее и ревнуют к интернату. Толька то и дело кричит матери:

— Валёну вон свою заставь, она пускай делат! Набаловалась в интернате-то!

Валёна же жадно разглядывает Лидины босоножки, пояски, хватается за книжки, что привезли мы с собой. Ей уже не в привычку, а в обязанность поить теленка, мыть полы, гонять утят.

— У, черт ленивый! — кричит Шура. — Нечистый бы тебя не видал! Иди огород-то поливать, сказали! Что за девка у меня, прости господь, что за собака така неслушная!

Однако первая конфетка — Валёне, платье новое и туфли — Валёне. Прошлой осенью, когда много получили за мед, отец купил ей часики, она хвасталась, показывала Лиде и тут же кричала Ивану:

— Папк, когда ремешок-то купишь?

— Да уж куплю, погоди, чего там! Вон даст богородица денег, куплю...

Рассветает очень рано, в третьем часу. Я поднимаюсь потихоньку, перешагиваю через закрывшихся с головою от комаров ребят — все трое спят с нами на сеновале, Вовка за ночь подкатывается ко мне под самый бок, — спускаюсь по стремянке вниз, на разбросанную, холодную от росы солому. Вокруг еще мутно и серо, и похоже на безмолвное водяное царство. Беззвучен лес, глухо накрыто ватным туманом озеро, темны дали и пепельно небо. Морозка и двухлетняя телка Малинка ушли из хлева и спят на земле под пасечной изгородью. От них идет легкий пар и сильный теплый запах молока. Я вспоминаю, что вчера Малинка лежала вот так же, а по пей, как по Гулливеру, ходили цыплята и выклевывали что-то. Сейчас Малинка томно и шумно вздыхает, — видно, как пикнет от вздоха и снова выпрямляется трава у ее ноздрей.

У Шуры есть еще телочка нынешнего года — Ночка. Она почти белая, Ночкой же назвали потому, что родилась ночью. А может быть, по

ных трусах, прикрывает ладошками, входя в воду, едва начавшуюся грудь.

— В интернате-то, что говорить! — восхищается Иван. — На постелях все спят, всё у них чистое, постиранное, хлеб белый на столе, печенье это всякое, молоко, — ешь, сколь хошь! Не жизнь, что ль! И работать ничего не заставляют, только учись.

— А платить сколько надо?

— Да платит что, восемь только и рублей-то...

Иван восхищается искренне, Шура молчит.

Валёна тоже целый день помогает по хозяйству, смотрит за скотиной и утятами, носит на коромысле воду с родника, из-

противоположности назвали, как вообще любят в народе лысому дать кличку Кудрявого, а недотепу окрестить Ястребком.

Нового сена еще нет, мы спим на остатках старой соломы, кое-где и слезы проступили, дыры зияют. Но вообще сеновал стал теперь нашим домом, нашим ковчегом. Внизу, в хлеве, или, если угодно, в трюме, скотина, наверху — мы. Чистыми нас не назовешь — поси-ка на старой соломе! В хлеве живут еще куры, три утки с селезнем, три черных овцы. Бедных овец обстригли недавно, обнаружилась их древняя горная грациозность, но вид все равно жалкий. Они живут как-то сами по себе, целый день их не видно, словно они стесняются своей ужасной обстриженности. За коровами ухаживают, кормят и поят, за птицей тоже, а до этих трех черных граций никому будто и дела нет. Они возникают в сумерках среди сосен, как три застенчивых демона.

Кроме этой живности, есть еще собаки: пожилой дворняга Грозный, рыжий гончак Жулик с длинной мордой и маленький, злой псишка по имени Букет, главный страж всего хозяйства.

Есть, конечно, и кошка, которую Шура зовет за плодовитость Симменталкой. Правда, теперь у нее только три котенка, она живет с ними в сенях, наверху, в подкровелье. Симменталка дымчата, молода, но занята исключительно добыванием и выклянчиванием пищи: котята сосут, самой падо, и еще кот приходит.

Во второй, рабочей половине избы — здесь верстаки, инструмент, здесь клеят и наващивают рамки, плетут маты, — спит сторож дед Антон. Вот у него есть еще свой, особый кот, полосатый и замордованный собаками красавец. Симменталка, когда коту удается пробраться к ней сквозь неусыпную ненависть Букета, допускает его к своей миске и даже, как говорит Шура, приберегает ему еду из кусков.

Нет, все тихо и сонно в мире. Я делаю несколько шагов, и ко мне бесшумно подлетают собаки, Букет и Жулик. А Грозный, наверное, лежит где-нибудь и только поднял морду, слушая, надо ли мчаться следом или можно лишь буркнуть для порядка и улечься снова.

На пасеке, возле омшаника, вспыхивает огонек — это дед Антон курит. Еще так сумрачно, что фигуру его не различишь.

Но уже что-то совершается в тишине: светлеет небо, на озере приходит в движение туман, скворец проснулся, и где-то далеко урчит ночной самолет. Но все-таки тихо, как в раю.

Сосновый бор полон ландышей. Даже не верится, что их может быть так много. Идешь лесом полчаса, час, два часа и переходишь из одного поля ландышей в другое. Они удивительно крупные — кажется, сроду не видел такого сорта. Один к одному, как на подбор. Лес наполнен сосновым жаром, духом смолы и ландышевой свежестью. Сосны прямые, словно точеные. Мягко пружинят и скользят под ногами иглы и шишки хрустят...

А дубы сожрала листовертка — мелкая поганая гусеница. Не ест ни березу, ни осину, ни ольху — подавай ей царя лесного, свежие и крепкие его листья. Гусеница сползает по дереву сверху вниз, вершины дубов оголены, обезображены, смотреть больно. Постой возле дуба, прислушайся — шорох идет. Это гусеница, обожравшись, выбрасывает свой помёт, — крошечные, едва заметные маковинки. Они сыпятся вниз, на старые сухие листья. Зеленая красота дерева падает на землю мелким дерьмом.

— Не везет дубу, ёш его корень, это точно! — У Ивана такая манера говорить, словно он возражает кому-то, протестует. — То шелкопряд проклятый, то эта пакость! Потом-то он опять лист выбросит, не посохнет, да ведь тяжело ему все равно...

— А что ж не опыляют?

— Да у нас нельзя, все пасеки погубишь. В соседнем вон районе ходил в тот год самолет, опылял, так и сады, говорят, погубил с червями-то...

— Ну уж, погубил, что ж, без головы там люди?

— А и без головы не в диковинку, чего ж...

Пасека пасекой, а дубы жалко. Стоит великан, красавец, и беспомощен, изуродован, источен зелененьким червяком. И беззащитен. Недоглядела природа.

Сегодня с утра Шура выгнала всех в огород сажать картошку. Тольку, Валёну, Шурку, который работает у Ивана помощником. Шурке семнадцатый год, он крепкий, милый, застенчивый парень. Угощают выпить — отказывается, не садился с нами есть, пока не привык. «Не смеет», как сказала Шура. Пчелы жалят его на дню раз двадцать, но он только улыбается, не бережется. На нем, как на Иване, белый грязный халат и сетка на голове, вроде широкополой ситцевой шляпы с вуалью. Когда Лида ходит в этой сетке, она делается похожа на чеховскую героиню. У Шурки же вид мирного пастуха-ковбоя. На плече у него татуировка, выше запястья тоже, — русалка. На кисти «не забуду мать родную». Шурка уже стесняется всех этих художеств и говорит, что выведет обязательно.

Учился он всего четыре года. Как-то разговорились перед сном на сеновале, Шурка признался, что ждет не дождется, когда возьмут в армию, потому что там и учиться можно и людей глядеть. Так повелось за последние годы, что, отслужив, парни редко возвращаются в деревню, едут на стройки, в города. Когда Шурка был недавно на комиссии, майор сказал про него, что этот, мол, у меня во флот пойдет. Шурка передает эти слова с гордостью.

Пчелы жалят Шурку, набиваются за пазуху, когда снимают рои, он не боится, а вот укола в больнице выдержать не может. «Меня мужики один раз держали, когда укол делали, еле сладили», — говорит он застенчиво.

Шура с ним, как с сыном. Командует, учит, кормит, отбирает папирсы, если увидит. Шурка ходит с Толькой в лес по дрова, вместе отправляются они в Репьевку на гулянку в субботу, вместе рыбачат, ходят с ружьями по болоту, в Японский Рог, вместе работают на пасеке. Вот и картошку не сажают без Шурки.

— Люди-то уж окучивают! — кричит Шура. — А наши толстолобые и сажать не чешутся! Зима вас ждать станет?

Все это адресуется Ивану, но тот только морщится, опускает сетку на лицо, идет на пасеку. Он уже несколько дней мучается, — зуб болит, баюкает челюсть в руке, почти не ест ничего. К врачу ехать надо далеко, в район, ближнего зубного врача, что был на станции, уволили недавно, потому что пьяный всегда на работе, много не тех зубов у народа по-вырывал.

— У меня без вашей работы хватат! — бормочет Иван. — Ни отдыху, ни сроку.

— Выходных-то, Ваня, не положено тебе?

Иван машет рукой, подмигивает, переводит на шутку:

— Пьян напьюсь, вот и выходной.

Я тоже иду помогать Шуре. Она гонит меня, стесняется моей помощи. Мы, мужики, копаем лунки, Шура с Валёнкой кидают в них проросшие клубни, мы, копая новый ряд, старый засыпаем. Шура говорит, что надо еще помидоры посадить, то, сё. Мы копаем, а над нами густо висит пчелиный гуд.

Что-то Шура опять разорялась сегодня с утра, обругала крепко собаку, маленький Вовка сказал ей как бы с раздумьем:

— Ругаться ты больно много стала!

Ругаются, надо сказать, все, но то, что в устах мужиков звучит противно, у Шуры скрашено интонацией певучей и беззлобной. У нее еще и свои какие-то слова, не то мордовские, не то придуманные, она как-то по-своему перекраивает известные фразы: все у нее «мослы», «лбы», так что непременно улыбнешься на ее филиппику. Лида всякий раз покатывается со смеху.

Ругает Шура все больше самое себя:

— Ах, чего наделала, собака стара, така-сяка, про молоко-то за-была, дурак тугой!

Говорит она вообще прекрасно:

— Во, гляди, кака стала, толстая, как дурак!

— Что это, праздник, что ль, нынче какой? Давеча в Соколовке гляжу: бабы полы моют?

Про рваное свое на спине платье:

— Платье-то у меня с продувалом.

Про то, как покраснела:

— Так жаром и обняло, закалела вся.

Лида массирует утром перед зеркалом подбородок, Шура смеется:

— Опять свой подзобок Лида нашлепыват! Гляди, пуще отвиснет!

Про Тольку, объевшегося когда-то медом:

— Наелся до рыданья, теперь и не смотрит.

Была она озорной девкой; когда пришел Иван в первый раз в отпуск в сорок девятом, она пускала его к себе спать в погреб, с этого и началась их жизнь. Теперь ей нет сорока, и за тяжелой крестьянской работой она сумела сохранить молодое еще лицо и улыбку молодую и милую. Последняя беременность была у нее тяжелой: делали кесарево сечение. Это было два года назад, и с тех пор она никак не может в себя прийти: то тут болит, то там, ломит ноги, поясницу, голову. Раза два-три на дню она уходит в свой закуток, отгороженный в избе шкафом с зеркалом и ситцевой занавеской, ложится там, охает:

— Ох, дурак старый, и делать ничего не делала, а уж приваливаюсь, мочи нет!

Она все время ругает себя, что не делает ничего. А сама встает в три-четыре часа, топит печь, готовит сразу завтрак и обед, варит кашу утятам, греет пойло телке (Ночка все время прилаживается и сосет контрабандой Морозку, за что и Морозке и Ночке попадает крепко). Раньше держали еще свиней, и Шура не успевала запаривать и таскать из печки ведерные чугуны с крапивой и картошкой. Печь протопится — она



уже вымесит и сажает в нее хлеб. Правда, хлеб печет два раза в неделю, не больше. Хлеб выходит у нее огромный, тяжелый, но вкусный. Причем хлеб бывает будний, похуже, — сюда Шура чего только не наместит, и праздничный — полегче и посветлее. Около шести нам уже слышно на сеновале, как Шура разговаривает с Морозкой и начинает зыкать и звенеть о жестяную доёнку молоко. Звук сначала сухой, резкий, потом все мягче и мягче.

— Что ж ты меня, дура така, по морде-то хлещешь? Стой, что ли, идол дурной! Разнолетник бы тебя не видал, фарья така!

Потом надо напоить и выгнать скотину, утят, прибраться, а там и завтрак подоспел, ребята поднялись, Вовка кричит:

— Мамка, молока давай, кому говорю!

Садимся все в кухне за столом перед большой миской с супом или со вчерашней холодной ухой, брошены на клеенку деревянные ложки, хлеб свежий нарезан полкилограммовыми кусками, молоко стоит в стеклянных крынках — кому вчерашнее холодное, кому утреннее парное. Старого меда уже нет, а новый только завязывается, Иван скупились его трогать. Но иногда вырежет все-таки рамку, все лакомятся, прихваливают, выплевывают жеваный воск на стол: воск дороже меда стоит по закупочной цене. Шура ест стоя, почти не садится никогда, ест немного: пронесет несколько ложек — и всё, сыта. Только пьет молоко парное.

Отзавтракали, надо на огород идти, за пасекой в окошко присматривать, воду греть на костре, стирать, наволочки шить, опять утят кормить, доить, — и вот так до позднего вечера.

— И что это разломило меня нынче, собаку стару, и не делала ничего, а ноги отымаются, не иначе дождю все же быть! Ваньк, а Ваньк, принес бы пчелки четыре на поясницу-то мне! Ох, дура стара, прости господи!

Шевакал и Сура богаты рыбой, за Шевакалом в пойме есть еще полузаросшее озеро Травное, по которому еле проберешься на лодке, но уж зато там самые лини, по килограмму и больше. В Шевакале водятся ондатра и бобры. Вечером от дома, сверху, видно бывает, как ондатра режет воду: словно перископ. Дед Антон стреляет зверьков: больно много рыбы они поедают, к тому же ондатру в закупку можно сдать: первого сорта шкурка — рубль, второго — восемьдесят копеек.

Дед Антон каждый вечер отправляется ставить и проверять сети, к нему ездят за рыбой со станции, сам Луцков приезжает (о Луцкове речь впереди), и нам всем чуть не каждый день бывает на уху.

Дед Антон сильно кривоног, суховат, мелкорослый, ему за семьдесят, но, как он сам признается, ничего у него пока не болит, уши слышат, глаза видят. Он всегда побрит чисто, у него усы седые и завитки седые из-под картуза. Он суетлив, услужлив, говорок у него мягонький. Уютный, милый дед и улыбается хорошо. Сидит вечером на крылечке, вырезает себе мундштучок ореховый, говорит, что будет сигаретку надвое резать и курить. Жена у него умерла несколько лет назад, сын где-то на Дальнем Востоке, для Шуры с Иваном дед тоже как бы член семьи. Маленький Вовка говорит: «Он у нас сиротиночка, Ильич-то...»

Всего хозяйства у деда Антона — сети, тулуп, ружье и чайник. Чайник настоящий, рыбацкий, выдавший виды. Сроду болтается он на рогатине над костром, сроду его не чистили, и так славно пахнет рекой и дымом кипятка из него! Чаю тут не знают, дед Антон запаривает в чайнике лычку черемуховую или шиповник. Шура, когда самовар ставит, тоже запускает туда шиповнику.

Но дед хитроват, приходится ему хитрить с рыбкой: кому дать, кому отказать. Где-то в потайных местах на озере стоят у него садки, куда он непременно припрячет часть улова: карасей получше, плотичку покрупней, а то и налима.

Вчера принес он хорошую щуку и карасей с десяток. Лида стала жарить на костре карасей в сметане, вкусно было чертовски, но никому, кроме нас с нею, новое блюдо не понравилось: кисло, а в рыбе хороша сладость.

Вовка натаскал целое ведро ракушек из озера, лазал без штанов в тине у самого берега, орал от радости, отполаскивал ракушку от грязи и кидал в ведро.

Иван увидел и загорелся:

— Сейчас зажарим!

И вот собрались у костра, помыли еще раз ракушки — они крупные, крупнее морских мидий, некоторые чуть не в руку Вовкину,— повесили в ведре над костром. Ракушки закипят, раскроются, вылезут, тогда их надо почистить немного и жарить можно. Пока ракушки кипят, мы рассказываем про устриц, «слегка обрызгнутых лимоном», как Пушкин писал, а Иван, не слушая, нам в ответ с возбуждением говорит:

— Да у них мясо лучше, чем у рака, рыбе мясо-то, и вкус, как у рыбы! Мы, бывало-то, в голодные годы всей деревней их ели, бывало, и не найдешь уж в озере раковинки-то, рад бы, да не найдешь. Я вот их, ей-богу, люблю, мне и рыбы не надо!

Ракушки прокипели, воду слили, Иван, Валёна и Лида сели вокруг ведра чистить их. Перламутровые изнутри раковины бросали тут же в траву. Отрезали какие-то темные желудочки; мякоть ракушек и по виду и на ощупь сделалась как белая резина. Пахли они тиной. Иван все продолжал говорить, как вкусны ракушки и сколько их пришлось когда-то поест.

Вовка притащил сковородку, Шура, скрепя сердце, дала масла. Начали жарить. Моллюски сжимались и желтели от жара.

Я попробовал,— разжевать это можно было с трудом, все так же пахло тиной. Я собрался с силами и сказал, что мне это не по вкусу. Шура ходила вокруг сковороды, посмеивалась. Она и пробовать не стала японского блюда. Вовка, Иван и Лида ели втроем. Мы сидели и смотрели на них с сочувствием. Лида в конце концов не выдержала, схватила с тарелки вилкой кусок требушины, стоявшей рядом (к обеду были щи с трбухой), съела и облегченно дыхание перевела.

День ото дня все жарче. Иван, Шурка и Толька не выходят с пасеки: пчелы роятся. Я надел свитер, Шура завязала мне тесемками рукава на запястьях, выбросила из сундука старые чесанки, на голову надел я сетку и тоже завязал ее вокруг шеи. Обрядился, как космонавт, и отправился.

Рой вылетает из улья и прививается где-нибудь поблизости, обычно на стволе ближайшего к улью дерева или на ветке покрепче. В какие-нибудь полчаса, на глазах, цепляясь друг за друга, пчелы повисают на дереве живым огромным комом. Рой гудит особенно, уже по звуку в раскрытые и забранные марлей окна можно угадать, что какой-то улей начал роиться.

...Сегодня снимают уже пятый рой. Я дымлю дымарём, в котором горит гнилушка. Шурка лежит животом на ветке березы и половником, как черную живую кашу, собирает пчел и бросает их в высокое лукошко — роевню, подвешенную на суку. Иван обивает соседние ветки,

сгоняя с них пчел. Мы похожи на водолазов или на ремонтников атомных котлов. Мы погружены в опасность, как в воду. Все вокруг пронизано громким злым гулом и неистовым мельканьем оскорбленной стаи. Шурка швыряет партию, одни падают и прилипают внутри лукошка, другие вылетают и бросаются назад или на нас. Важно, чтобы большинство оказалось в роевне, тогда и матка перейдет туда, а за нею и другие. Потом лукошко подержат в омшанике и, подготовив улей, высыпят в улей пчел... Они жалят нам руки, но это не страшно, никакой уважающий себя, как говорит Иван, пчеловод не станет надевать рукавицы.

За день сняли девять роев, вчера шесть.

Лодок у Ивана и деда Антона две: красная и маленькая. На красной можно уехать впятером, хотя на вид кажется, что и троих не увезет. Она плоскодонная, с широкой кормой и скошенными бортами, так что похожа как бы на пол-лодки. Но она что-то разохлась совсем: Шевакал переедешь — и уже набирает воды по шиколотку, сидеть нельзя.

Сначала я не умел грести одним веслом, Вовка меня учил. Как-то звал он меня утром на рыбалку, поехали мы, я пересел на корму, попытался грести, — не выходит. Весло вибрирует, лодка разворачивается все время в одну сторону. Так и пришлось снова уступить Вовке место. Он взял в руки короткое, вроде лопатки, весло, и лодка пошла легко, быстро; он вел ее среди тростника и кувшинок лихо, как гондольер.

В свои восемь лет Вовка умеет стрелять из отцовского ружья, знает всякую рыбу, птицу, деревья, помогает на пасеке, знает, зачем к овцам отец барана из деревни приводит, и много других подобных вещей, которые знают и умеют обычно деревенские дети. Но в кино Вовка не был еще никогда, телевизора не видел; я нарисовал ему военный корабль, он не мог сказать, что это. Вот мороженое он ел, знает. Луцков мороженое делает, все дети теперь его пробовали.

В ту рыбалку наша красная лодка насочила в себя столько воды, что минут двадцать вычерпывали, никак вычерпать не могли. Вовка сказал, что потонем, пожалуй, разделся до трусов и мне велел раздеться. Но ничего — доехали.

Все-таки с тех пор мы с Лидой на красной лодке не ездим, а берем маленькую. Это прелесть что за лодка! Она только на двоих, легка, как перо, рукой станешь грести, и то идет, слушается. А грести одним веслом ловко — и весло, и руль сразу. Я научился, и гоняю теперь, как на байдарке. Вовка глядит с одобрением и не говорит ничего, не поправляет, — значит, все в порядке.

Курам подложили утиные яйца, они вывели утят и теперь ходят с ними к бочажку, где утята учатся плавать и добывать корм. Утят много, двадцать семь штук, они растут на глазах и теперь бегут под горку к своему озерцу впереди двух своих мамок. Куры торопятся следом, квохчут обеспокоенно, понять ничего не могут и снуют по берегу всякий раз, когда утята лезут в воду. Когда утята быстро ковыляют впереди, а куры за ними, то куры, наверное, с недоумением думают о разнице двух поколений, старого и молодого.

Когда собакам бросают хлеб или кости, они не кидаются все на один кусок, каждая ждет своей очереди, привыкли, что если одной дают, то и другим тоже будет. Еще в первый день, когда приехали, Лида бросила

кусок колбасы Грозному, а для других уже не осталось. Маленький Букет подошел и изумленно обнюхивал Грозному морду: мол, что ж это такое вкусное ты сожрал, собака?

Мы пришли из лесу, в избе сидели гости — двое мужчин в шелковых теннисках. Их велосипеды стояли у крыльца, а белые кепки висели в избе на гвоздиках. Один, черненький, построжее и поначальственней, другой, рыжеватый, поблагодущнее, поразговорчивей. Толька как-то странно метался из сеней на крыльцо, в дом не заходил. Гости приехали разжиться медком, но Иван ни одной рамки еще не вырезал, меда у него нет и одарить нечем. Нашел только одну рамочку со старым медом — полакомиться. Гости привезли с собой бутылку, распили ее без интереса, заели медом. Шура оправдывалась, что нечем закусить, и в самом деле не было ничего. Иван тоже чесал в затылке, тер сокрушенно щетину — словом, все вышло как-то неловко.

Гости сели на велосипеды, Толька отогнал собак, Иван кричал вслед, что недельки через две-три непременно припасет, чтобы тогда приезжали.

Оказалось, это Толькины учителя, один классный руководитель, другой по труду. Они уехали, и Толька весь вечер ходил мрачный, воспоминание о школе ему было неприятно, к тому же отец меду не дал, со всем плохо.

Я усмехнулся, узнав, что у Тольки существуют уроки труда. Помоему, никто в семье больше его не работает. Если не считать Шуру, конечно. Как был деревенский мальчишка-подросток первым работником в хозяйстве, так и остался. У Тольки неправильной прямоугольной формы обстриженная наголо голова (машинка в доме своя, Иван сам стрижет мальчишек), нависшие надбровья, и брови с ресницами такой густоты, что глаз не видно. Он коренаст и крепок, Шевакал переплывает три раза туда и обратно, таскает из лесу на горбу тяжелые вязанки дров, приносит на поливку огорода по полсотни ведер воды на коромысле. Когда нет Ивана и Шурки, он сам справляется с роями, знает всю пасечную работу. Он не ленится, исполняет все, что говорят, редко когда огрызнется. Учиться ему невмоготу, а работать в охотку. Парень он добрый, грубый, по-мальчишески жестокий. Убить из ружья какую-нибудь пичугу ему ничего не стоит. Иван сам не рубит птице голы, не любит этого, а Толька рубит, ему хоть бы хны. Вчера или позавчера он таскал навоз на огород и до слез напугал Лиду. Копал у хлева, накладывал ведра и докопался до навозных червей. Толстые такие, белые, в палец толщиной, омерзительные гусеницы, из которых выходит навозный жук. Лида читала на крыльце, пчелы уже стихали, день кончался. Толька притащил червей в руках прямо Лиде под нос, хотел, чтобы она пощупала, какие они хорошие да толстые. Лида онемела. Тогда Толька решил исправить ошибку и шваркнул червя о крыльцо — так что брызги полетели. Лида от ужаса заплакала и ушла в дом. Толька глядел и не понимал ничего: что такого случилось?

Кроме домашней работы, Толька нанялся еще сторожить калду в пойме. Где стадо ночует. После ужина он собирает, надевает стеганку, сапоги, зимнюю шапку. Берет молока бутылку, хлеб и ружье. Кто-нибудь из нас уже в сумерках перевозит его в маленькой лодке на ту сторону Шевакала. Он скрывается в высокой траве и запекает, — видно, для храбрости. Еще долго, пока возвращаешься обратно по озеру, слышишь, как разносится в лугах неведомая Толькина песня.

Как-то Шура с Иваном уехали, Толька и корову подоил, и на пасеке целый день возился — со всем управился. Скоро сено пойдет: косить, возить, сушить — на одну корову семь возов надо на зиму, — а там ого-

род опять поливать да окучивать, помидоры, капусту. И ягода пойдет, и дичь подрастет, грибы, орехи — мало ли! Иван с пчелами на кочевку уедет, Шура без Тольки как без рук.

У него переэкзаменовка по русскому и арифметике, а по труду переэкзаменовки нет.

У Ивана голубой мотоцикл «Урал». В позапрошлом году, когда сдали хорошо свиней и овец и за мед получили хорошо, решили купить мотоцикл. Он стоил десять тысяч старыми, денег пришлось еще подзанять, и должны за машину до сих пор. Но без нее нельзя; просто трудно себе представить, как они обходились раньше, — от Шишки всё далеко.

Иван по старой своей шоферской привычке любит ездить — ему только повод дай, заведет и поедет. Шура иногда катается с ним в Соколовку или на станцию. В деревне ни у кого нет такого мотоцикла: когда Шура проезжает через деревню, сидя важно в коляске, ее зовут «министершей». Лида, когда заскучает, тоже ездит с ними, побывать в Соколовке или на станции — это уже целый мир, событие: вот как масштабы меняются. Ездил и я однажды с Иваном — путаной и прекрасной лесной дорогой. Мы возвращались на Шишку, и Иван, оборачивая ко мне лицо, говорил, что кто-то на велосипеде был у нас, дед Антон хромым прошел и нес что-то — это Иван так с мотоцикла различал след на дороге...

А сегодня мы слышали сквозь сон, что Иван уехал очень рано, часа в четыре. И Толька с ним. Когда мотоцикл вязнет на песчаной дороге, Толька выскакивает из коляски и толкает его сзади.

Шура целый день ругалась и ждала их, прислушивалась. И вот уже только к вечеру загудел далеко в лесу мотор, забрехали, поднялись и бросились по дороге собаки, и голубое чудо прогресса явилось среди сосен. Ильич, оказывается, тоже ездил.

Подкатили — на скорости, без света.

Иван был пьян, выбрит и счастлив. Он не обращал никакого внимания на все те громкие приветствия, которыми встретила его Шура, подошел к ней вольно и смело и извлек из нагрудного кармана своей парадной вельветовой куртки желтый и безобразный зуб.

Ильич путался кривыми ножками, выбираясь из коляски, нетвердо встал на землю и тут же быстро сказал:

— Я пил, Иван не пил. Точно, вот те слово!

Иван протестующим и высоким тоном кричал:

— Ты гляди только, нет, ты гляди, я живой теперь, как есть живой! Видал, каков хрен-то! Извел ведь меня, сволочь!

Зуб обошел все руки. Иван кричал громко, и рассказов хватило до ночи. Ильич твердил одно:

— Нет, я-то пил, а Иван? Иван не пил!

— Что без света-то едешь, пьянь проклятая, нечистый бы тебя не видал! Башку сломить хочешь, дурак старый?

— А не работат! — отвечал Иван. — Шут с ним, ни черта не делается!

Шура еле уломала его спать. Дед натянул шубу и пошел на караул поближе к омшанику.

Утром обнаружили, что всю ночь горела фара у мотоцикла.

Шура стоит на крыльце, глядит в сторону леса на дорогу и, не двигаясь, не суетясь, не вскрикивая, как это показали бы нам в театре, говорит:

— Ой, брат мой идет, Вася, с двадцать шестого года, полгода не видала его, как маму схоронили. Вася идет, приехал...

Явился любезный Луцков, привез нам репудин от комаров (Шура говорит «кумары») и бадминтон. Всё засуетилось, пришло в движение, Луцков со всеми поговорил, всех обласкал. Дед Антон, загребая кривыми ногами, торопливо куда-то сбегал, и появились линии и щука на уху, Иван стал чистить рыбу, приговаривая:

— Сейчас, Анатолий Бенедикторович, сейчас, ушицу-то мы можем, что уж тут...

Луцков толст, весел, оживлен, на нем парусиновый пиджак и соломенная шляпа, на пальце крутит ключ от машины,— у него «москвич» на высококом шасси, с передней ведущей осью, бегают не хуже «козликов» райкомовских по любым дорогам. Отчество Луцкова Бенедиктович, но никто его выговорить никак не может. Шура даже произносить не решается — не вышло бы как неприлично. Говорят, Луцков был еще много толще, чем теперь, да и сам он признается, но вот занялся спортом, легче стало. Каждое утро часовая зарядка, вечером два часа бадминтон, зимой лыжи, диета. Ему сорок пять лет, но выглядит он, несмотря на то что толст, лет на десять моложе. У него молодая жена; в старом своем отцовском доме он поставил белую газовую плиту, сделал котельную, ванную (привез из Москвы плитку кафельную), гараж. Детей у него нет, он целиком погружен в бурную свою деятельность, он преуспевает, он доволен.

Заведует Луцков местным промкомбинатом, делает колбасу и мороженое, крепленое вино и конфеты, печет хлеб и пряники, шьет трусы и рукавицы. Все переходящие знамена, грамоты и премии — у Луцкова, причем премии делятся справедливо между всеми работниками, сторожам и уборщицам хоть по три рубля, но дадут тоже, когда все получают премию. Луцков уже двадцать лет на этой работе, на одном месте, его все знают, и он всех знает. Приглашали работать в область, в Москву, он отказался. О нем говорят и хорошее и плохое, называют его великим комбинатором, но все знают, что Луцков не жулик, не вор, не взяточник. Он построил новые и улучшил старые цеха, чистота — это его большое место; теперь он увлечен строительством довольно большого винзавода. Рассказывают, что особенно охотно и много помогает он многосемейным. Из окрестных деревень на промкомбинат сдают свиней и телок, сливки и молоко, промкомбинатовские грузовики летают по деревням, и лихие луцковские эмиссары скупают яйца для мороженого. Между прочим, мороженое очень вкусное, желтенькое, крупитчатое, похожее на домашнее, как в детстве.

Луцков остряк, хохотун, при всякой хорошенькой женщине делается игрив и любезен, жизнерадостность так и хлещет из него. Он хлебосол, добряк, любит пикники, рыбалку, устраивает своим промкомбинатовцам воскресные праздники на лужайке. Сам не пьет и не курит, но в багажнике перекатываются у него батоны, как теперь говорят, колбасы, бутылки грузинского и ежевичного вина,— то и другое вино примерно одного вкуса и произведено луцковскими же виноделами. У него все есть, а чего нет, он может достать. Лида заикнулась про чешский репудин от комаров, который держится часа три, и вот, пожалуйста, склянка у нее в руках.

Лида зовет Луцкова удельным князем, он весело гогочет, но по глазам видно, что слегка обижается и не понимает, хорошо это или плохо. В прошлую нашу встречу он всерьез говорил, что ему самому ничего не надо, что ему хочется сделать свой промкомбинат солидным и образцовым, чтобы государству польза была. Государству и району. Городу и миру. Пора кончать с соломенными крышами, бездорожьем, керосиновыми лампами. Окрестный рай занимает, должно быть, площадь, как любим мы сравнивать, пол-Бельгии, но кафельная ванная на пол-Бельгии пока одна — у Луцкова.

Я не раз уже встречал подобных людей, и всякая такая встреча убеждает меня в том, что напрасно существует у нас чопорное, полупре-зрительное к ним отношение. Луцков весел и самодоволен, и однако, легко разглядеть, как он стесняется при чужих, приезжих людях своей деятельности, чувствует себя чуть ли не виноватым, подозреваемым в чем-то, говорит о делах шутя, с иронией и небрежностью. Он готов представиться спортсменом, жуиром, смешным толстяком, но только не кооператором. А между тем он выжимает из своего мороженого и пря-ников немалые прибыли и кормит плохо-бедно тысячи людей. Он жа-ждет развернуться, но наталкивается то и дело на шипящую букву за-кона. В райцентре, например, да и в облцентре нет колбасы, но купить ее под боком у Луцкого почему-то нельзя. И Луцков вынужден строить холодильники, возить колбасу куда-то за сотни километров, за Волгу, и только потому, что его колбаса на двадцать копеек дороже, и работ-ники торговли не имеют права ни купить, ни продать ее по такой цене. В кооперативном магазине можно, а в государственном нельзя...

Пока Шура, Иван и дед Антон суетятся с ухой, варят ее в ведре на костре, мы, собрав вокруг себя всех ребят, играем в бадминтон. Луцков сбросил пиджак и шляпу, пузо вывалилось из рубахи, он летает по по-ляне, лихо отбивает волан, игриво пикируется с Лидой. Ребята в во-сторге от игры, они никогда ее не видывали. Луцков тоже доволен, как дитя, что опять ему все удастся, опять он выигрывает, опять он на вы-соте...

Уха готова. Снова мы садимся все вокруг одной миски, Луцков гля-дит на нас с Лидой чуть удивленно: мол, вот так и едите? неужели? Иван подкладывает Луцкову рыбку и потчует, уже чуть заплетаясь язы-ком, но говоря все равно громко, с протестом:

— Да вот линька-то, линьку-то, Анатолий Бенедиктович, такой ведь рыбки, как у нас, нету нигде...

— Да что ж ловите мало? — спрашивает Луцков и глядит на Ильича.

Дед Антон суетливо головой машет, ухой поперхнулся, ложку отло-жил, усы обтирает.

— Да ведь это... Анатолий Бен... это... как, значит, сетя-то давеча того, уперли трактористы сетя-то, Анатолий... это... уперли, совсем уперли, вот Ванька знат...

— Забрали, Анатолий Бендиктрыч, — гудит Иван, — начисто всё!

— Ну дам я вам сетя-то, выпишу, — говорит Луцков, хотя не очень, видно, верит старику. Начинается долгий разговор о том, кто бы это мог украсть да чьих рук дело.

Надо сказать еще, что Луцков — гроза всех рыбаков местных. Все окрестные водоемы и сама Сура взяты Луцковым в аренду. Хочешь рыбачить, промышленять рыбкой, иди к Луцкову, он разрешит, будешь ловить, а рыбу сдавать в промкомбинат. Вот так-то.

Луцков почти не пьет с нами, ест тоже мало, ему уже пора, сегодня концерт в клубе (клуб тоже он построил), областные артисты гастроли-руют, надо быть, надо встретить, принять, небольшой ужин организо-вать. Со всеми лучше быть в ладу, в хороших отношениях, так жить приятнее и легче. Пусть Луцкого добром вспоминают.

Мы тоже благодарим растроганно Луцкого за бадминтон, за репу-дин, за внимание. Иван просит потихоньку, нельзя ли, мол, дрожжец, Анатолий Бедикторович, и Луцков говорит:

— Дам, конечно. Приезжай.

Деду Антону он шипит от руки бумажку размашистым красивым почерком, ставит дату, острую подпись с тысячью завитушек; дед Ан-тон бормочет чуть не со слезой в голосе, прячет бумагу глубоко в недра своих рубах и фуфаек: завтра поедет за сетями.

Луцков садится в машину, машет нам рукой, мы тоже, стоя толпой,

машем и прощаемся. Он уезжает, и мы остаемся, взбудораженные, облаканные, довольные тем, что все так хорошо, славно, и еще долго говорим, что, мол, ай да Луцков, ай да человек! Ну, бог, просто бог! Толстый, добрый, веселый Саваоф.

Лечили Морозку. Она что-то есть перестала, молока дает два-три литра, разбухла. С вечера Шура мяла ей бока, хмурилась, приходила ночью и говорила тихо вниз:

— Морозк, Морозк, ну ты чего?

На завтрак молока ребятам не хватило, и перед нами Шура извинялась, и как-то сразу ясно стало, наглядно, что значит в семье Морозка... Озабоченный Иван поехал за лекарствами, Шура нагрела воды. И вот теперь все вместе собрались вокруг толстобокой, со страдающими глазами коровы. Дед Антон и Шурка, растопырившись, упершись крепко ногами, держат корову за рога, задрав ей голову, а Иван свирепо вливает ей сбоку в пасть бутылку за бутылкой теплую воду с разведенным слабительным. Шура наполняет рядом бутылку в ведре и подает Ивану. Иван кричит на Морозку своим протестующим голосом, а Шура на Ивана. Морозка же почти не сопротивляется, терпит. Потом ей вкатывают еще бутылку постного масла и запирают в хлев.

— Говорю тебе, менять пора! — сказал Иван Шуре.

— Менять! — Она только отмахнулась грустно. Морозка еще до паеки у них была; по тридцать литров в хорошее время дает молока, Шура на нее времени и сил тратит, может быть, не меньше, чем на детей. «Она ж как человек», — говорит сама Шура о корове.

Ночью она опять приходила в хлев, разговаривала с Морозкой ласково, Толка тоже проснулся и прислушивался. К утру Морозку, слава богу, пронесло.

Натаскали дров и воды, топим баню. Баня низенькая, закопченная, топится по-черному. В торец ей сложена до самого конька крыши поленница, но эти дрова уже на зиму, их не трогают. Шура развела огонь, подвинула и налила с краями двухведерный чугунок. Холодная вода в одной кадке, горячая в другой. Пол и полок вымыты, брошен свежий веник березовый, из низкого крошечного оконца — мутный свет. Часа два греется вода, потом дым выходит, и нагретая банька наполняется сухим жаром. Кирпичи накалились, плесни на них из ковша, — взорвутся паром. Мне не в диковинку, а Лида сроду не мылась в такой бане. Она трогает стены, ей кажется, что они в саже, — нет, просто пахучее, черное, копченое дерево.

Дело не в экзотичности, но просто на самом деле приятно и здорово попариться в такой баньке. Нажжешься веником, отворишь чуть дверь, чтобы сошел немного угар и духота, подышишь — и опять плескайся. Воду сначала бережешь, кажется, что не хватит, но потом видишь, что еще и останется. Воды по-шуриному наготовлено, она говорила, что такого мытья не признает, чтобы тремя ковшами обходиться.

Напарились, намылись, оделись в предбанничке, отбиваясь от собравшегося к теплу комарья, идем в горку к дому. Все сидят на крыльчке и встречают нас дружным и ласковым:

— С легким паром!

А потом мы сидим на крыльце, а в горку к нам поднимается Шура с повязанной головой, красная, разомлевшая, и уже мы встречаем ее ласковым:

— С легким паром!

Ужинаем, пьем пьяный квас, с которого клонит ко сну, и спим потом, как боги.

Тучи набухают и синеют то с севера, то с востока, видно, как накапливается, собирается гроза. Все затихает и томится в тяжком парном воздухе. И вот синева близится, разрастается, слышится дальний гром. Налетает ветер, его вал проходит по вершинам сосен, они шумят, как море. Градом валятся вниз шишки и подпрыгивают, стучаясь о землю. Летят сухие иглы, с треском обваливаются старые суки. Простор так широк, что гроза не захватывает всего горизонта,— вон в той стороне замерли белыми клубами кучевые облака, а слева вовсе голубое, ясное небо. Но гроза рычит, угрожает, синяя завеса доходит до солнца, и вот — проглатывает его. Тотчас ветер, будто только и ждал, когда солнце исчезнет, становится сильнее, птицы мчатся навстречу ему, не могут преодолеть его силы и трепещут в воздухе. Цвет озера делается глубоким и синим.

Но гроза только пострасала: шлепнуло о землю несколько крупных капель, а сам дождь унесло дальше, за сосновый бор.

Шура посмотрела вверх, на небо и сказала:

— Ну! Не разродишься все!

Дождя давно не было, и надоело таскать воду на огород.

Неклен отцвел, выбросил красные мелкие рожки, которые дети зовут «носиками», или «пропеллерами», пчела ушла с неклена. Иван ходит озабоченный, думает, где теперь пчела будет брать мед. В пойме есть клевер, цветы, но этого мало, да и далеко. Когда пчеле приходится летать на пять — десять километров, она набирает в полет меду, чтобы поддерживать силы, иногда съедает больше того, что принесет. Чем ближе медоносы, тем лучше, тем больше меда. Самое лучшее, когда до цветов полкилометра, километр,— не даром в хозяйствах, где есть пасеки, специально сеют к пасакам поближе и гречиху и клевера.

Иван сговорился с другим пасечником и поехали выбирать место для кочевки. Собственно, место известное — липняк, большой липовый лес километрах в шестидесяти отсюда. Ульи погрузят на машину и отвезут туда, когда липа зацветет. Две недели работы, и пчела соберет с липы все, что положено ей собрать. Самый лучший взятки — липовый.

Вернулся Иван туча тучей. Оказалось, листовёртка или другой какой-то червяк осыпал липу, жрет завязи, и похоже, что цвета не будет. Иван сидит на крыльце, устало раскинув ноги, привалясь спиной к косяку, надвинув кепку на глаза, и курит мрачно. Теперь он так говорит про опыление:

— Конечно, самой весной это надо делать, как только она, зараза, появляется. Пускай даже неделю полетает, я вон пчел в омшаник уберу, воды налью им побольше, ничего им не сделается. А он пускай пока опылят. А то что вот теперь будет? Думай, пчеловод, как хошь, с тебя спросят...

— Что ж теперь делать?

— Да что ж делать, в степь куда подаваться надо, лес-то весь сожженный, она, сволочь, теперь лесу покоя не даст.

Пчелы стали злее, им лучше не попадаться сейчас.

Разговоры:

о котенке, которого задушил Грозный;

о подорожнике и калине, которые Шура настаивает и пьет от печени и от желудка;

о лосях, что лоси, бывает, подходят к самому дому, о том, как лось убивает передним копытом волка; а один лось переплыл в начале зимы уже наполовину замерзший Шевакал;

о сороке, которая прилетает и сторожит утят, чтобы поотрывать им головы; одну уже Толька убил и бросил на крышу хлева, чтобы не повадно было, теперь эту надо прихлопнуть;

о том, как умирала соседка, когда еще в совхозе жили: купите, говорит, мне розовое платье и белые туфли, завтра в двенадцать часов я умру. И вправду, ровно в двенадцать померла. А то еще самое плохое, когда курица петухом закричит; вот так кричала в прошлом году, и ровно через месяц свинья заболела: так вся черная и сделалась, еле отходили;

о рыбе, что больно грамотная стала, в сеть не идет;

о пчелах и скотине;

о болезнях и врачах; одна врачиха, паразитка, седая уже, когда Иван только к ней вошел, говорит, что, мол, филонить задумал? А зато вот другая, хирург, Анастасия Васильевна, такой человек, что просто как мать;

о прежних порядках наших, когда свою скотину крестьянину не разрешали держать, — да где ж это видано, разнолетник их расшиби!

и еще много говорят о прошлом, как жили, как сходились, как у Шуры мать золотая была, а на свою Иван за Шуру однажды ружьем грозил, жизнь послевоенная голодная и страшная была: Шура молодой приходила с поля, с картошки, и лапти с ноги снимала вместе с навороткой, как сапог, до того спекутся от грязи;

и еще много о войне; приедет старший пчеловод, одноглазый Иван Петрович, сядет каменно на табурет, расставив ноги в тяжелых сапогах, и пойдет до полуночи: Первый Украинский, Белорусский, Ватуин — генерал; «...и тут осталось нас от всей батареи четверо». Или Иван рассказывает: «И вот как убило его рядом со мной в машине-то, капитана, так я его и везу, куда ж дену? А наши опять на сорок километров вперед ушли. У меня у самого ногу осколком порвало и шинели полу отрезало, но еду. Привез все-таки. Старший лейтенант Огороднов говорит, где ж ты, мол, Иван, был и что это у тебя со студебеккером? А я говорю, пойдите, мол, сами поглядите, товарищ старший лейтенант. Как открыл он дверцу, увидал, так и заплакал. А я и сам плачу, мы ведь как одна семья жили-то там...»

О смерти говорят просто, как и о жизни, и никогда не говорят ни о той, ни о другой отвлеченно, но всегда конкретно. Как жизнь повернет, так и будет, как придет смерть, не открестисься.

Иван опять ездил сегодня в деревню, и Лида с ним. Приехали и с возбуждением рассказывали, что видели «шакалов». Это странное и редкое явление в деревне, эти шакалы. Что-то вроде цыган, только русские. В основном женщины, есть среди них бывшие заключенные. Они живут на краю деревни в самых худых избах, иногда в чужих, квартиры снимают. Целыми днями сидят на лугу на солнышке, курят, спирт пьют или варят чифир — чай крепкий. Разбирают тряпки, вяжут. В колхозе не работают, своих огородов у них нет. Вдруг снимаются с места и исчезают месяца на два-три, уезжают, как это у них называется, на «бомбежку»: попрошайничать по станциям и городам, приворовывать, спекулировать. Они отчаянны и независимы, их стараются не трогать, но Шура, например, говорит о них с презрением: в деревне не любят бродяг, как и всех, кто живет легким трудом. «Шакалы» — одно слово...

Наши развлечения, когда на Шишке появляется кто-нибудь незнакомый. Для нас, естественно, но не для Ивана с Шурой: они всех вокруг знают и их знают. Мы живем отшельниками, но раз в два-три дня кто-нибудь да завернет на пасеку: то соколовский тракторист, у которого

три-четыре своих улья, и он прикатывает на велосипеде к Ивану за советом или воишкой; то рыбаки или охотники со станции, из тех, кто в свой выходной (будь то вторник или четверг) отправляются побродить по болоту или озеру. Третьего дня весь день и вечер провел у нас дядя Максим из Японии и ночевать остался. С Иваном воск топили. У дяди Максима тоже своя небольшая пасека, они с Иваном старые друзья, соседи, вот Иван и вырубал дядю Максима с воском.

Топить стали к вечеру, когда затихла пасека, развели жаркий большой огонь на краю оврага под огромным котлом, на законном уже, старом месте. Иван свалил в котел старые черные рамки. Тут же кипел другой котел с водой. Мы все понемногу собрались вокруг: Шура пришла и приткнула к огню чугунок с картошкой, мы с Шуркой варили столярный клей в баночке,— ракетку клеить: ребята живо расправились с хрупким луцковским бадминтоном. Лида задумчиво курила на бревнышке и шлепала комаров на себе, которые жалят даже сквозь джинсы... Широкий, пожилой, коренастый дядя Максим яро и жадно помогал Ивану,— потный, сосредоточенный, он все беспокоился, сколько натопится воску, хватит ли ему. Иван беспечно и протестующе уверял, что хватит.

— Ну тебе виднее, хозяину виднее,— все повторял дядя Максим, а через минуту снова вытягивал шею над котлом, глядел, много ли перетопилось.

Воск цвета бурой нефти ровно и сильно кипел в котле, черный слой перги колыхался на поверхности, как тяжелая пена. Дым и жар костра не отгонял, а, казалось, привлекал комаров, и они стояли над нами тучей. Пахло, как в церкви. Я держал в руках уже склеенную индийскую ракетку с голубым орлом и думал, какой причудливый и долгий путь прошла она, чтобы попасть сюда, к этому костру,— Андерсен бы сказку написал... Смеркалось, и ярче становилось пламя костра; мы сидели все вместе и развлекались зрелищем огня, кипящего воска, работой Ивана и дяди Максима. Одна Валёна пришла, постояла, поглядела, зевнула и ушла — скучно уже Валёне дома.

Иван с дядей Максимом отжимали потом воск прессом в кадку, разливали по тазам, и воску вышло много, один таз Иван еще себе оставил.

Шура позвала всех ужинать, но не хотелось уходить от огня, от застывающего уже костра. Мы пошли через пасеку, улья гудели сонно, и теплый чистый запах шел от них в прохладном воздухе. Лида потрогала рукой и удивилась, какие горячие ульи. Да, температура в улье 35 градусов, Иван говорит, можно яйца печь.

...А вчера тоже у нас были гости. Проехал вдруг внизу по лугу голубой фургон с надписью «промтовары» и, покачавшись медленно на кочках, как бы выбирая место, остановился под кустами, в ольшанике. Странно, что он там ехал: обычно всякая машина приходит к нам сверху, со стороны леса. Но еще более странно, что не слышно было, чтобы открылась и хлопнула дверца. Действительно, долго никто из машины не выходил. Было это часа в четыре. Потом я увидел вдруг, как парень в ковбойке с закатанными рукавами и в сапогах идет, как бы гуляя и похлестывая прутиком, по лугу, а впереди торопится к воде тоненькая и, видно, молодая женщина. Далеко было, и обе фигурки не разглядеть хорошо. На берегу женщина сбросила с себя всё и голая влетела быстро в воду. Парень разделся не торопясь и тоже стал купаться

Иван стоял на крыльце, глядел ревниво в сторону Шевакала и сказал потом Шуре:

— К нам-то не идет, обратно небось новую привез.

Вон что! Не первый, значит, раз появляется в красивом этом месте

бродячий фургон, которому полагается ездить по деревням с товарами. Захотелось поглядеть мне на современного этого коробейника, но он не торопился показываться. Долго они там купались, сидели на бережку, все мы делали вид, что нас это не касается, а потом и вправду о них забыли. Идя в лес по бугру, я уже отсюда, сверху, видел, как прошли они опять к машине и скрылись в кабине, закрыв дверцы. Час прошел, и другой, я вернулся, а машина все стояла накрываясь под ольшаником. Потом я и совсем забыл о ней.

И вот, уже в темноте, когда давным-давно солнце село, вспыхнули вдруг внизу два огня, мотор проснулся, и грузовик, несколько раз откатываясь и беря разгон, влетел в гору, к дому, где все мы сидели на крыльечке.

— Эй, эй, чума дурная! — закричали ему, потому что он наехал на утиное полуведерко, врытое в землю. — Одурел, что ль, совсем!

Бросились вперед собаки, Толька и Шурка рванулись было к машине, но она проскочила мимо нас и остановилась только у хлева, на взгорке.

— Не показыват! — сказала Шура.

— Я ему сейчас скажу! — строго сказал Иван и пошел от крыльца к мерцающей в темноте красной фаре. Мотор гудел на полуоборотах.

Мы сидели и ждали. Иван отогнал собак, дверца отворилась, но шофер не вышел, говорил о чем-то с Иваном из кабины.

— Вот так и катает их, дурочек! — уже совсем миролюбиво сказала Шура. — Место ему наше приглянулось. Ну, а что ему, парень молодой, неженатый, да из себя ничего, бабы его любят...

Но так мы и не увидели промтоварного этого Дон Жуана. Иван вернулся тоже притихший какой-то, примиренный, велел Шурке медку старого немного набрать.

— Отнеси уж им! — сказал с полуулыбкой, а Шуру спросил: — Туфли, говорит, румынские есть, не надо тебе?

— Ладно уж, туфли! — ответила Шура. — Плану, что ли, не выполнил нынче?

Машина все стояла, и никто не выходил из нее. Шурка принес тарелку с медом.

— Кто там у него? — спросила Шура.

— Да не видать! — ответил Иван протестующе. — Ужалась в уголок, платочком закрылась, помалкиват...

— Чужу каку прихватил! — сказала Шура. — Мало ему девок!

— Да вас только помани! — сказал Иван.

— Эх, дурак седоклокай! — отпела Шура. — Чего говоришь-то!

Иван махнул рукой и отошел.

И вот снова хлопнула дверца, и машина, фыркнув и заревев, пошла в темноту. Опять сорвались собаки и помчались за красным огоньком, скоро скрывшимся в лесу.

— Ну, а чего, — сказала Шура. — Пускай, пока любитя-то...

Нас пригласили в соседний колхоз на праздник животновода. Приехал утром газик от Луцкого, я побрился быстро, впервые за неделю, мы оделись и поехали.

День или праздник животновода устраивают теперь каждый год. На троицу. Это кто-то придумал, чтобы отвлечь, во-первых, от старого праздника, отучить постепенно, а во-вторых, чтобы совместить их просто, старый и новый, потому что все равно на троицу деревня гуляет и пьет.

В правлении колхоза, куда мы приехали, в просторной, казенной избе, увешанной плакатами и диаграммами, шло еще короткое летучее

заседание. Сидели за столом председатель Михаил Герасимович, высокий, статный, загорелый мужчина в больших очках, молодая, строгая и очень недовольная чем-то женщина-зоотехник, молодой тоже парторг и два члена правления. Речь шла вот о чем: по району надой на одну корову поднялся в среднем до девяти литров, а по колхозу оставался пока на восьми. И правленцы решали теперь, не объявить ли сейчас, на празднике, что за каждый дополнительный литр доярки станут получать две копейки премии. «А пусть получают!» — повторял председатель. Но ему возражали, и строгая женщина-зоотехник быстро писала на бумаге какие-то расчеты, а пожилой, задумчивый член правления говорил, что потом, мол, и по десять, по одиннадцать литров надой будет, что ж, так и платить? «А что,— снова повторял Михаил Герасимович.— А пусть получают!» Но уже и сам он не сидел, откинувшись на стуле, в позе, соответствующей щедрой своей фразе, а тоже склонился над столом и листал отпечатанные на машинке бумаги с колонками цифр, и уже задержался на какой-то из них, зацепился за нее, а зоотехник в этот момент подложила ему еще сбоку свой листок с расчетами.

Мы деликатно вышли, чтобы не мешать спору, и Лида спросила меня, отчего это Морозка у Шуры до тридцати литров дает, а колхозные коровы по восемь?

Вопрос этот услышал сидевший на крыльце шофер по имени Мишка. На нем была выцветшая солдатская фуражка, лицо очень серьезное и сосредоточенное. Его грузовик стоял рядом, празднично украшенный березкой,— перед радиатором были натыканы ветки и по всей кабине. Мишка курил и глядел на пустую длинную улицу, по которой гулял ветер, поднимая пыль и задирая курам хвосты.

— Это еще хорошо,— сказал Мишка, вступая в наш разговор.— У нас чего тут было-то, знаете?

И он охотно и открыто рассказал, что теперь на трудовень по тридцать пять копеек дают деньгами и хлеба по полтора килограмма, а много лет вообще ничего не давали, «ноль целых, хрен десятых». Когда предпоследний председатель, тот, что перед Михаилом Герасимовичем был, принимал колхоз, то в кассе оставалось 78 копеек, а народ о работе и слушать не хотел. Тот председатель взял да несколько лошадей продал, и по пять копеек выписал, чтоб люди хоть на сенокос вышли. Вот с того и пошло понемногу вверх...

Мишка говорил длинно и обстоятельно, но тут вышли все из правления, заторопились и не дали ему досказать. Надо было ехать, потому что все уже собрались в березовой роще и ждали начальство.

Еще через полчаса мы очутились в этой березовой роще, поднявшейся среди огромного поля. Тут на опушке были сбиты наскоро длинные деревянные столы и скамейки, стояло с десяток машин. Поодаль полыхал длинный, как плита, костер и на нем кипели поставленные на кирпичики чугуны. Все обещало пир на вольном воздухе. Под деревьями установлен был стол, покрытый кумачом,— как полагается, с графином на нем. Стояли две скамейки для президиума. Вокруг на траве полукругом сидело много народу, большинство женщин, и много было ребятни — кто постарше, все с велосипедами.

Михаил Герасимович энергично распоряжался сначала возле чугунов, кому-то что-то приказывал, говорил громко и весело, но вот он оказался за красным столом, снял фуражку, пригладил волосы и принялся за доклад. Он выталкивал из себя невероятно выстроенные фразы, перегруженные знакомыми всем «принятыми обязательствами», «достигнутыми успехами» и «имеющимися недостатками». Его слушали в полуха, женщины шептались, мужчины курили — всех отвлекали вольные и живые голоса двух выделенных от общественности поварих, хлопочущих в стороне у чугунов. Я все ждал, когда Михаил Герасимович скажет про

премиальные две копейки, но он так и не сказал, и я понял, что победа осталась за зоотехником. Вывод из доклада был такой, что потрудились за прошедший год неплохо, есть достижения, и лучшие колхозники заслуживают награды.

Началась церемония награждения.

Та же строгая зоотехник раскрыла большой картонный короб и стала вынимать оттуда завернутые в белую бумагу и перетянутые бечевкой пакеты. Михаил Герасимович брал пакет, читал на нем фамилию и провозглашал:

— За успехи в труде, за сохранение поголовья и хорошие надои Бочарова Мария Ильинична награждается почетной грамотой и отрезом на кофту.

Повязанная беленьким платочком Бочарова Мария Ильинична пробиралась смущенно к столу, краснела и останавливалась у стола боком. Председатель пожимал ей руку и отдавал подарок. Все хлопали и гудели одобрительно.

Награждались доярки и телятницы, скотники и механизаторы, награжденных было много. Вся опушка забелела бумагою — каждый награжденный, возвращаясь на место, тут же распаковывал свой подарок и показывал соседям рубашку или отрез. Кто подходил робко, кто смело, кто принимал награду молча, а кто пытался сказать слова благодарности. Не обошлось и без смешного. Маленькая, крепенькая, уверенная доярка смело сказала, что ежели на тот год коровы хорошо телиться будут, то и она не подкачает, — все собрание так и грохнуло. Другая, высокая, шла к столу очень собранно, видно было, что готовы уже у нее слова ответные, но вдруг стухевалась, махнула рукой, взглянула ослепленно от смущения и сказала:

— Нет, не скажу ничего, смешаюсь! — и почти побежала от стола.

После награждения начались еще вопросы, и доярки стали шуметь, почему не выбраковывают коров, зачем за ними плохие, яловые коровы числятся, — из-за этого и надои средний выходит низкий. Теперь, все вместе, доярки кричали смело и держались уверенно.

— Ишь ты, раздемократились бабеночки-то, — сказал сидевший рядом со мною маленький и пожилой мужичок в новой светлой кепке с не вынутым из нее обручем.

Но все-таки все уже устали сидеть, уже все было готово у поварих, да и Михаил Герасимович замахал руками и сказал:

— Знаем, знаем, будем меры принимать!

Зоотехник же поджала губы, и выражение у нее стало совсем недовольное. Словом, делового разговора не вышло. К тому же, сами доярки стали торопить, чтобы заканчивать поскорее торжественную часть, потому что часа через два уже всем на дойку вечернюю надо ехать.

Начался, наконец, пир праздничный. За столы никто не сел, все расположились кучками под деревьями, разобрали каждый себе, в свою группу, бутылки и закуску, выстроилась у чугунов очередь с мисками и котелками — запахло на всю рощу тушенной с картошкой свининой. И уже через полчаса раздалась первая частушка, и баян заиграл, и поднялась первая хмельная доярка в пляс.

Начальство и мы, гости, сидели отдельно за столом, с которого сняли графин и кумачовую скатерть. Водку разливали по граненым стаканам, да попопней, несли миски с поросенком, на столе горой лежали хлеб, лук и колбаса. Мы с Михаилом Герасимовичем затеяли длинный и уже нетрезвый разговор о колхозе, и взгляды его на будущее были самые оптимистические; молодой парторг, склоняясь к Лиде, пытался уже положить ей на талию руку, Лида же с завистью глядела в сторону сбитых столов, возле которых образовался теперь плясовой круг, мелькали платочки и сыпались одна за другой частушки, — сначала невинные, а потом все за-

бористей и забористей. Определились и заводилы: молоденькая, развинченая бабенка Тая, накрашенная и порочная, парни липли к ней, стараясь ухватить как-нибудь поинтересней, а она то убегала в рощу, то появлялась снова, вилясь, плясала, очень возбужденная, и было видно, что все ей мало, мало, и хочется еще пить, петь, плясать, завлекать всех подряд, везде успеть, не упустить ничего. Прибежала она за Лидой и стала тянуть ее за руки, и целовать, и говорить любезности, что, мол, такая вы хорошая да славная, так нам понравились,— пошли петь да плясать. И увела Лиду.

Вторая была высокая крупная девушка с большим, красным, детским лицом, огромными руками и ногами — она все плясала на одном месте, топая сильно и старательно, и хотелось ей тоже быть лихой и легкой, но выходило у нее тяжело и неуклюже. Она этого не замечала, и лицо ее горело возбуждением счастливым и щедрым. Третья — Маруся — худая, лет сорока пяти, выходявшая тоже получать на собрании свой «отрез на кофту» и обратившая на себя внимание хмурой строгостью и достоинством,— была она в мужского покроя длинном пиджаке, длинной юбке и чопорно повязанном платке,— эта Маруся стала теперь всех пьянее, лицо ее сделалось несчастным и яростным, и она все рвалась из чьих-то рук, волочила по земле свою косынку, жидкие волосы ее растрепались, она сыпала лихой руганью, и это тоже было ее веселье. Она стала перед Лидой, которую Тая вытолкнула в круг, и спела такую частушку, что как ни хороша она была, а привести ее я не могу. Лида не смутилась, правда, топнула тоже и пошла по кругу и спела залиvisto, как все пели:

Сербияне сено косют,
Сербияночки гребут,
Сербияне чтой-то просют,
Сербиянки не дают...

А Маруся отвечала тут же с сердитой нотой:

И дашь — говорят,
И не дашь — говорят...—

и так далее.

Маруся первая же вспрыгнула на лавку, а потом на длинный пустой стол, за который так никто и не сел, и стала плясать на столе, колотя каблуками изо всей силы. Через минуту уже и Тая плясала на столе, и огромная радостная Валентина — это крупную девушку звали Валентиной,— и все вокруг орали радостно и хлопали, а молодой, странно трезвый баянист рвал изо всех сил свою музыку.

Стол затрещал и рухнул, все повалились с хохотом, и от хохота никак не могли подняться потом, поднимались и валялись снова.

Музыка оборвалась, а в стороне два пьяных мужичка — один тот самый, в стоящей торчком кепке,— продолжали ходить друг против друга, поводя поднятыми руками, мелко топая, не обращая ни на кого внимания.

Михаил Герасимович пошел собирать женщин — ему хотелось петь и чтобы с ним все пели, и после того, как стол рухнул, ему удалось, наконец, уговорить Валентину и Таю. Собрались опять возле нашего стола, появилась еще водка, и всем досталось понемногу, после чего женщины тут же заголосили:

Виновата ли я,
Виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю,
Виновата ли я,
Что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему...

Нет, они не пели, они именно голосили, кричали, и чем громче и пронзительнее, чем выше поднимались голоса, тем это казалось лучше и красивее.

Потом выбрали другую песню, еще голосистее: «Скакал казак через долину...» Эту пели так, что на третьем куплете уже сил не хватило, так высоко взяли, что никто и вытянуть не смог.

...Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя...

Так и не довели до конца, не допели, одна Валентина, запрокинувшись лицом в небо, кричала из последних сил:

...Напрасны ты, казак, стремишься и-и,
Напрасны гонишь ты коня...

Казалось, праздник только разгорается, сейчас сойдет немного хмель, и все станут петь и плясать лучше, веселее, без отчаянной этой безудержности, но вдруг вообще все кончилось. Вдруг все было свернуто, все погасло, доярки полезли на грузовики, и заторопились, и засуетились — время дойки подошло. А ехать далеко, километров пятнадцать, в летний лагерь. На грузовики лезли через борта, друг друга втягивали и подсаживали, все разом кричали: «Тая, Тая», а Тая стояла с низеньким крепким парнем, он держал ее за руку и не пускал.

В кузов набились плотно, все стояли и, едва машина тронулась, стали плясать и петь в кузове, и Михаил Герасимович бежал за машиной и кричал свирепо шоферу:

— Лешка, гляди! Голову сниму! Лешка, понял?

Одна машина ушла, за ней вторая, третья; поляна опустела, в фургон грузили пустые чугуны и ящики, заливали в стороне костер, тащили скамейки и табуретки.

— Ну, может, споем все-таки, а? — упрашивал Михаил Герасимович. Он расстарался еще насчет водки, мы, человек десять, в том числе и поварихи, собрались снова к столу и запели. Но это уже было не то.

Сегодня вдруг похолодало, дождь, и ночью было холодно, и не хочется никуда идти, сидим весь день в избе, Шура печь топила. Дождь сыплет и сыплет, я вышел на крыльцо, посмотрел вокруг и подумал, как тут будет глубокой осенью: мокро, не пройти, не проехать. К семи часам делается темно, глухо; станут рано ложиться спать, Валёна уедет, Вовку, наверное, отдадут бабушке, в деревню, чтобы ему в школу ходить, пчел снесут в омшаник, и дед Антон тоже переберется в деревню. И Шурка уйдет. Станут Иван с Толькой ходить на охоту, когда огород уберут, у Шуры убавится хлопот, начнет шить, вязать, спать подольше. А там выпадет снег, заморзнет Шевакал, и начнется долгая, долгая зима. Будет бело кругом. Мы в городе проснемся оттого, что скребут скребками и давят, собирают машинами снег, и улицы будут стылые, но чистые, а тут снег будет копиться, копиться, вырастут сугробы с баню, занесут дорогу. По морозному, звонкому воздуху слышнее станет, как гремят через мост поезда, но еще дальше, чем теперь, делается железно-дорожный путь, совсем далеко. И не доберешься тогда, наверное, до Шишки...

С утра я рыбачил, а после обеда мы отправились в Японию. Прекрасна все-таки эта летняя лесная дорога, тенистая и в пятнах солнца, с задумчивыми своими спусками, светлыми поворотами, тихой и жадной

жизнью муравьев, жуков, букашек. А птиц, птиц! Сколько разного крика, свиста, соревнования, какая деятельность неутомимая!

Но вот повернула наша дорога, поредел лес, посветлел, и мы вышли на край широкого дикого поля. Бурьян, крапива и сухая трава забили его. Сразу слева, неподалеку, мы увидели дом, вернее, целую усадьбу,— что-то слишком много оказалось вокруг приземистого, длинного самого по себе дома всяких построек, сараев, заборов. И что-то вроде амбара большого, и двор крытый, и баня, и снова целая избушка с окнами. Дерево, правда, старое, темное, разное, и не видно единства и уюта,— а потом уж ясно становится, что все эти постройки просто собраны откуда-то в одно место. И много всего, и не нужно, наверное, но хозяин собирал, чтобы добро не пропало, вот и вышел целый боярский двор.

Возле дома мальчик лет пятнадцати долбил лодку из одного ствола, дубок,— длинный и узкий, как индейская пирога. Он отогнал пса, оставившего нас свирепым лаем. За домом, в небольшом садике, стояли ульи и знакомо гудели пчелы. Прислонился к изгороди велосипед. На крыльце лежал белый симпатичный теленок, чистый и глупый. Во дворе, под воротами, спал здоровый розовый боров. И снова бросилось в глаза, что всюду во дворе сложено много старого дерева, лежат слезги, валяются два шеста колодезных, кусок какой-то крыши. Снес к себе дядя Максим обломки Японии!

Мы пошли по полю и всюду натыкались на следы прошлых жилищ. Сухо шумела нагретая трава, скрывая то повалившийся и сгнивший забор, то остатки разрушенного погреба, то распавшееся колесо с гнилыми спицами. Ветер, воздух и дождь быстро всегда разрушат и обесцветят брошенную человеком в поле или в лесу вещь, а тут не один, видно, год прошел... По ширине поля можно было понять, что деревня стояла тут немаленькая.

Мы не дошли до конца, повернули. Дядя Максим, почесываясь и щурясь со сна, ждал нас на крыльце.

Мы прошли в дом, пили холодный и хмельной медовый квас, разглядывали застекленные рамки с фотографиями, вышитые петухами полотенца, а сухое поле все стояло перед глазами, и представлялось, какие были здесь дома, какие люди жили, как шли вечером домой коровы и ребягтя играла на улице. Все дело в том, что после войны почти не осталось в деревне мужчин, да и сама она

состояла уже из двенадцати только домов. Соседняя Соколовка, деревня большая, с клубом и школой, притянула к себе последних «японцев» — они разобрали и перевезли туда свои дома.

Дядя Максим рассказывал, что тоже продает дом, переходить хочет в деревню, надоело тут одному, но сюда охотников не находится, и, видно, придется продать на слом или перевозить тоже, но перевозить дорого встанет.

— Ничего, значит, не останется от Японии?

— Так ничего и не осталось, мы уж не в счет.

— Так ведь жалко...

— Жалко, да ведь не таковое еще теряли-то, чего там!



Он говорил бодро, и видно было, что ему действительно надоело тут и не жалко Японии. Я думал, что, будь деньги, я бы купил этот дом и стал жить здесь, а дядя Максим, наверное, если ему предложить, с радостью уехал бы в город...

Мы возвращались на Шишку другой дорогой и вышли туда, откуда доносился упорный рев трактора. Это среди леса, вблизи бывшей Японии, ведут дорогу-шоссе от Москвы. Прорубили уже просеку, и теперь возят песок и гравий, и сбивают его бульдозерами с двух сторон в насыпь, и трамбуют ее сверху, спрессовывают. Мы постояли и поглядели, как наползает трактор со своим тяжелым ножом на насыпь: откатывается и снова наползает, окутываясь синим дымом и свирепо рыча... Пройдет год-два, и полетят по новенькому шоссе, мимо бывшей Японии, машины...

Мы поехали по Шевакалу поглядеть, не распустились ли наконец лилии. Несколько вечеров подряд ездим, но они все стоят в воде твердыми, замкнутыми и острыми бутонами, не раскрываются. Вот и теперь я подвел лодку к знакомому месту, недалеко от берега, а лилии все такие же. Но Лида решила нарвать букет,— может, распустятся. Она поставила их потом в избе в банку, укоротив их длинные и гибкие стебли, и они, действительно, раскрылись к утру, белые, чистые, в своих коричнево-зеленых чашечках. Я смотрел на них и будто снова плыл по зеленому Шевакалу, видел, как наклоняется Лида с лодки и вытягивает из воды гибкие цветы, видел, как стоят над водой и отражаются в ней кусты, как вдаль густеет над озером пахнущий болотом туман, ранняя луна встает над лесом, а с берега слышится Шурино «ути, ути, ути!».

Мы уезжали в это утро, и Лида держала белый букет в руках, стоя уже у машины, перед распахнутой дверцей.

Шура заплакала, и у Ивана лицо задергалось и исказилось, он что-то говорил протестующе, и Шура говорила тоже, и мы во второй раз обнялись и расцеловались.

И уехали. А они стояли на дороге и махали нам вслед, а потом сразу пропали, потому что мы въехали в лес.

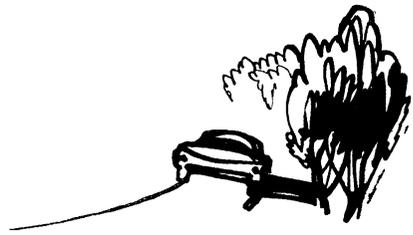
Лида отвернулась и молчала, потом вытерла слезы. Лилии, распустившиеся и красивые, лежали у нее в подоле на коленях.

Зеленый наш рай убежал и убежал назад, мелькая в окнах машины.

Потом Лида сказала:

— Я поняла, они же как святые...

И мы снова умолкли, и молчали так долго, что Анатолий, знакомый шофер, сам не очень-то разговорчивый парень, в конце концов обернулся и поглядел на Лиду, потом на меня: не случилось ли с нами чего?..



НОВЫЕ СТИХИ

Эко дело!

Дерево пожелтело.
С этого началось:
Что-то в нем задубело,
Сдвинулось,
Надорвалось.

Может — слоев смещенье,
Скрытое до поры,
Как при землетрясенье
Складок земной коры?

И потекла живица
Лавою
Вдоль ствола,
Чтоб янтарем сгуститься;
Может, начало зла

Было в безмерном росте:
К небу вознесено,
Стронцием-90
Дерево облучено?

Или жучки-короеды
Взяли его в полон.
Сверху валились беды,
Снизу,
Со всех сторон.

Кто-то инициалы
Вырезал на стволе,
Сук в снегопад сломало...
Мало ль какие шквалы
Гнули его к земле!

Желтые в хвое пятна —
Желтая сыпь в бору.
Поналетели дятлы,
Выстукали кору.

Выдюжит ствол могучий —
Жалко его рубить!
Может, на первый случай
Следует полечить?

Может, лишь отдыхает,
Не умирает оно,
Просто наряд меняет,
Стужей обожжено?

Просто чуть приболело
Справится —
Не бревно!

Но уже все решено:
— Дерево?
Эко дело!
Лесу вокруг полно.

Следы

На опушке рощи,
Около воды —
Вязью по пороше
Свежие следы.

Разбираю почерки:
Вот чей-то скок,
Лисьи цепочки,
Птичий бисерок.

Кривули чьи-то
В белую гладь
Прошвой вшиты,
Чьи? — не узнать.

Протянула мышка
Тесьму хвостом...
Вязанье,
Вышивка
Гладью
И крестом.

Тетерев — крестиком,
Рябчик — тож.
Куропаток шествие —
Понимай как хошь.

Заячье плетенье —
Смех и грех:
След с оформленьем —
К ореху орех.

Чудо что творится,
И все — на виду:
Не птицы — кружевницы;
Пяльцы и спицы
У зверей в ходу.

Вот как разделано!
Дивлюсь пестроте...

Все на снежно-белом,
На тканом холсте.

Душа

Странно:
Дышим — идет парок.
Говорят:
Душа показалась.
Как я этому верить мог?
Быть не может, чтоб только парок!
Не такой душа представлялась.

Улетучилась,
Не уберег —
Ничего в груди не осталось.

Пустота,
Хоть шаром покати,
Только ребра торчат, как стропила.
Почему же мне трудно идти?
Отчего не легче в груди?
Что в ней все-таки раньше было?

Свежей выпечки

С пылу, с жару,
С поду,
С ходу —
Свежей выпечки
Хлеб народу.

Будто свадебные,
Пудовые
Пироги подовые,
Пышки и плюшки,
Батоны и сдобы,
Бублики и сушки —
Разламывай,
Пробуй!

Из муки мелкомолотой,
Чисто просеянной
Шаньги желтые,
Вроде листья осенние.

Спасибо сердечное,
Поклон особый
Тебе, моя сельщина!
Вам, хлеборобы!

Из вашей муки
Калачи продаются
И в домах пирожки
Жарятся
И пекутся —
С грибками,
С морковью,
С капустой —
Чудо!
А главное — с любовью,
А главное —
Повсюду.

Ешьте на здоровье,
Русские люди!

Кричали грачи

Теперь здесь лен-долгунец,
пшеница,
И рожь любой похвалы достойна.
Земля добра.
А в этих границах
Была когда-то
уездная бойня.

Все в памяти живо:
крапива, кустарник,
Высокий забор по берегу речки,
Березы, как в парке...
А пахло овчарней
И кровью,
Тоже, конечно, овечьей.

В березах грачи кричали тревожно,
Но жизнь текла —
светла и спокойна.

Работа спорилась,
Все шло как должно:
По форме,
По норме
И в очередь —
Бойня!

И только когда прибывала отара —
Преображалась мирная пристань,
Как будто белые клубы пожара
Врывались сюда
из далей лесистых.

Вдруг начиналось столпотворенье,
Шараханье
от березы к березе,
Куда исчезало овечье смирение?
Покой и порядок —
Все под угрозой.

Повалят забор
да ринутся с кручи —
Стихию попробуйте укротите!
Но был на бойне
на этот случай
Баран Гапон,
Баран-предводитель.

Понятно, ему особое поило,
Запарка, заварка,
муки в излишке,
Охранный билет,
особое стойло
И никакой там стрижки
и брижки.

Барана пускали
в смятенное стадо,
И он,
отъевшийся,
мудрый и старый,
Легко восстанавливал нужный
порядок
И неторопко
Туда, куда надо,
Тянул за собой овечью отару.

Кричали грачи
тревожно
по-грачьи
Над мирной, как парк,
уездною бойней...
А если б грачи кричали иначе,
Казалось бы — беспокойно.

О чужой душе

Я не хотел причинить вам зло
И — невдомек,
Что мог.
Доброе чувство меня влекло
В дом ваш,
На огонек.

В ранний час,
В полуночный час
С глазу на глаз не раз —
Я ничего не хотел от вас,
Я отдыхал у вас.

Как вы подумать только могли,
Что от семьи бегу?
Ваш переулочек —
Не край земли,
Я — не игла в стогу...

В мире то оттепель, то мороз,—
Трудно тянуть свой воз.
Дружбы искал я,
Не знал, что нес
Столько напрасных слез.

Я от тревог искал уголок,
Душу свою храня,
А о чужой — невдогад,
Невдомек...
Пусть же отныне ваш огонек
Потухнет для меня.

Отходная

О, как мне будет трудно умирать,
На полном вдохе оборвать дыханье!
Не уходить жалею —
Покидать,
Боюсь не встреч возможных —
Расставанья.

Несжатым клином жизнь лежит
у ног.
Мне никогда земля не будет пухом.
Ничьей любви до срока не сберег
И на страданья отзывался глухо.

Ни одного не завершил пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва.
Куда уж там летит —
Ее по свету шальный ветер носит.

Потери сердца людям не видны,
Но вдохновенье в дверь стучит все
реже.

Ни от своей,
Ни от чужой вины
Не отрекаюсь.
А долги все те же.

Сбылось ли что?
Куда себя девать

ПОСТОЯНСТВО

• • •

Тяжелеет
в Туре вода.
Навешают землю
холода.
И кричит на реке лесовоз,
берега
соединя криком.
Он кричит
о простом и великом.
О том,
что пора
погружаться в затон.
Что в затоне вода —
не вода.
Перечеркнута
зеленью льда...
Не беда —
не отречься от риска
и не стать
соучастником крика.
На приколе — вода.
На ремонте — суда...
Намечаются холода.

• • •

Я бежал,
беспомощно ликуя,
пересекая улицу
слепую.
Меня
мальчишки невзлюбили.
У них отцы
домой не возвращались,
а мой
при орденах
пришел с войны...
Меня не били —
просто невзлюбили.
И в этой беспощадной
доброте
я понял:
в чем-то
виноват отец...
Мальчишки
перед лаской
так робели.
Наверное, от отчимов
грубели.

И гладили их отчимы,
как отчимы —
привычно,
осторожно,
озабоченно.
Мальчишкам снились
одинаковые сны
за то,
что мой отец
пришел с войны.

• • •

Прямолинейный самолет,
ответь:
в чем совершенство
мертвых петель,
которых мне
не совершить —
чтоб вывернуться
и ощутить
несовершенство
мертвых петель?
Или, срезая высоту,
увидеть блеск
на синем срезе
и удивиться этой встрече —
спокойствия и высоты.

• • •

Художник смешивает краски.
Гремит по мертвому холсту.
Он преступает пустоту
и предает ее огласке.
Он верит свято
в пекло света.
Когда он отрывает кисть,
не шевельнется в нем бесплодие:
он правит кровью,
платит плотью.
Свирепо и неисправимо
осуществляется мазок...
Кисть —
как прерванная пуповина.
Остальное
художник
сжег.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

В начале 1919 года из Дании в Москву приехал Яков Захарович Суриц, профессиональный революционер, долгие годы находившийся в эмиграции.

Февраль 1917 года застал Сурица в Швейцарии. Он пытался выехать на родину, но ему не удалось получить визу для проезда через Германию. Потом в России началась гражданская война, за ней — интервенция, и Суриц застрял в Копенгагене. Об этом стало известно Ленину. Суриц был назначен представителем Советской республики в Дании, и Владимир Ильич поручил ему важную миссию. В Западной Европе томилась тогда масса русских военнопленных, многие из них оказались и в Дании. Их надо было во что бы то ни стало вызволить. Датское правительство вело себя сравнительно лояльно. Это давало надежду на успех дела, и Владимир Ильич через Наркоминдел уполномочил Сурица вести переговоры. Но связь с Данией прервалась, и в Москве не знали, удалось ли выполнить поручение Ленина.

Когда Владимиру Ильичу сообщили, что приехал Суриц, он немедленно пригласил его к себе. Поднявшись навстречу, Ленин крепко пожал гостю руку.

— Здравствуйте, датский пленник, как прошли переговоры?

Суриц отвечал, что миссия не увенчалась успехом. Переговоры он начал, но датчане запросили слишком большую сумму.

— Сколько же они требуют, эти милые датчане? — спросил Владимир Ильич.

Суриц назвал сумму. Она была не по карману правительству, обладавшему пустой казной.

— Ну, знаете, — развел руками Владимир Ильич. — Вы — еврей, сын купца второй гильдии, а не могли выторговать у датчан наших военнопленных! В торговцы не годитесь. Займитесь дипломатией. — И сразу

же перешел к делу: — Вот что, Яков Захарович, есть такая страна, которой весьма интересуются англичане. Надо и нам ею поинтересоваться. Тем более что эта страна — наш сосед и мы хотим с нею дружить. Называется она Афганистан. Вы поедете туда послом.

Тем временем положение русских военнопленных в Европе резко ухудшилось. В начале 1919 года Антанта и Германия договорились, что немцы не будут отпускать русских без согласия Англии и Франции. Это была коварная сделка: военнопленных начали вербовать в белогвардейские армии. 21 января 1919 года Народный комиссариат по иностранным делам послал правительствам стран Согласия ноту, в которой заявил: «Правительство Российской Советской Республики клеймит перед всеми народами поведение тех, кто, издеваясь над самыми элементарными человеческими чувствами, хотя бы заставить военнопленных, вышедших из рядов русского народа, к участию в борьбе против русских народных масс, из рядов которых они вышли, причем это нарушение основных принципов международных отношений переносит нас к самым варварским эпохам истории человечества».

Положение русских солдат в Германии и в других странах стало поистине отчаянным. Долгие годы они были оторваны от родины, жили в нечеловеческих условиях. Их ждали семьи, ждала революция.

Военнопленные бежали из лагерей, пытались пробиться через линию фронта, погибали в пути от голода и морозов. Но даже оторванные от России, они не теряли веры в нее, стремились к ней всеми своими помыслами.

В феврале 1919 года в Берне проходила международная конференция партий II Интернационала. Узнав об этом, русские военнопленные из немецкого лагеря Гарде-



*М. М. Литвинов. Женева, середина 30-х годов.
Публикуется впервые.*

леген направили туда письмо с просьбой о помощи. Этот документ молчал полстолетия. Пусть он заговорит теперь¹.

«Господину Председателю социалистической интернациональной конференции в г. Берне.

Мы, русские военнопленные лагеря Гарделеген, в числе четырех с половиной тысяч (4500) человек, обращаемся к Вам, господин Председатель, и всем представителям Бернской конференции с покорнейшей просьбой об оказании содействия в скорейшей отправке нас на родину. Мы не знаем, по какой причине задержаны и даже на какое время. Все те доводы, которые нам сейчас сообщают, как-то: голод, расстройство железнодорожного сообщения и беспорядки в России, по нашему убежде-

нию, не могут служить причиной нашей задержки, потому что большая половина из нашей военнопленной среды была уже отправлена при тех же условиях, какие существуют и сейчас. Что же касается голода и других лишений, то мы готовы переносить их вместе со своими родными и теми 175 миллионами русских граждан, которые находятся на дорожной и близкой сердцу нашему родине.

Дальнейшую же задержку нашу мы считаем по отношению к нам насилием, с какой бы стороны это ни исходило. А потому мы еще раз обращаемся к Вам — не оставить нашей просьбы гласом вопиющего в пустыне...

За все время пребывания в плену, мы, русские военнопленные, больше других перенесли лишений и страданий. И теперь, когда уже окончилась война и бывшие наши союзники по оружию и товарищи по плену находятся на родине, в кругу своих родных и семей, нас, несчастных страдальцев и мучеников произвола старой России и Германии, — каких-нибудь полмиллиона, оставляют еще на неопределенное время и обрекают на новые страдания при тех же условиях, какие были во время войны, в тех же четырех стенах за целой сетью выставленных ружей и штыков. Помощь продуктами и улучшение нашей жизни в лагере нисколько не облегчат нашего страдания и тоски по родине, не уменьшат и не залечат тех ран, которые нанесли нам за время нашего пребывания в плену.

Оторванные от дорогой нам Родины уже целые годы, мы лишены связи со своими родными и семьями и не знаем о их судьбе, а также и они о нашей. Все это приводит нас в отчаяние.

Пусть нас ожидают на родине лишения, пусть ожидает смерть, мы все готовы это принять, чем оставаться здесь, в чуждой нам стране, хотя бы один лишний день.

Мы надеемся, что представители Бернской интернациональной конференции придут нам на помощь со своим веским словом и избавят нас от дальнейших страданий.

Председательствующий — П. Кузубый (?)
Секретарь — В. Башилов

Февраля 16 дня 1919 года
№ 2

Лагерь Гарделеген».

Письмо это было подшито к бумагам Бернской конференции и действительно осталось гласом вопиющего в пустыне. К 1919 году русские пленные находились уже не только в лагерях Тройственного

¹ Автор разыскал его в архивах II Интернационала.

союза. Четырнадцать государств вели интервенцию против Советской республики. Много мирных граждан угнали англичане и другие интервенты из Архангельска и Вологды. Немало русских попало в английский плен.

13 августа 1919 года народный комиссар по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин послал для сведения всех правительств мира радиотелеграмму о зверском обращении с русскими военнопленными, находившимися в английском плену. «С негодованием и отвращением,— говорилось в ней,— Советское правительство узнало об ужасном, бесчеловечном обращении, которому подвергаются русские военнопленные со стороны английского командования в Архангельске... Красноармейцы, бежавшие из британского плена, сообщали, что многие из их товарищей были расстреляны немедленно после взятия их в плен... Им постоянно грозили расстрелом за отказ от вступления в славянско-британский контрреволюционный легион и нежелание изменять своим прежним товарищам по оружию...»

А Красная Армия наступала, отбрасывая интервентов, вышвыривая их из России. В русском плену оказалось много англичан. Советское правительство не раз заявляло, что по-разному будут в России относиться к пленным английским солдатам, которых насильно послали свергать Советскую власть, и к тем, кто добровольно пошел сюда воевать против рабоче-крестьянского государства. К английским пленным были допущены представитель британского Красного Креста полковник Паркер и мисс Адамс; они имели возможность убедиться, насколько гуманна пролетарская Россия.

В те же дни 1919 года английские пленные через Наркоминдел обратились к британскому правительству с просьбой провести с Советской Россией общий обмен военнопленными. Английский министр иностранных дел лорд Керзон долго тянул, вялял, и только 7 ноября правительство Великобритании дало окончательное согласие на приезд советского делегата для переговоров в нейтральную Данию. Советское правительство назвало своего делегата: Максим Максимович Литвинов.

Из Лондона сообщили, что переговоры с Литвиновым в Копенгагене будет вести Джеймс О'Греди, член парламента.

* * *

Всего год назад, в конце 1918 года, Литвинов был выпущен из лондонской тюрьмы Брикстон и смог оставить Англию, где провел последние десять лет своей эмигрантской жизни,— его обменяли на английского разведчика Брюса Локкарта. Максим Максимович собирался было ехать с первым рейсовым пароходом, но в стране свирепствовала инфлюэнца, заболел ею и маленький Миша — первенец Максима Максимовича. Пришлось повременить с отъездом. Это спасло Литвинову жизнь: пароход, которым он должен был ехать, подорвался

на немецкой mine, и все пассажиры погибли.

После возвращения в Россию Литвинов был назначен членом коллегии Народного комиссариата иностранных дел и сразу же по поручению Ленина выехал в Стокгольм.

Советским представителем в Швеции был тогда Вацлав Вацлавович Воровский. Полпредство стремилось установить хорошие отношения с шведскими деловыми кругами, подготовить почву для размещения заказов на паровозы, турбины для гидростанций и другое оборудование. Дело продвигалось туго. Отношения со Швецией висели на волоске, каждый день из-за происков Антанты можно было ожидать полного разрыва с этой нейтральной страной. А тут еще вокруг посольства вертелись какие-то подозрительные личности. Царский генерал Иванов, темный делец Митька Рубинштейн, родственник сахарозаводчика Бродского, пытались выступать в роли посредников между полпредством и деловыми кругами, крупно заработать на этом.

Литвинов помог Воровскому избавиться от этой публики. Лишние люди были и в самом полпредстве — например, несколько месяцев там находился представитель морского флота, неведь за чем приехавший из Москвы. Он бездельничал, но аккуратно получал суточные. На новогоднем вечере Литвинов предложил тост за «схухопутного морского офицера», и тот сразу же уехал.

Литвинов должен был из Стокгольма обратиться ко всем странам Антанты с предложением о мире. 23 декабря он выполнил это поручение Владимира Ильича. Обращение получило большой отклик, но тем большую ярость оно вызвало в Лондоне и Париже. Там понимали, что каждый миролюбивый шаг Советской республики привлекает к ней симпатии многомиллионных народных масс, уставших от войны. Козни против советских дипломатов в Стокгольме стали еще более злобными. 30 января 1919 года Литвинов, Воровский и другие советские дипломаты покинули Стокгольм и в запломбированном вагоне выехали на родину.

В Москве Литвинову пришлось заняться не только дипломатическими делами. Совнарком назначил его членом коллегии Народного комиссариата государственного контроля. Владимир Ильич знал Максима Максимовича по годам эмигрантской жизни в Женеве, в Цюрихе, когда тот заведовал хозяйством «Искры», а затем — всеми транспортными делами партии и в значительной степени ее финансами.

В начале 1919 года Литвинов участвовал в заседаниях Совнаркома, на которых часто председательствовал Владимир Ильич. Не было второстепенных вопросов для вчерашних ниспровергателей, ставших создателями нового мира. Вопросы решались Советом Народных Комиссаров самые разные — о кооперации, о мерах борьбы с хищениями проволочи на улицах Москвы, о помощи русским военнопленным и их семьям, о засыпке семян в Кунгуре и при-

чинах недовольства крестьян в этом районе, о помощи жертвам еврейских погромов, о борьбе со спекуляцией и сыпным тифом. Все это касалось государственного контроля, и Литвинов погрузился в круговорот событий и забот.

Наступила осень 1919 года. Деникин захватил Харьков, Орел и грозил Туле. Над Петроградом сгустились тучи. И вдруг появилась надежда, что хоть на каком-то клочке земли удастся достигнуть мира: эстонское правительство заявило о своей готовности начать мирные переговоры с Советской Россией. Совнарком назначил Литвинова главой делегации. Переговоры намечались в Пскове и Тарту, и Максим Максимович собирался выехать туда вместе с Воровским, но Вацлав Вацлавович неожиданно заболел.

Накануне отъезда Литвинов написал Ленину записку: «Владимир Ильич, Воровский занемог и ехать не может... Вместо него поедет Красин, изъявивший на это свое полное согласие. Выезжаем завтра в 7 ч. вечера. Я счел нужным включить в мандат полномочие на подписание договора. Пусть знают, что у нас были серьезные намерения. Ваш М. Литвинов».

Однако у правительства буржуазной Эстонии «серьезных намерений» не было. Советская делегация прибыла во Псков, но началось наступление Юденича, и эстонцы прервали переговоры. Литвинов и Красин возвратились в Москву. Как раз в это время завершились переговоры с Керзоном, и Литвинову сообщили, что в ближайшее время он выедет со специальной миссией в Данию.

Отъезд из Москвы был намечен на середину ноября. Пребывание в Дании могло затянуться, и Литвинов тщательно готовился, обсуждал с Чичериным все возможные возникнуть ситуации.

Решено было, что в Данию с Литвиновым отправится сотрудник Наркоминдела Роза Абрамовна Зарецкая, владевшая несколькими иностранными языками, имевшая большой опыт секретарской работы и общения с иностранцами. До Дорпата — так тогда называли Тарту — Литвинова должен был сопровождать Август Гансович Умблия, старый питерский рабочий, участник революции. Умблия был стрелком в охране Чичерина и секретарем бюро партийной ячейки Наркоминдела.

Когда Умблия сказали, что с Литвиновым едет Зарецкая, он возразил, заявив, что в делегации надо усилить партийную прослойку, и предложил, чтобы с Литвиновым поехала сотрудница Наркоминдела Диза Эдуардовна Миланова, молодая женщина и старый член партии, прекрасно показавшая себя во время октябрьских боев в Ревеле, где она была членом ревкома.

Случилось так, что точка зрения Августа Умблия стала известна Ленину. Владимир Ильич попросил одного из членов Политбюро РКП(б) выяснить, чем недоволен секретарь партийной организации, и помочь справедливо решить вопрос.

Август Умблия собрал ячейку. Член Политбюро попросил всех присутствовавших высказаться по этому вопросу, а затем взял слово. Он сказал, что Литвинову предстоит трудная миссия и будет целесообразно, если с ним поедут две сотрудницы. Член Политбюро добавил, что партия доверяет и беспартийным и что надо беречь и уважать интеллигенцию, ибо Советская власть не может жить без интеллигенции.

Партийная ячейка согласилась с этой точкой зрения. На этом вопрос был исчерпан.

* * *

Накануне отъезда Литвинов вызвал к себе Миланову и Зарецкую. Внимательно оглядев их, спросил, в чем они поедут за границу. Женщины, пожав плечами, ответили, что весь их гардероб — на них: на Милановой была кожаная куртка полуголового образца, в которой она воевала против контрреволюции в Ревеле, на Зарецкой — теплый жакет.

Предупреждая вопросы, Литвинов сказал, что денег нет и придется обойтись без пальто, а вот платья надо надеть широкие, с воланами.

— Почему широкие и почему с воланами?

— Так надо, — в обычной для него манере пробурчал малоразговорчивый Литвинов.

— Какое отношение имеют воланы к революции?

Литвинов, помолчав, сказал:

— Это вы увидите. Через два часа я жду вас в этой комнате. Если нет платьев с воланами, попросите у кого-нибудь. Хотя бы одно.

Через два часа Миланова и Зарецкая снова были в кабинете Литвинова. Женщины стояли у окна, ожидая, что будет дальше.

В это время в кабинет Литвинова вошел бухгалтер Наркоминдела. В его руках была тарелка. Он шел, осторожно ступая, как бы боясь расплескать ее содержимое. Тарелка была прикрыта салфеткой.

Бухгалтер подошел к столу, поставил свою тарелку и сказал:

— Ну вот я и принес.

Женщины думали, что бухгалтер принес что-нибудь вкусное, может быть даже тараньку. Словно замороженные, смотрели они на тарелку. Бухгалтер взял двумя пальцами салфетку и осторожно приподнял ее. И они разочаровано вскрикнули: в тарелке, сверкая острыми иглами лучей, лежали бриллианты.

Литвинов скупо пояснил:

— Денег у нас нет, а пленных выручать надо. За эти камушки из царской казны мы получим наших людей. В Копенгагене через банк обменяем на валюту. Камушки зашьете в подол своих платьев и в воланы.

В тот же день вечером Максим Максимович отправился к Владимиру Ильичу.

* * *

В первые дни ноября над Россией нависли новые грозные события. Юденич продолжал наступать на Петроград, а Деникин все еще пытался прорваться к Туле. Но Владимир Ильич делал все возможное, чтобы отметить двухлетний юбилей революции — выступил с большой речью на торжественном заседании, писал статьи. Ленин председательствовал на заседаниях Совнаркома, занимался вопросами снабжения уральских рабочих, решал десятки и сотни других вопросов. А тут еще Ленину сказали, что вот уже несколько дней Третьяковская галерея без дров, бесценные картины под угрозой гибели. Он вынес этот вопрос на очередное заседание Совнаркома, составил проект постановления об обеспечении топливом Третьяковской галереи, а заодно — библиотек и других культурно-просветительных учреждений.

И в этом страшном круговороте событий Владимир Ильич помнил о предстоящем отъезде Литвинова и вызвал его к себе.

Каждый раз, когда они виделись, у Владимира Ильича и Литвинова в памяти возникали многочисленные их встречи в Женеве, Берне, Цюрихе, Лондоне, на съездах партии и на конгрессе II Интернационала в Штутгарте, где Владимир Ильич был главой, а Литвинов — секретарем делегации российских социал-демократов. И еще знаменательная для Литвинова встреча в библиотеке Куклина в предвоенном 1913 году, когда Ленин пригласил Литвинова из Лондона в Женеву, чтобы выслушать его мнение о положении в английском рабочем движении и доклад о политической обстановке в Европе. Вскоре Максим Максимович был назначен представителем Российской социал-демократической рабочей партии во II Интернационале, и между Лениным и Литвиновым завязалась оживленная переписка, которая уже не ослабевала до самой революции.

После возвращения Литвинова в Россию Владимир Ильич все собирался о чем-то расспросить его, выяснить какие-то вопросы, на которые не успел получить ответа в письмах, но у Ленина все не выдавалось свободного времени.

Он и на этот раз только улыбнулся, давая этим понять, что нет, мол, времени и сегодня, но что они обязательно еще как-нибудь поговорят обо всем недоговоренном, и сразу же приступил к вопросу о предстоящей поездке в Данию.

— Как только приедете в Копенгаген, разошлите мирные предложения Советского правительства во все посольства, аккредитованные в датской столице. Продолжайте ту же линию, какую вы проводили в Стокгольме. Пусть все знают, что мы хотим мира. А пленных выручите обязательно. Обязательно! Это будет наша внешняя и внутренняя победа.

После беседы с Владимиром Ильичем Литвинову передали два мандата: на веде-

ние переговоров с государствами, отделившимися от России после Октябрьской революции, и на переговоры об обмене военнопленными.

На следующий день утром народный комиссар торговли Красин вручал Литвинову еще один мандат — на ведение торговых переговоров со всеми скандинавскими странами. Вечером группа Литвинова выехала в Ревель. На границе его должен был встретить секретарь министерства иностранных дел Эстонии Томискас. Эстонское правительство предупредило, что как только Литвинов приедет в Ревель, оно передаст советского дипломата английским властям и снимет с себя ответственность за его жизнь.

* * *

Старый вагон, дребезжа всеми винтиками, катил по Виндавской дороге. Из-за неисправного пути поезд часто останавливался. До Пскова тащились долго. Там делегатов из Москвы встретили эстонцы. Антанта блокировала западную границу Советской России, и буржуазная Эстония принимала участие в блокаде.

Теперь предстояло пересечь фронт. К дому, где остановился Литвинов, подъехал крытый грузовичок, напоминавший санитарную карету. Окна кузова были замазаны краской и заклеены темной бумагой. Литвинова и его спутников посадили в кузов, в шоферскую кабину сели военные. Дверь наглухо закрыли, и машина тронулась.

Ехали по каким-то дорогам, через ухабы, рытвины. В Дорпате (Тарту) «узников» выпустили. Буржуазная пресса разрезвонила, что в Эстонию приезжает известный большевик Литвинов, который направляется через Ревель в Данию. На городской площади собралась толпа любопытных. По этому живому коридору Литвинов проехал в гостиницу.

В Дорпате Умблия попрощался со своими спутниками и уехал в Псков. Литвинов уточнил с представителями эстонского министерства иностранных дел вопрос обо всех дальнейших формальностях и в сопровождении дипломатов и жандармов отправился в Ревель.

Жандармы вели себя назойливо, не пустили Литвинова без сопровождения даже в туалет. Пытались они так же «опекать» и сотрудник Литвинова, но после устроенного им скандала, недовольно ворча, отстали.

...Эстонская столица встретила Литвинова усиленным жандармским конвоем. В городе чувствовалась фронтовая обстановка. На внешнем рейде оцетинились пушками военные корабли. Невдалеке чернел стальными боками английский крейсер, на котором Литвинов должен был уехать в Копенгаген.

Переговоры с министерством иностранных дел по вопросу о прекращении военных действий продолжались несколько дней. Министр и его чиновники все время напоминали, что не отвечают за жизнь со-

ветского дипломата. Каждую минуту можно было ожидать провокаций со стороны белогвардейцев, которыми кишела эстонская столица. Миланова выехала из Москвы с паспортом на имя Коробовкиной, но в Ревеле ее многие знали в лицо как члена ревкома, и это еще более осложняло ситуацию.

Как всегда, Литвинов придерживался строгого распорядка дня: вовремя завтракал, обедал и ужинал, попросил секретаря министерства иностранных дел, чтобы тот показал его сотрудницам город, осмотрел Ревель сам.

* * *

Через три дня группу Литвинова переправили на крейсер и передали английскому командованию. Встречавший советских дипломатов офицер был сух и официален. Показал отведенную Литвинову каюту, сказал, что женщины будут находиться в другом конце крейсера. Предупредил, что с командой разговаривать запрещено. И ушел.

Крейсер развернулся, прошел сквозь строй блокирующих кораблей и взял курс на Копенгаген. Шел дождь. Балтика гнала волны. Сумрачный осенний день опрокинулся над морем. Крейсер казался вымершим. На палубе ни души. Матросов загнали в кубрики.

Вечером к Литвинову зашел офицер, увел Миланову и Зарецкую в другой конец крейсера. Они шли по качающейся палубе мимо орудий, ящиков, путаясь в закоулках, с ужасом думая, что какой-нибудь острый бриллиант протрет ткань и покатится по палубе.

Каюты показались им чуть ли не камерой смертников. Они сидели молча, потом не выдержали, вернулись к Литвинову. Прошла ночь. И снова настал день. Палуба по-прежнему казалась вымершей. Лишь по углам маячили офицеры, бдительно следили за тем, чтобы матросы не выходили из кубриков.

К вечеру показались огни Мальмё. Это была Швеция.

На третьи сутки крейсер прибыл в Копенгаген.

* * *

Тихий, чинный, благополучный Копенгаген дышал покоем. Война бушевала где-то там, в Европе. Нейтральная Дания торговала беконом, продавала его и Антанте и Германии, тихоноко наживалась на этом. Правда, ландшафт Дании несколько портили своим убогим видом русские пленные, но ведь они были не в Копенгагене, а на фермах, в лагерях, пересыльных пунктах...

На пристани Литвинова уже поджидали шпикеры. Их было семеро, все мордастые, розовощекие, в одинаковых костюмах и шляпах, со стеклами и без стеков. Эта «великолепная семерка» словно тень двигалась за Литвиновым и его сотрудницами все десять месяцев их пребывания в Дании.

Поселился Литвинов в гостинице на пятом этаже, куда лифт не ходил. Это стоило дешево. Литвинов поручил Зарецкой вести книгу расходов, ежедневно записывать, сколько и на что истрачено.

Первый же час на датской земле ознаменовался скандалом. В отеле распространился слух, что из России прибыли большевики. Богатые фермеры-свиноводы, приехавшие вместе со своими дородными подругами в столицу повеселиться, немедленно вылетели из своих номеров. Хозяин отеля был в панике, сказал, что его разорили, но выселить советского дипломата не решился. Литвинов все же находился под опекой министерства иностранных дел.

Неприятности первого дня на этом не кончились. Перед гостиницей появились пикеты хулиганствующих белогвардейцев. Они горланили, пытались ворваться в отель. Датские коммунисты установили здесь дежурство, взяли на себя охрану жизни и неприкосновенности группы Литвинова.

Постепенно к «семерке» привыкли. Литвинов смотрел на них с иронической улыбкой. Они совсем не были похожи на тех, кто до того двадцать лет подряд охотился за ним по всей Европе. Литвинов начал «приручать» их. Как-то ему срочно понадобился автомобиль. Он повернулся к одному из шпиков и приказал ему вызвать такси. Тот моментально выполнил поручение.

Миланова и Зарецкая имели «своих» шпиков. Те не надоедали им, следовали на почтительном расстоянии. Женщины впервые попали в Копенгаген, не знали города. Миланова как-то подозвала шпика и сказала ему:

— Чем следовать за нами без дела, лучше покажите нам город.

Тот охотно согласился, водил своих «подопечных» по Копенгагену. Когда вернулись к гостинице — отстал.

Литвинов не заявлял протеста по поводу усиленной слежки. Но полицией-президент сам приехал к советскому дипломату, извинился, стал уверять, что его сотрудники, мол, отнюдь не следят за Литвиновым, а... охраняют его от белогвардейцев.

Пребывание Литвинова в Копенгагене вызвало большие отклики в прессе. Датские газеты печатали разные небылицы, явно инспирируемые из Лондона, распускали дикие слухи о положении в Советской России. В ресторан при гостинице, где бывал Литвинов и его сотрудницы, зачастую посетители, которые лорнировали советских женщин, о чем-то оживленно переговаривались. К официанту, который обслуживал соседние столики, то и дело подходили какие-то люди, и тот, указывая на русских, охотно пояснял:

— Да, да, это и есть две национализированные советские женщины...

Официант на этом «подрабатывал». Миланова решила проучить его: в одну из очередных «смотринок» публично отчитала его. Притом на хорошем датском языке. «Экскурсии» прекратились.

Методично и настойчиво Литвинов шел к цели, ради которой приехал в Данию: по совету Владимира Ильича он разослал во все посольства предложения Советского правительства о мире.

В Копенгагене эти послания также старались замолчать, но теперь высылки не последовало, а слух о мирной акции Советов все же начал распространяться по датской столице. Первыми зашевелились представители торговых кругов...

Литвинов изучал обстановку в стране и в соседних скандинавских столицах, искал контактов с промышленниками и дипломатами, собирал информацию о русских пленниках. Газеты давали богатый материал. Миланова и Зарецкая помогали составлять для Москвы ежедневные обзоры прессы.

Отношения с датским министерством иностранных дел на первых порах установились корректные. Но вопрос решали не датчане, а англичане. В Копенгаген прибыл О'Греди, лейборист, член парламента, старый опытный профсоюзный босс, и 25 ноября начались переговоры.

В Лондоне знали, кого посылают на переговоры с Литвиновым. Когда началась мировая война, мятежные ирландцы не желали воевать за угнетающую их Англию. Ирландцу О'Греди поручили особую миссию — провести мобилизацию ирландцев. Он выполнил эту миссию и получил благодарность короля и правительства.

О'Греди считался знатоком России. Вероятно, на том основании, что сразу же после Февральской революции вместе с Артуром Гендерсоном, секретарем лейбористской партии, прибыл в Петроград подбодрить Керенского и заставить истекающую кровью Россию продолжать войну.

Внешне О'Греди являл собой тип чрезвычайно добродушного человека. Выше среднего роста, необычайно полный, он был неизменно любезен, подчеркивал стремление к взаимопониманию. Только один раз скороговоркой заметил, что трудно найти общий язык со страной, которая-де уничтожила венценосную особу. Литвинов ответил, что, если ему память не изменяет, в Англии дважды катились с плахи головы венценосных особ... О'Греди переменял тему разговора, потонул в клубах сигарного дыма.

На переговорах вместе с О'Греди почти все время присутствовал маленький плюгавый человечек, сотрудник Скотланд-ярда. Числился он секретарем ирландца. Никогда не улыбался.

Переговоры шли медленно. О'Греди то и дело предлагал новый вариант обмена. Англия продолжала задерживать угнанных гражданских лиц и военнопленных. Литвинов с железным терпением повторял советские требования: все военнопленные и гражданские лица должны быть освобождены и отправлены в Россию; Антанта снимает свой запрет на отправку их из Германии.

Каждые день-два ирландец прерывал переговоры. Запрашивал инструкции из Лондона. Литвинов выжидал. Поступался мелочами, настаивал на главном: все военнопленные и гражданские лица должны быть освобождены. О'Греди торговался:

— Вы нам даете двоих, мы вам — одного.

— Почему?

— Не все ваши хотят возвратиться в Россию.

Литвинов требовал встречи с теми, кто не хочет возвратиться. О'Греди говорил, что разрешение на свободное свидание он якобы не может дать: это, мол, выходит за рамки его компетенции.

В начале декабря О'Греди, предъявив жесткие требования, крайне невыгодные России, прозрачно намекнул, что если Литвинов не подпишет соглашения, переговоры будут прерваны. Литвинов знал, в чем дело. Судьба военнопленных решалась под Петроградом. Там же решалась в те дни и судьба Октябрьской революции. Под Петроградом шли ожесточенные бои с армией Юденича, появились английские танки, стреляли английские пушки.

Литвинов ответил, что должен все взвесить, запросить свое правительство. Все его шифровки отправлялись через датскую радиостанцию. И тогда Литвинову неожиданно сообщили, что радиостанцией он дальше пользоваться не сможет.

О'Греди продолжал настаивать на немедленном подписании соглашения. Литвинов начал заново обсуждать все пункты соглашения: первый, второй, третий; неизменно возвращался к первому пункту, доказывая, что он неприемлем для Советской России.

О'Греди все больше нервничал, требовал немедленно подписать соглашение. Литвинов вручил ему заготовленный пакет.

— Что это? — спросил удивленный ирландец.

— Предложения Советской России о торговле с Англией, — ответил Литвинов. — Мы готовы закупать у вас товары. Платить будем золотом.

О'Греди растерялся, сказал, что должен изучить эти предложения.

Через три дня состоялась очередная встреча. О'Греди возвратил пакет нераспечатанным — таков был приказ Керзона. Ирландец сказал, что прерывает переговоры и уезжает в Англию.

Но Литвинов выиграл еще семьдесят два часа.

В один из декабрьских вечеров маленькая советская колония, как обычно, ужинала в ресторане. Шведский бизнесмен, вежливо раскланивавшийся с Литвиновым, принес сенсационную новость: красные разгромили Юденича под Петроградом. На следующий день бульварная копенгагенская газета поместила заметку. Утверждалось, что Коробовкина подписала на фронте под Петроградом так много смертных приговоров, что у нее отнялась рука. Автором заметки был шведский журналист, сидевший накануне вечером за соседним столиком.

* * *

Победа красных под Петроградом громом отозвалась во всей Европе.

О'Греди не уехал в Англию, возобновил переговоры. Больше того, стал сверх всякой меры вежлив. О, он не сомневался в том, что нельзя столь долго не считаться с такой великой страной, как Россия, даже если она называется Советской республикой. Секретарь ирландца отсутствовал — заболел. Датское министерство иностранных дел сообщило Литвинову, что он может по-прежнему пользоваться радиостанцией, — запрета, оказывается, вообще не было, а чиновник, повинный в этой «ошибке», наказан.

После разгрома Юденича лопнула блокада. Верховный совет Антанты начал выказывать признаки благоразумия, признал желательным начать торговлю с Россией. Даже Керзон стал понимать, что другие страны могут опередить Англию. Окончательный разгром Деникина и изгнание англичан с Кавказа еще больше отрезвило «твердолобых», а успешное наступление армии Михаила Васильевича Фрунзе на Врангеля и вовсе вызвало в английском министерстве иностранных дел панику. Керзон, совершенно потеряв голову, радировал в Москву Чичерину, что требует прекращения операций против барона. Чичерин ответил, что не может вмешиваться в деятельность Фрунзе, но было бы неплохо, если бы в Лондоне подумали о том, как поспособствовать освобождению венгерских революционеров, которых убивает венгерская реакция. Москва предложила немедленно послать Литвинова в Лондон для ведения переговоров по всем основным проблемам, возникшим между Советской Россией и Англией.

В Лондоне отказались принять Литвинова. Дело заключалось не столько в том, что Литвинов был вчерашним арестантом. Ведь на дверях его камеры в тюрьме «Брикстон» висела многозначительная табличка: «Военный гость Его Величества». Но на Даунинг-стрит не могли забыть, что в 1918 году в Лондоне двумя изданиями вышла книга Литвинова «Большевистская революция», которую он закончил словами: «Да здравствует триумфальное шествие социализма и славный Красный Флаг, поднятый Лениным 7 ноября!»

— Кого же вы желаете принять, если отказываетесь от Литвинова? — запросила Москва.

Ответ Лондона был кратким: с большевиками дела иметь не желаем, однако торговать с Россией готовы.

Когда Чичерин доложил об этом Ленину, Владимир Ильич усмехнулся, посоветовал запросить Лондон, готовы ли там вести переговоры с неправительственной делегацией России. Ответ пришел быстро: Англия готова вести переговоры с неправительственной делегацией России, например, с русскими кооперативами.

В тот день в Кремле и в здании Наркоминдела в «Метрополе» звучали шутки

и смех, формировалась делегация Центрсоюза во главе с Леонидом Борисовичем Красиным. Литвинову телеграфировали в Копенгаген, что он назначен членом делегации и может начать переговоры с представителями Верховного совета Антанты, которые находятся в датской столице.

Литвинов был связан с Москвой тоненькой ниточкой — телеграммами, которые примитивным цифровым шифром кодировала Миланова. Он знал, как трудно там, в Кремле, какие титанические усилия принимают Владимир Ильич и его ближайшие товарищи, вчерашние подпольщики и большевики-эмигранты, ставшие теперь Советским правительством и в сущности не имеющие за плечами никакого опыта государственной деятельности. Из Копенгагена Литвинов особенно ясно видел, как гениальные ходы Ленина путают карты мощных и сильных противников, заставляют отступать и Лондон, и Париж, и всю Европу с ее умудренными опытом столетий дипломатами и министрами.

Но Литвинов понимал, что борьба только-только начинается, что она будет идти всюду и везде, что предстоят еще долгие и жестокие битвы — теперь уже не на одних лишь полях сражений, но и в кабинетах дипломатов. И впереди — не только победы, но много трудностей и, быть может, поражений.

* * *

После победы красных под Питером Англия не отказалась от мысли задержать отправку военнопленных в Россию. О'Греди вдруг снова прервал переговоры, но тем энергичнее продолжал действовать представитель Скотланд-ярда. К Литвинову стали подсылать провокаторов. Как-то днем к нему в гостиницу пришел купец, назвался представителем мебельной фирмы, просил сообщить интересующие его сведения о Советской России. Потом появился человек в матросской форме. Этот требовал снабдить его революционной литературой, действовал и вовсе примитивно, нагло. Литвинов не стал с ним разговаривать, попросил убраться. Потом из Стокгольма пришла телеграмма весьма загадочного свойства. В ней было всего два слова: «Еппе коммер». Литвинов никак не мог понять, почему к нему из Стокгольма едет какой-то Еппе. А через несколько дней в гостиницу ввалился человек в балахоне и отрекомендовался шведским журналистом. Сказал, что по дороге с вокзала в гостиницу три раза переодевался, чтобы сбить с толку полицейских шпиков. Литвинов прогнал и этого.

Секретарь О'Греди был тесно связан с датской полицией. «Великолепная семерка» получила пополнение, в вестибюле и на этаже появились новые филеры. Хозяин отеля пришел в ярость, сказал, что Литвинов подрывает уважение к его гостинице и порядочные люди перестанут здесь останавливаться, возвратил внесенный Литвиновым аванс и потребовал немедленно выехать.

О'Греди демонстрировал возмущение — конечно, он попытается помочь Литвинову! По соглашению с ирландцем Литвинов снял помещение в загородном отеле, но датское правительство запретило миссии там расположиться. Пришлось Литвинову и его сотрудникам поселиться в захудалой гостинице. Но и там мельтешили какие-то подозрительные личности. Литвинов опасался провокаций и даже открытого нападения.

Снова помогли датские коммунисты. На этаже, где жил Литвинов, они установили круглосуточное дежурство. Датские власти разрешили Литвинову поселиться в загородном отеле. Ирландец выразил надежду, что не позже тридцатого января соглашение будет подписано, договорились на следующий день встретиться для обсуждения некоторых формальностей.

Однако встреча не состоялась. Секретарь сообщил Литвинову, что О'Греди внезапно выехал в Лондон. У него неладно с печенью, и возникла срочная необходимость посоветоваться с личным врачом.

Переговоры грозили затянуться. Литвинов распутывал интриги английской дипломатии, искал выхода. Хотел немедленно связаться с Москвой, но Миланова молча протянула ему шифрованную телеграмму от Дзержинского из Москвы. Феликс Эдмундович сообщал, что советский шифр между Копенгагеном, Берлином, еще одной европейской столицей и Москвой раскрыт. Просил подтвердить, что Литвинов ручается за своих сотрудников.

Прочитав телеграмму, Литвинов побагровел, потом кровь отхлынула, и лицо его стало пепельно-серым. Молча написал на листке бумаги одно слово: «Ручаюсь!» Сказал Милановой:

— Немедленно передайте Феликсу Эдмундовичу.

Позже сообщил Дзержинскому свое мнение о провале шифра: в Лондоне находится царский генерал, бывший начальник шифровального отдела министерства иностранных дел. Возможно, это его работа.

* * *

Через две недели из Лондона вернулся О'Греди. В любезном тоне заявил, что английское правительство не может принять советские условия обмена военнопленными и выдвигает новые требования. «В затылке переговоров, — заявил О'Греди, — виновато Советское правительство».

Литвинов шифрованной телеграммой попросил у Чичерина немедленного демарша перед английским правительством.

10 февраля Чичерин передал в Лондон Керзону радиограмму: «Советское правительство... энергично протестует против утверждения, что переговоры затянулись по вине Советского правительства. В действительности условия Советского правительства были формулированы нашим делегатом с самого начала, и в течение всех переговоров он не предъявлял новых требова-

ний. Напротив, многие первоначальные требования Советского правительства были взяты обратно или сокращены... С другой стороны, полномочия г. О'Греди были настолько ограничены, что он должен был обращаться по поводу всякой мелочи в Лондон и ждал ответов и новых инструкций иногда в течение нескольких недель... Таким образом, вся ответственность за замедление соглашения падает на английское правительство».

Телеграмма Чичерина произвела впечатление. О'Греди уже больше не жаловался на печень и не покидал Копенгагена. 12 февраля 1920 года Литвинов и О'Греди подписали соглашение об обмене военнопленными. Литвинов заставил О'Греди принять условие, что Англия перевезет военнопленных в Петроград на своих судах.

* * *

Наступила весна. На бульварах Копенгагена распустилась сирень. Город выглядел еще более мирным, чистым, благополучным.

Литвинов снова жил в центре города. Дни были заполнены заботами, поездками, встречами с О'Греди и другими дипломатами. Соглашение уже подписали, но до отправки военнопленных в Россию было еще далеко. Предстояло еще разрешить массу формальностей, собрать пленных близ Копенгагена, накормить их, снабдить продовольствием на дорогу.

В остальную жизнь текла по-прежнему. Зарецкая вела книгу расходов, записывала в нее каждый истраченный грош. Питались скромно. Как-то Литвинов опоздал к обеду. Зарецкая в его отсутствие позвала себе неслыханную роскошь — заказала устрицы, что грозило серьезным нарушением дневного бюджета. В это время и нагрязнул Литвинов. Молча сел за стол, к концу обеда пробурчал:

— Между прочим, соленые огурцы вкуснее.

Миланова и Зарецкая решили взять «реванш». Ужин иногда заказывался заранее. Как-то вечером, когда все трое сели за стол, женщинам подали две порции устриц. Литвинову на изящном блюде принесли соленый огурец. Женщины ели молча. Литвинов, наклонившись над тарелкой, что-то тихонько пробормотал, взял нож, нарезал тонкими ломтиками огурец.

Ужин прошел в молчании. Потом все трое переглянулись и начали хохотать. Публика за соседними столиками с изумлением посмотрела на «этих русских». Какая-то дама громко сказала:

— Шокинг!

Изредка Литвинов разрешал нарушать бюджет, не мог устоять перед желанием побывать в концерте, на балете. Договорились, что ходить будут по очереди, чтобы не оставлять чемоданы без присмотра. Как-то Миланова и Зарецкая отпросились на концерт симфонической музыки. «Дежурить» должен был Литвинов, но не выдержал, приехал в театр, сидел как на иголках, ворчал: «Мы здесь наслаждаемся

музыкой, а там роятся в наших чемоданах...»

Бульварная пресса по-прежнему следила за каждым шагом Литвинова, сочиняла о нем всякие нелепицы. Накануне еврейской пасхи в газете появилась статейка, в которой было сказано: Литвинов — это псевдоним известного русского революционера Макса Валлаха, что на сей раз соответствовало действительности. На следующий день какой-то копенгагенский еврей-портной принес Литвинову в отель пакет с пасхальными закусками. Там было вино, маца, кнедлах и другие редкие лакомства. Пакет принесли в отсутствие Литвинова, и Зарецкая, как секретарь, вынуждена была принять. Литвинов чертыхался: «Выбросьте эту дрянь». Зарецкая из солидарности продемонстрировала нежелание притронуться к буржуазному подарку, именуемому религиозною окраску. «Лютеранка» Миланова не растерялась, пакет спрятала в своей комнате и вместе с Зарецкой лакомилась вкусными вещами.

В середине апреля 1920 года из Москвы в Копенгаген приехала делегация Центросоюза. Леонид Борисович Красин прибыл с женой и детьми. Предполагалось, что из Копенгагена он отправится в Лондон, продолжит там переговоры с Англией и, если обстановка будет благоприятствовать, — останется в Лондоне на длительное время. Вместе с Красиным приехали Виктор Павлович Ногин, советники и технический персонал. Делегация выглядела внушительно.

Красин вместе с Литвиновым начал переговоры с представителями Верховного совета Антанты. Чувствовалось, что Литвинов подготовил хорошую почву для диалога по дипломатическим и экономическим вопросам. Это очень радовало Леонида Борисовича.

Делегация Центросоюза поселилась в том же отеле, что и Литвинов.

Красин с присущей его натуре широтой занял самые дорогие апартаменты на втором этаже.

Литвинов был в ярости, сдерживал себя, но, оставшись с Красиным наедине, все же зло спросил его:

— На какие деньги, Леонид Борисович, изволите жить в дорогих номерах?

Красин онемел от неожиданности, а потом пробормотал что-то невразумительное по поводу необходимости поддерживать престиж Советской России, но обиду затаил и пожаловался Зарецкой:

— Ну и жила ваш Литвинов.

Жалоба Красина попала на благодатную почву. Уже полгода находился Литвинов со своими сотрудницами в Копенгагене. В его распоряжении были сотни тысяч, но Литвинов и его сотрудницы заработной платы не получали. Он предупредил их об этом перед отъездом из Москвы, сказал, что питание и оплата гостиницы — это все, на что они могут рассчитывать.

Когда наступила весна, Зарецкая робко намекнула Литвинову, что недурно, дескать,

купить ей и Милановой макинтоши, одеты они так, что совестно перед людьми, да и внимание на них все обращают. Литвинов, пресекая дальнейшие разговоры, спросил, сколько стоит макинтош. Узнав цену, нахмурился, что-то пробурчал себе под нос, сказал, что подумает.

Был ли он скуп? Многие считали его скрягой, другие, кто знал Литвинова в годы подполья, эмиграции, иначе относились к этой черте его характера. Почти двадцать лет скитался Литвинов по всей Европе, сидел в тюрьмах не только России, но и Германии, Франции, Англии. Вечно нуждался. Знал, как нуждалась партия. В искровские годы сам вел бухгалтерию «Лиги революционной русской социал-демократии» и «Искры», по копейке выдавал политическим каторжанам, бежавшим из России. И на всю жизнь застряли в памяти те годы. Уже будучи народным комиссаром иностранных дел, он дома вел книгу расходов, не разрешал ничего лишнего.

Как-то дома Литвинов заметил, что у детей-школьников валяются сломанные карандаши. Он позвал сына и дочь, усадил их рядом с собой, взял карандаш и сказал:

— Вот эту вещь делает рабочий. Он проливает пот над ней. А вы ломаете карандаши. Это — неуважение к труду рабочего и вместе с тем расточительство. Отныне я буду сам выдавать вам карандаши. Новый карандаш вы получите лишь в том случае, если предъявите мне огрызок старого.

Он часто говорил: экономить надо. На заре своей революционной деятельности, в 1903 году, в письме к болгарскому писателю Георгию Бакалову в Варну он гневался, что представитель «Искры» на Балканах Георгиев не переслал в редакцию «Искры» деньги за пятнадцать экземпляров газеты. «Это не по-коммерчески и не по-товарищески», — писал Литвинов и просил Бакалова воздействовать на неаккуратного плательщика.

Через тридцать лет он приказал отдать подшефному колхозу в Московской области значительные суммы денег на покупку автомашин и строительство клуба. Но когда к нему подослали видного и уважаемого дипломата, чтобы тот уговорил Литвинова обратиться в правительство с письмом о предоставлении специальных пайков для руководящих работников, ибо на карточке жить трудно, Литвинов резко сказал:

— Живите, как живут все. Я ничего в правительство подписывать не буду. Экономить надо.

Так и жили они в Копенгагене, экономя каждый зре. Зарецкая каждую неделю представляла Литвинову отчет. А женщины были молоды, красивы, хотелось купить себе какую-нибудь безделицу.

Еще до приезда Красина в Копенгаген женщинам надоело жить «в кабале». Посовещавшись с Зарецкой, Миланова послала телеграмму Чичерину, рассказала, что Литвинов не дает им ни гроша на личные расходы. Георгий Васильевич собрал специальное совещание, чтобы решить вопрос,

как помочь «несчастным девушкам». Зная Литвинова по Лондону, где они вместе были в эмиграции, Чичерин понимал, что никакие приказы не заставят Литвинова раскошелиться, и решил прибегнуть к хитрости, дал телеграмму, в которой просил Литвинова выделить деньги на покупку ботинок для него, Чичерина, а Милановой сообщил, чтобы они израсходовали эти деньги на себя.

Когда Миланова расшифровала первую часть телеграммы (предусмотрительно скрыв от Литвинова ее последние строки), тот подозрительно посмотрел на нее, что-то пробурчал себе под нос и сказал, что... купит ботинки Чичерину сам.

Переговоры с представителями Антанты в Копенгагене шли успешно. Красин еще до приезда в датскую столицу обсудил со шведскими деловыми кругами вопросы экономического сотрудничества Швеции и Советской России. Шведы трезво оценили создавшуюся в мире ситуацию, поняли, что новый политический режим в России прочен, а торговля с ним — выгодна. Советская Республика внесла в Шведский банк двадцать пять миллионов крон золотом. Банк открыл кредит на сто миллионов крон, и на эту сумму Россия начала закупать в Швеции необходимые товары. Красин подписал договор о поставке России тысячи паровозов, в которых крайне нуждался ее разрушенный железнодорожный транспорт.

Подписан был в Копенгагене и договор со Шведским торговопромышленным синдикатом, и в конце мая 1920 года Леонид Борисович вместе со всеми своими сотрудниками уехал в Лондон.

Незадолго до отъезда Красина приехала из английской столицы в Копенгаген жена Литвинова с маленьким Мишей (а затем привезли Таню). В документах, выданных английскими властями, значилось, что «подательница сего Айви Литвинова, жена политического эмигранта, с сыном и дочерью отправляются в Россию, к месту постоянного жительства». Графство Мидлсекс выдало детям Литвинова метрики, в которых указывалось, что они родились в Англии и родителями их являются «отец — переводчик Литвинов, а мать — английская гражданка Айви Лоу».

О приезде семьи Литвинова, разумеется, узнал О'Греди. Был поражен, спросил Максима Максимовича, верно ли, что его жена покинула Англию и едет с детьми в Россию. Литвинов ответил утвердительно.

— Надолго? — спросил О'Греди.

— Навсегда, — ответил Литвинов.

Приезд семьи не изменил образа жизни Максима Максимовича. На пятом этаже не было семейных номеров, и пришлось все же переселиться, но не на «шикарный» второй, где в аппаратах пребывал Красин, а на более скромный — четвертый, куда по крайней мере доходил лифт. А остальное все осталось по-прежнему. За-

рекая все так же вела книгу расходов: столько-то эре заплачено за фунт селедки и столько-то за обед в столовой или ресторане.

Наконец с О'Греди договорились, что в начале осени начнется отправка русских солдат в Россию.

После подписания соглашения с О'Греди и скандинавские страны, и Австрия, Венгрия, Швейцария, Бельгия, Италия, Франция согласились отпустить всех русских военнопленных.

Но дел было еще много. Надо было обсудить вопросы будущего торгового обмена с французами. Еще в ноябре 1918 года советские организации заключили с датской фирмой «Г. Иенсен и К⁰» договор о поставке семян. Фирма медлила с выполнением заказа, требовала денег, которые Советское правительство тогда не имело возможности заплатить. Представители шведских кругов в Копенгагене интересовались, будет ли установлена линия воздушного сообщения между Стокгольмом и Москвой через Петроград. Норвежцы допытывались, намерена ли Россия покупать сельдь, заезжие дипломаты зондировали почву насчет концессий в России.

Все надо было согласовать, на все вопросы ответить. Литвинов целые дни проводил в разъездах, сопровождаемый шпиками. Похудевшие и осунувшиеся, они носились за Литвиновым, проклиная свою беспоконную службу, моля всевышнего, чтобы советский дипломат, наконец, оставил тихий и такой благополучный Копенгаген.

В сентябре пришел первый пароход за военнопленными. Литвинов вместе с представителями датского и немецкого Красного Креста выехал в лагерь под Копенгагеном, где находились русские солдаты. Немец доктор Биттнер руководил отправкой военнопленных в гавань. Изможденные, исхудалые, оборванные, но счастливые предстоящим отъездом на Родину, они ринулись на пароход, заполнили каюты, трюм. На палубу поднялись Литвинов, Миланова, Зарецкая, члены датской и германской миссий Красного Креста, дипломаты. Слева на борту уселся Лазарь Шацкий, генеральный секретарь КИМ, вынужденный уехать из Германии, где начался разгул белого террора. Корреспондент копенгагенской газеты сфотографировал всю эту группу.

Наступила минута отплытия. Солдаты заполнили палубу, прильнули к иллюминаторам. Они не знали тонкостей битвы, которая десять месяцев шла за круглым столом дипломатов. Но они понимали, что эту битву выиграла их страна, еще неведомая им Советская Россия. Солдаты с нетерпением ждали гудка, они готовы были по-крестьянски впрячься в этот огромный корабль и потащить его за собой.

Наконец пароход дал сигнал, оторвался от причала, развернулся и взял курс на Петроград, на Россию.

АЛЕКСАНДР РЕВИЧ

Крутяк
Дорогой
Пельши и
копачих и
он крестина и
А. Ревича,
который "Шендер".

Колокол

Металл казенный —
экспонат казенный.
Совсем не страшен,
лишь молвой прикрашен.
Он был набатом —
этот слиток меди,
был языкатым
вестником трагедий,
округлый бок его гудел, как дека,
высоким ладом человечей речи.
О медь! О грозный отголосок века!
Настойчивый, надсадный зов
на вече.

Металл казенный —
экспонат казенный.
А не болтай —
мы за язык в ответе.
На месте лобном сгнуло немало,
да только медь пока не онемела.
Притронешься — и в сердце
отдается
глухая дрожь порожного колодца,
бессмертная, как подсеченный
колос.
Притронешься — и раздается
голос:
колокола, колосья и колодцы
за все несут ответ, как полководцы,
как битву проигравшие колоссы,
как сброшенные с трона короли.
Я — колокол,
меня тащили волоком,
мне вырвали язык
и ухо отсекали.

Немного о Данте

Что Беатриче? — вздорная
девчонка,
воркующий безгрешный голубок.
Она, конечно, разбиралась в чем-то,
стихи чужие знала назубок.

А он был незамеченный прохожий,
костистый, остроскулый,
смуглокожий,
носатый, тонкогубый полубог.

Он все придумал с той случайной
встречи.
Он бредил: «Беатриче, Беатриче!»
Он был дитя и величайший враль,
он создал мир,
придумал ад и рай.
Он был всевышним, ангелом
и чертом,
был мукой, счастьем, жертвой,
палачом.

Простая худосочная девчонка...
Он был любовью.
А она при чем?

Ода бессмертному городу

Переименованный дважды,
прославленный дважды город,
построенный дважды город,
все равно он мой навсегда,
потому что здесь я узнал,
что такое голод,
что такое осколок,
что такое жажда,
ливни и холода.
Переименованный дважды —
все равно он мой навсегда.
Ведь здесь я цеплялся за камень
каждый,
за каждый куст,
за обрыв овражный,
за последний клочок земли.
Дальше была вода —
бездонная,
студеная,

шириной в километр Волга.
За Волгой была земля —
только не для меня,
и я цеплялся за этот обугленный
берег,

как за соломинку,
как за хвост коня,
потому что пехоте
не только бывать в походе,
не только топтать пешком,
но держаться за землю
руками,
ногами,
зубами,
срастись с ее черноземом,
суглинком,
песком,
передвигаться ползком,
но держаться за землю,
как паралитик — за память,
как за жизнь — умирающий,
в землю зарыться,

с головою землей укрыться
и, как говорится,
на смерть стоять.

Были мы девятнадцатилетними,
были мы в первый раз бородатыми,
не последними
были солдатами.
Мы держались за эту землю
зубами,
вкус ее остался у нас на зубах,
мы держались за эти голые стены,
за эти заснеженные подвалы,
за эти скованные морозом
речные воды,
за это небо...
Мы не сдали ни земли,
ни небес,
ни развалин...
Этот город мой навсегда,
как бы его ни назвали.



ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ МОЗГА С УМНЫМ ГИДОМ

Наше знакомство с Натальей Петровной Бехтеревой состоялось в Москве. Я позвонил ей по телефону, сказал, что очень хотел бы поглядеть на ее золотые электроды и написать о них. Трубка на другом конце провода, где-то в районе станции Д-0, выслушала меня, как мне показалось, с изрядной долей иронии и после некоторой паузы ответила: «Пожалуйста, приезжайте в Ленинград через три дня, к этому времени я там буду».

И вдруг вместо приятного чувства, которое испытывают журналисты, «нащупавшие тему», на меня навалились сомнения. Как вести беседу о проблемах, которыми занимается внучка знаменитого невропатолога и психиатра Бехтерева, если мои собственные познания о нервной системе человека ограничиваются тридцатью тремя способами лечения радикулита.

Я засел за книги, но чем больше читал, тем сильнее одолевали сомнения.

...Нейрофизиология — сложнейшая наука, — своего рода космос в черепной коробке, где, как известно, уложены четырнадцать миллиардов клеток. Каждая из них имеет определенное назначение, связана с другими клетками тончайшими нитями зависимостей. Хотя клетка предельно мала (от 5 до 200 микрон), но у нее одной три и даже четыре тысячи контактов. А все связи мозга выражаются громадным числом — $56 \cdot 10^{12}$. Сложны проблемы, которыми занимается Наталья Петровна Бехтерева. «Ехать или дать отбой?» Но тут знакомый врач-невропатолог сказал: «В конце концов ты едешь писать не научный отчет. Расскажешь читателям, чем занимаются советские ученые, о том, что за человек сама Бехтерева».

...Наталья Петровна встретила нас в своем, как она выразилась, «бюрократическом кабинете». Два больших сдвинутых стола завалены конвертами, книгами, папками. Однако все это совсем не производило впечатления хаоса или того «художественного беспорядка», какой часто культивируется мало организованными людьми

и выдается ими за эталон «кипучей деятельности».

Бехтерева извинилась, дочитала письмо, которое держала в руках, сказала своему коллеге, как на него ответить (речь шла о приезде видного иностранного ученого на предстоящий конгресс нейрофизиологов), и пригласила сесть. Она познакомила нас с одним из ближайших помощников. Александр Трохачев впоследствии стал не только нашим гидом, но и вполне терпеливым учителем, когда речь шла о том, чтобы в десятый раз повторить сказанное Бехтеревой.

Манера Бехтеревой разговаривать с нами почти как с коллегами только к известному времени принесла свои плоды. Тогда мы почувствовали себя увереннее. Мы даже решились на запись электроэнцефалограммы. Процедура это мало приятная. На голову натягивают нечто вроде шлема, сплетенного из тугих резиновых жгутов, на которых закреплено два десятка присосков, плотно прилегающих к черепу. На глаза кладется повязка, нужно расслабиться, успокоиться. Но как это сделать? С каждой секундой присоски давят все сильнее, а тут еще вспыхивают, мечутся перед глазами световые пучки. Веки начинают «просвечивать» — розовые, фиолетовые, синие круги волнами ходят перед глазами.

Мозг — своеобразная маленькая электростанция, генерирующая биопотенциалы. Снять их показания и записать на движущийся лист бумаги шириной в обойную полосу — значит уловить многие процессы, протекающие в мозгу.

А по характеру этих процессов можно определить и общее состояние больного, судить о свойствах различных участков мозга, о том, нормальна или нарушена диалектическая связь между периодами отдыха и работы клеток и структур мозга. Некоторые ученые считают, что профилактика многих мозговых или связанных с мозгом заболеваний могла идти успешнее, если бы врачи снимали электроэнцефалограммы столь же широко, как, скажем, электрокардиограммы.

Испытание мы прошли успешно. Мой товарищ по поездке, фотокорреспондент Юрий Королев, так заинтересовался работами нейрофизиологов, что готов был вживить себе в мозг золотые электроды. Но для этого нужно было задержаться в Ленинграде на полгода.

Какие же проблемы изучает Наталья Петровна и ее товарищи в отделе прикладной нейрофизиологии человека Института экспериментальной медицины? Я неспроста подчеркнул слово «человека». Оно передает ту высшую меру ответственности, которую взяли на себя сотрудники отдела. Их исследования, их труд — идет ли речь о более или менее изученных проблемах, или о совершенно новых приемах и методах изучения мозга — всегда находятся на грани допустимого, потому что там, за этой гранью — жизнь или смерть человека, открытие необъясненного и непознанного или тупик, пусть временный, но тяжелый и устрашающий.

Работа в таком отделе интересна, она будоражит ум своей новизной и остротой первооткрытия, но требует достойной силы воли, самоотречения и даже самопожертвования.

Ни одна потеря не проходит бесследно. Говорят, что настоящий актер, играющий умирающего героя, и в самом деле испытывает предсмертные муки. Это еще в большей степени можно отнести к ученому-экспериментатору. Особенно, если поле эксперимента — мозг.

Мозг со всем узлом протекающих в нем сложнейших процессов давно привлекает самое пристальное внимание ученых и врачей всех стран мира. Мозг — хозяин и главный распорядитель всей жизнедеятельности человека, — это классическое определение И. П. Павлова стало основополагающим при изучении ряда заболеваний, особенно тех, где до сих пор существует большая доля неизведанного, неисследованного и пока еще таинственного.

Именно здесь — в «штабе человеческого организма» ученые ищут разгадку многих процессов, либо счастливых, либо трагических для человеческой судьбы. Занесены в специальные атласы самые крошечные участки центрального отдела нервной системы, выяснены их функции. Кора головного мозга исследована вдоль и поперек. Умы ученых были направлены к отдельной клетке, к физиологии ее жизни. Удалось записать отдельные виды биотоков. И все-таки целая гамма явлений, особенно связанных с деятельностью подкорки, остается нерасшифрованной.

Шизофрения, эпилепсия, потеря памяти, зрения, речи, болезнь Паркинсона, при ко-



Н. П. Бехтерева

торой голова, руки, ноги больного человека находятся в постоянном, изматывающем дрожании... Как победить эти болезни? Как отыскать ключи к тем структурам мозга, которые заведуют соответствующими сигналами, изменить сущность болезнетворных начал, освободить пораженный участок от пагубного напряжения?

Но ученому-экспериментатору важно не только победить болезни, а и научиться стимулировать деятельность наиболее важных клеток и участков мозга.

Стимулирование эмоциональной возбудимости, аналитических способностей, счетной, зрительной памяти, музыкального слуха — увеличение «емкости» мозга — как это облегчило бы жизнь в условиях громадного расширения сферы познания, обилия информации и внешних воздействий на человека! Наконец, срок жизни человека. Продление его на тридцать — сорок лет не только решило бы важную гуманистическую, но и социальную задачу.

Мы заговорили об этом с Натальей Петровной. Разговор получился длинным. Аргументы «за» сменялись возражениями (возможная перенаселенность Земли, увеличение категории людей, находящихся на иждивении общества и т. д.). Возражения рушились перед лицом общественных задач,

стоящих перед человечеством. Ведь современное развитие науки, техники, производства требуют удлинения сроков обучения профессии, накопления опыта, а само обучение занимает теперь несравненно больше времени, чем даже двадцать—тридцать лет назад. Бехтерева подчеркивала, что речь идет не об исключительных людях, способных в очень молодом возрасте добиваться вершин в определенных сферах деятельности (математика, физика, искусство), а об обществе в целом, о целых поколениях людей, которым предстоит покорить Луну и разгадать природу рака, увеличить в два-три раза урожайность полей и скорости самолетов, о веке, на пороге которого мы все стоим.

Затраты общества на подготовку личности такого широкого кругозора и знаний, включая, естественно, и нравственное воспитание, растут, и они должны быть восполнены более широкой и длительной отдачей человека — обществу.

Роль и место нейрофизиологии в этом сложном процессе удлинения жизни человека чрезвычайно велика. С детства мы занимаемся физической закалкой организма, тренируем мышцы и сердце, легкие и зрение, — остается только помнить, что управляет этими органами человеческого организма мозг, а нейрофизиология занимается изучением мозга.

Новая жизнь нейрофизиологии началась после появления счетно-решающих машин, а также другой современной аппаратуры; когда мы попали в клинику Бехтеревой, это сразу бросилось в глаза. Показалось даже, что произошла ошибка и мы очутились в каком-то «КБ», а не в медицинском учреждении.

За маленьким столиком в комнате аппаратуры сидел молодой человек лет двадцати пяти и что-то припаивал в прибор с зелеными глазами. Недоверчиво посмотрев в нашу сторону, сотрудник почти демонстративно продолжал свое дело. Позднее мы подружились. Это был студент-заочник биофака Юрий Матвеев. В штатах отдела он числится, как говорят его товарищи, «инженером по клетке» (еще несколько лет назад само сочетание слов «инженер» и «клетка головного мозга» — показалось бы невероятным). Юрий помешан на усовершенствовании различных приборов, которых здесь очень много. Они стоят вдоль стен комнаты, примыкающей к операционной. В соседнем помещении находится счетная машина.

Кстати сказать, Бехтерева решительный сторонник все большей связи медицины с новейшими машинами и приборами, хотя знает, что в этом ее не всегда поддерживают некоторые коллеги. Недоверие к «машинному лечению» возникает, по ее мнению, не из-за того, что уязвимы приборы и их показания, а от неумения соединить полученные данные с результатами тщательного осмотра, прослушивания, изучения больного самим врачом.

В торжественной и просторной операционной, тоже обильно оснащенной аппа-

ратурой, сразу возникает подсознательное ощущение тревоги. Здесь совершается проникновение в глубины мозга.

На шесть-восемь сантиметров вводится в мозг игла с электродами. Она достигает подкорки, носительницы врожденных рефлексов. Но чтобы среди 14 миллиардов найти одну, две, три болезнетворных клетки и с ювелирной точностью подвести к ним собранные в пучок по несколько волосков электроды 50—100 микрон в диаметре, нужно обладать величайшим искусством.

В тайной кладовой мозга замешиваются первоосновы людских болей и радостей, человеческая гениальность и ограниченность. Попавшие в цель электроды, к которым подключены токи, рисуют перед исследователем картину общих зависимостей различных участков мозга и, как говорит Наталья Петровна Бехтерева, ставят и уточняют «некоторые важнейшие вопросы возникновения и распределения биопотенциалов и физиологической сущности биоэлектрических явлений мозга человека».

Прежде чем было сформулировано это определение, прошли годы труда. Новое встречало недоверие консерваторов и перестраховщиков. Но Бехтерева упорно продолжала работу. Она вела свои записи. Что же показали они? Да прежде всего, что в о з м о ж н о воздействовать на самые различные структуры мозга. Возможно оказывать помощь людям, развивать положительные тенденции и, наоборот, смягчать, изолировать, а в отдельных случаях и приостанавливать отрицательные процессы.

От возможности можно перейти и к практике сознательного воздействия на определенные участки головного мозга. Это, конечно, дело будущего, но Бехтерева и ее товарищи уже начали этот сложный и долгий путь. Они не обольщаются, не преувеличивают значение добытых сведений. Но даже маленький шаг вперед наполняет их сознание радостью и надеждой. Это шаг к освобождению человечества от тяжелых недугов. Их девиз: смелость и осмортельность — качества, совместимые только у очень знающих и преданных своему делу людей.

И тут, может быть, настало время рассказать о Бехтеревой, о том, что в ней самой направлено поиском. Ведь вживлением электродов она занялась первой в нашей стране.

В мировой прессе нет-нет да и мелькали сенсационные заметки о радиоуправляемых животных и даже людях. Злодеи могут использовать электроды в низменных целях. Тем важнее направленные к добру работы тех ученых, которые трудятся на благо человечества.

Наталья Петровна проста и ничем не выделяется среди окружающих. Молодая женщина, мать семейства, веселый товарищ, как принято говорить — «обычный советский человек». Она и сама шуточно заметила: «Особый примет нет. Глаза серые, волосы темные. Рост средний». Главная черта в характере Натальи Петровны —

естественность. Она говорит с товарищами, коллегами просто, ровно, выслушивает подчиненных внимательно, отвечает им доброжелательно и ясно. Атмосфера равенства и взаимной ответственности, существующая в отделе, не «привходящий фактор», а его природа.

«Кто поможет наладить прибор?»

«Наталья Петровна, что ответить больной Н.?»

«Я завтра буду работать дома, если надо, приходите».

«Как движется диссертация у Саши?»

Мне рассказывали: как-то приехал в Ленинград знаменитый иностранный ученый. Решил остановиться не в гостинице, а у Натальи Петровны дома, чтобы «поближе узнать русских ученых».

Наверное, ее дом был не очень подоготовлен к приему гостя, но все устроилось отлично. Уезжая, иностранец говорил, что ему было очень интересно и важно увидеть советских коллег в домашней обстановке, понять, за какие качества уважают работников в нашей стране.

Вечерами, когда гость возвращался из института или театра, допоздна засиживались с ним хозяева. В откровенных разговорах прояснялись многие вопросы — научные, нравственные.

Перед отъездом ученый говорил друзьям Натальи Петровны, что восхищен убежденностью, настойчивостью, оптимизмом советских людей, их способностью твердо идти к цели, хотя понимает, что жизненный путь их бывает нелегким.

Да, внучке знаменитого Бехтерева трудно пришлось в жизни. За несколько лет до войны она осталась без отца, воспитывалась в детском доме, где и закончила школу. Училась она хорошо, а вот многие ее подруги совсем неважно. Директор вызвал Бехтерева к себе, сказал, что придется девочкам закончить только семь классов. Никто впрямую не просил Бехтерева подтягивать других, но за оставшиеся полгода класс так сильно изменился к лучшему, что тот же директор выхлопотал для воспитанниц право на продолжение занятий, и они получили во время войны среднее образование.

Потом, эвакуировавшись в Иваново, Бехтерева учила в медицинском институте. Как и ее товарищи, недоедала и мерзла, ходила разгружать вагоны и рыть картошку.

Уже в институте была задумана кандидатская диссертация. В двадцать пять лет Бехтерева ее защитила. В тридцать с небольшим — докторскую, затем была избрана в члены-корреспонденты Академии медицинских наук. Пришла известность в мире ученых, пришли заграничные поездки, выступления с докладами на крупнейших научных съездах и симпозиумах. Посмотрите, как коротко все уложилось — в один абзац, но в нем огромная жизнь, энергичная, целеустремленная.

И вдруг мы слышим:

— Простите, товарищи, но я вас покину,

у меня урок по математике, а я не люблю пропускать занятия.

Что это, причуда талантливого академика? Для чего ей частные уроки?

Узнали у самой Натальи Петровны. Впервые, для дела: современная медицина тесно переплетается с физикой, химией, другими науками. Во-вторых — для души. «До сих пор жалею, что не стала математиком. Вот числа — это вещь!» — в глазах веселое озорство.

Главное в характере Бехтеревой — волевая целенаправленность, внутренняя потребность двигаться новыми путями — чувство, необходимое для новатора. И товарищи Бехтеревой, все очень молодые: тридцать — сорок лет, как шеф, влюбленные в работу, глубоко верящие в то, что сулит она человечеству в будущем, хотя, быть может, это будущее достанется уже другим исследователям.

Итак, читатель, совершим путешествие по клинике Бехтеревой. В ней всего несколько десятков больных, а точнее скажут, людей, пораженных болезнью Паркинсона, находящихся под неустанным наблюдением ученых-исследователей. Это только исследования — Бехтерева не занимается лечением в обычном больничном смысле слова, но мы видели несколько человек, у которых после вживления в мозг электродов состояние резко улучшилось. Они продолжают оставаться в институте для более эффективного снятия болезненных симптомов.

Как же происходит сама операция и воздействие токов на пораженные клетки?

Когда больной готов к исследованиям и определено, в какой раздел мозга будут вводиться пучки электродов, счетная машина с большой точностью находит точку клеток, на которые необходимо оказать воздействие. Пораженный участок обрабатывается токами, болезнетворная клетка или разрушается, или происходит стимулирование ее работы.

Под натиском ученых уже отступила болезнь Паркинсона, впереди прорисовываются новые возможности.

Сама операция по вживлению электродов почти безболезненна, но требует тщательной подготовки и большого мастерства нейрохирурга. Много времени ближайшим помощником Бехтеревой в качестве хирурга выступает Антонина Орлова, «мастер по безошибочной атаке на клетку».

Электроды остаются у цели иногда до полугодя. В этот период как раз и проводится комплекс исследований. Наступает то самое проникновение в тайное тайн, о котором мечтали медики и ученые многих поколений. Игла с золотыми проволочками электродов, введенная в ту часть мозга, которая управляет движениями, эмоциями, чувствами, настроениями человека, позволила Бехтеревой записать три вида биотоков: от отдельной клетки, быстрые колебания от целых структур и постоянный потенциал. Мирровая наука была очень заинтересована исследованиями. Записанные через электроды, эти биотоки практически

явились первыми свидетельствами таинственной жизни подкорки мозга.

Электрическое раздражение различных клеток выявило области, «заведующие» радостью, гневом, страхом, огорчением. Сегодня выявить, завтра воздействовать, если нужно — лечить, помогать, ослаблять, усиливать, контролировать работу этих участков, — захватывающая перспектива для нейрофизиологов!

Степень достоверности записей состояния пациента уже прошла серьезную проверку. Больная Н. с вживленными электродами была положена на исследование. Она очень волновалась и просила дать телеграмму родным. Телеграмму послали и сказали об этом больной. А в процедурной комнате Н. вдруг впала в истерику, упрекала врачей в том, что они не сообщили ее родным о новом сеансе лечения и исследования.

— Больная металась, кричала, — рассказывала Бехтерева, — но мы видели по приборам, что подкорка остается совершенно спокойной. Она симулировала волнение, и мы продолжали работу. Позже больная сама созналась, что сестра, посылавшая телеграмму, за день до операции показала ей квитанцию. А она решила «придумать» беспокойство, чтобы проверить врачей.

Однажды после нашего посещения клиники Бехтерева пригласила нас к себе в гости. За столом сидели ее ровесники, им только перевалило за сорок, их юность пришла на годы войны. Говорили о многом. О литературе, театре, музыке, о ядерной бомбе, событиях в мире, домашних делах. Сын Бехтеревой заканчивает школу, как дальше сложится его жизнь?

— Пусть решает сам, — со вздохом говорит Наталья Петровна, — надо бы им вообще быть посамостоятельнее.

Потом мы все же вернулись к «мозговой теме». Наталью Петровну очень беспокоит судьба золотых электродов. А если им воспользуются шарлатаны или, еще хуже, авантюристы, способные использовать научные достижения в страшных целях подчинения человека своим низменным целям. Случилось же это с ядерной энергией!

Она рассказала о «забавном», на первый взгляд, эксперименте американского ученого Хосе М. Р. Дельгадо. Он вживил электроды в мозг быка. Во время корриды животное выпустили на арену. Торeadор был предупрежден. Разъяренный бык неся ему навстречу, а он и не думал прибегать к обороне. Зрители были в панике. Вдруг в трех шагах от торeadора бык остановился как вкопанный. Электроды передали соответствующую команду в мозг животного, и тот дал «отбой» движению.

Но вот уже более настораживающая история.

В лаборатории научно-исследовательского центра Университета в Атланте, в штате Джорджия, пока на обезьянах проводятся опыты с телестимулятором, который, по сообщениям печати, способен на расстоянии давать соответствующие

команды в мозг. Он может заставить хотеть есть, спать, сражаться. Телестимулятор может быть со временем подключен к мозгу человека. Какую зловещую задачу он может выполнить по воле него-дяя?!

Примечательно, что работами ученых уже заинтересовалось НАСА — Управление по исследованию космического пространства, — в целях контроля за космонавтами. Наверняка и ЦРУ не останется в стороне. И не случайно Балтийская газета «Сан» высказывает опасение, что изобретение это «может оказаться опасным, в особенности если попадет в плохие руки».

Что и говорить, опасная перспектива: от контроля за мыслями — к команде мыслям. Напомним, что Эйнштейн и другие ученые пытались остановить производство и применение ядерной бомбы. Это были тщетные попытки. Авантюристам из Пентагона и сегодня не дает покоя мысль о господстве над миром.

Поздно ночью вышли побродить по Ленинграду. Он спал, огни горели, шел мокрый снег, и дома, памятники, деревья в парках были покрыты мягким синеватым одеялом. Следы прохожих, уже скрывшихся в своих подъездах, как отметины невидимок, пересекали улицы и площади. С залива ощутимо доносилось дыхание влажного тепла, хотя до весны было еще далеко.

— А приезжайте-ка к нам весной, — предложила Бехтерева, вдыхая будоражащий воздух. — Вместе со всеми моими ребятами из отдела двинемся на природу, будем варить на костре картошку. У меня чудесные коллеги, — сказала она. — Веселые и умные. Недавно заставили меня экспромтом новоселье устроить. Я только что переехала на новую квартиру, а они уже тут как тут с готовыми салатами, открытыми бутылками. Даже свежеструганные доски для стола притащили. После этого новоселья мы всю ночь ходили по городу, фантазировали. Представьте себе электродную клинику по подготовке великих композиторов, художников, математиков...

— Я люблю город, — говорила Бехтерева. — Когда предстоит сложная операция, иду на улицы, смешиваясь с толпой, подчиняюсь ее ритму.

— А некоторых на серьезный лад настраивает тишина...

— У меня тоже бывает... Иногда вдруг ловлю себя на том, что спешу в Эрмитаж, и не вообще в Эрмитаж, а к какой-нибудь определенной картине. Почему именно к этой, а не другой — не знаю. Никто не давал команды мозгу по электродам, но он получил указание сам.

— Это не из серии «сверхъестественных» телепатических сигналов?

Бехтерева задумчиво качает головой.

— В телепатии для меня самое уязвимое — отсутствие материального основания. Все это требует еще долгих исследований...

Мы прощаемся до завтра. Знаю, весь отдел будет готовиться к операции. Но придя утром в клинику, узнали, что опе-

рация задержалась из-за гвоздей. Да, из-за гвоздей! Эти стальные металлические треугольнички вводят в черепную коробку, подобно тригонометрическим знакам. От них идет расчет удара электродной иглой.

В клинике часты такие разговоры — пожилая женщина просит у Бехтеревой: «Наталья Петровна, достаньте гвозди поскорее», «А мне когда будете забивать?»

Дело новое. Производство гвоздей пока не налажено. Все еще новое.

Как, например, появились в клинике первые золотые проволочки? Производством их, как вы сами понимаете, никто не занимался. Золото не пенициллин, клинике оно не было «занаряжено по фондам». Бехтерева вызвала к себе сотрудников.

— На каком заводе нам могут прокатать проволоку нужного диаметра?

— Берутся на «Севкабеле». Но нужно золото...

— Золото есть.— Бехтерева положила на стол золотую цепочку, купленную вместе с Орловой. Она оказалась «счастливой». В клинику пришел успех.

Бывали, конечно, у нейрохирургов и тяжелье минуты, посещало отчаяние. Но с новыми успехами приходила уверенность. Не легко, не устлан розами путь тех, кто стоит в шеренге первооткрывателей и борцов. Чаще приходится идти по шипам.

И Бехтерева и ее коллеги работают на остром и сложном участке науки. Спокойные и ровные на службе, веселые в дружеском кругу, остроумные в споре, они всегда «на запале», в их мысли всегда идет напряженнейшая работа, поиск. Бывает, что Бехтереву ночью разбудит звонок товарища, под утро решившего задачу, которая волновала отдел. И тут же «новость» становится достоянием всех. Для всех это — радость, успех. Ступенька, которая помогает подняться к цели.

А цель настоящих ученых благородна. Работа для счастья людей. Их радость — избавление от тяжких недугов.

Недра мозга, пласты мозга
Глубоки, словно рудные недра.
Я из них вырубая, как уголь,
Выплавляю из них, как железо,
Корабли, бороздящие море,
Поезда, обвившие сушу,
Продолжение птиц — самолеты
И развитие молний — ракеты.

Эти строки поэта Эдуарда Межелайтиса — гимн человеческой мысли. Советские нейрофизиологи, Наталья Бехтерева и ее товарищи, упорно работают, чтобы разгадать тайны управления мозгом и открыть человечеству дорогу к новым целям, к новым высотам, к победе разума.



Автомобильный транспорт — одна из первых областей народного хозяйства, в которых положено начало экономической реформе. Среди предприятий, проводящих широкий эксперимент по переходу на новую систему планирования, находятся московские Первый и Четвертый таксомоторные парки. Результаты эксперимента обнадеживают.

Но еще больший экономический эффект, а также лучшее обслуживание пассажиров и облегчение труда водителей могут быть достигнуты, если новую систему планирования дополнить новой «материальной частью» — специализированными автомобилями-такси вместо нынешних машин общего назначения.

Об этом и повествует документально-технический рассказ Ю. Долматовского.

Ю. Долматовский,

кандидат технических наук

Четыре чуда такси

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

По стопам Михаила Кольцова

Журналисту Михаилу Кольцову понадобилось три дня работы за рулем, чтобы написать очерк о московском шофере такси. Другой журналист — А. Гудимов — проработал таксистом неделю. А я взялся за перо, чтобы затронуть ту же тему, после многих лет подготовки, правда, не столько за рулем, сколько за столом конструктора. Есть и другие различия.

В 1934 году в Москве было всего полторы тысячи таксомоторов, все — зарубежного производства. Бок о бок с ними еще трудились сотни извозчиков. «Редко кто из приезжающих ищет глазами такси... Народ жадно мчится к трамваям и автобусам, бежит с багажом в руках за желанными номерами». (М. Кольцов. «Три дня в такси»).

Тридцать лет спустя «автомашина с шахматными квадратами давно переста-

ла быть деталью «роскошной жизни», она прочно вошла в быт советских людей, стала такой же необходимой, как метро, троллейбус, автобус, трамвай». (А. Гудимов. «Семь дней в такси»).

Мои предшественники писали о том, как лучше обслужить пассажира, как облегчить труд водителя и как сделать эксплуатацию такси более выгодной для всех. И я — о том же, в особенности о выгоде, об экономике. Но они касались таких проблем, как план и пути его выполнения, правила уличного движения и штрафы, «чайевые» и вообще стиль работы водителя. Моя забота — иная: какой должна быть машина, чтобы она соответствовала своему назначению, была удобной и доходной.

Итак, я тоже водитель такси.

Я выезжаю из парка. Движение оживленное, мне нельзя отвлекаться от управления и оглядывать тротуары — пассажир сам должен заметить меня. Но не так-то легко отличить мою «Волгу» среди тысяч

других, если зеленый глазок то потускнел в свете дня, то затерялся в отблесках рекламы и светодиффузоров, а шахматные квадратики незаметны на блестящей поверхности облицовки (особенно, если их наносят краской первого попавшегося цвета!).

Все же мы находим друг друга — я и мой клиент.

Три четверти поездок совершаются с одним-двумя пассажирами. Зато каждый четвертый везет багаж. Я не считаю тех, кого уступаю моим грузовым коллегам, чтобы они перевезли на трехтонке холодильник или телевизионный комбайн, весящие всего несколько десятков кило каждый. В кузове «Волги» эти предметы не помещаются или не проходят в двери.

Мой первый пассажир спешит на вокзал. Вижу, как он нервничает, когда я включаю двигатель, выхожу из кузова, открываю багажник, грузю чемоданы, запираю крышку, снова занимаю свое место за рулем. Эта процедура длится как будто недолго — минуту-две — и повторяется в обратном порядке по окончании поездки. Но я подсчитал, что только на погрузку багажа мы с машиной тратим в течение года полный рабочий месяц.

С дверями вообще целая драма. Сколько раз их открывали на ходу, ломали ручки, разбивали стекла. Иной клиент поворачивается выйти влево, на мостовую. Хорошо, что теперь «заблокировали» левую заднюю дверь, говорят — для безопасности. Но здесь никакой логики. Вряд ли водитель успеет в случае аварии отпереть заблокированную дверь, да и не станет он этого делать, так как знает: пассажир в кузове имеет шанс уцелеть, а выпрыгнув из движущейся машины, он этот шанс теряет — так свидетельствует статистика. Наконец, двери могут заклинить: легче выбраться через окно, лишь бы его размеры были достаточными. И вообще все эти доводы не очень нужны, так как опрокидывание такси — случай редчайший...

Пассажира с багажом сменяет молодая пара. Он ловко пробирается вдоль сиденья через средний выступ пола (а как поступать людям пожилым, больным, инвалидам?). Здесь закон вежливости — придержать дверь или пропустить даму — бессилен перед необходимостью оградить спутницу от неудобств. Начинается разговор вполголоса, не предзнаменный для моих ушей. Но все отлично слышно.

Следующий пассажир называет адрес поликлиники. Не схватить бы инфекцию! Впрочем, не инфекция, так простуда. Посадки, высадки, промежуточные остановки — полтора раза в день открывается правая дверь, полтора раза — сквозняк. Недаром таксисты часто болеют.

Пассажиры громко разговаривают, открывают окна, учат меня правилам движения, дышат мне в затылок винным перегаром. Бывало и похуже: грозили, требовали остановить машину на темном шоссе.

Дождается и от меня клиентам. Я — курящий, не всем это нравится. Откроешь окно — опять недовольство. Зимой пасса-

жиру холодно без отопления, а мне при включенном отоплении жарко.

Так и проходят одиннадцать часов в обуюдной неудовлетворенности. Триста километров подряд. Каждые несколько секунд торможу или нажимаю педаль сцепления, меняю передачи или включаю указатель поворота. Это — по городу, в вечной спешке, как на соревновании, днем и ночью, в любую погоду. Да, чем хуже погода, тем больше у меня работы. К концу смены управляешь машиной резко, нервно, внимание притупляется, недалеко и до наезда.

Если бы вы знали, как я проклинаю «мелочи», которые индивидуальный владелец «Волги» с его дневным «рационом» в тридцать километров мог бы и не заметить! И видимость, ограниченную капотом и крыльями. И маневры для установки большой машины между двумя другими. И те на первый взгляд пустяковые неудобства, о которых говорилось выше.

Но вот я благополучно закончил смену.

В мойке выстроилась длинная очередь автомобилей. Мойка у нас — механизированная. Но ступенчатая и округлая поверхность кузова для нее не годится — остается много непромытых мест. Мойщики в клеенчатых передниках и резиновых сапогах дополняют механизацию, протирают закоулки внутри кузова. Время идет, растет очередь. А машине через несколько часов снова на работу.

Дело еще более усложняется, когда подходит срок технического обслуживания. При нашем огромном ежедневном пробеге промежутки между ТО — всего несколько дней. Осмотрщики и смазчики совершают акробатические трюки, чтобы добраться до всех масленок, подтянуть все гайки. И опять растет очередь.

А сколько времени и средств тратится на ремонт машины из-за ее непригодности к нашей службе! Например, пуск двигателя. Он происходит с той же частотой, что и открытие дверей, стартер включается в десятки раз чаще, чем на индивидуальной или учрежденческой машине.

Я рассказал только о моих самых существенных претензиях к машине. Да разве только во мне дело! Минуты простоя, маневров, обслуживания машины складываются в часы, дни, месяцы. Лишние сантиметры длины машины складываются в километры загруженных улиц, создают пробки, снижают скорость. А в конечном счете — это гривенники пассажиров, рубли моего заработка и, наверное, миллионы народных рублей. Был бы я конструктором!

Углубляюсь в историю

Признаюсь: это не просто жалоба шофера. Это — вольно изложенные выводы авторитетной комиссии во главе со специалистами из Академии коммунального хозяйства, сделанные еще в начале пятидеся-

тых годов. А из этих выводов вытекали другие — каким должен быть автомобиль-такси: просторным внутри, но с малыми габаритными размерами; поворотливым, но устойчивым; с большим багажником, однако устроенным так, чтобы пассажир мог сам быстро и легко погрузить багаж; с необычной, заметной внешностью, но с простой, удобной для мойки, формой кузова; легким и экономичным (низкий тариф!), но надежным. И так далее и тому подобное. Сплошные противоречия.

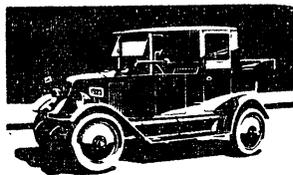
Казалось, что это неосуществимая фантазия.

Ведь как складывалась конструкция современного такси? Когда-то на раму серийного легкового автомобиля, иногда удлиненную, ставили кузов с закрытым пассажирским отделением, в котором был постоянный задний диван и одно-два дополнительных сиденья. Если они не были заняты, их откидывали, а на их место ставили чемоданы. Для заметности снабдили такси желто-черной клетчатой полоской вдоль борта. Говорят, что полоску приду-мал какой-то шутник: он взял за образец шляпную ленточку, которую носили женщины легкого поведения. Этому не придали значения — машина бросается в глаза, и слава богу! Так сложилось типичное такси — сравнительно громоздкая, неэкономичная машина.

«Типичное такси» на десятилетия заняло определенное место в жизни городов всего мира. Именно такие такси «спасли Париж» от германского нашествия в сентябре 1914 года, когда на них были переброшены к фронту резервисты. В Лондоне высокие черные каретки «Остин» работают по сей день. Американские такси «Чеккер» — это длинные многоместные машины несколько старомодной формы.

В двадцатые годы, когда советская промышленность еще не выпускала легковых автомобилей, такси зарубежных марок появились на улицах Москвы. Потом на смену «Рено», «Фиатам», «Штайрам» и «Фордам» пришли гизики, за ними — эмки, позднее «Победы» и «Волги». Нельзя не заметить, что они все дальше отходили от компромиссного «типичного такси» к откровенно обычному легковому автомобилю. Михаил Кольцов работал в отдельной кабине задрипанного форда-лимузина американского производства, рядом с ним находилось багажное отделение; машина была сравнительно компактной, поворотливой, легкой. После войны разница между такси и машиной общего назначения вовсе свелась к таксометру, окраске и обивке.

Чем объяснить этот регресс? Проще всего сказать так: нужны были десятки тысяч такси, хоть каких-нибудь, — вот мы и брали «Победу» или «Волгу». Однако дело не только в этом. Эксплуатационники не раз заговаривали о специальном такси, но наталкивались в высоких сферах на полное непонимание. Хорошо помню, как начальник технического отдела нашего мини-



Московское такси «Рено». 1925 год

стерства, человек очень неглупый, но принадлежавший к «номенклатуре» и ездивший, конечно, не в такси, поучал меня:

— Вы хотите унижить советского человека, засадив его в какой-то специальный автомобиль. Простой советский человек хочет ездить в такой же машине, в какой езджу, например, я. Вы хотите унижить и водителя, отгородив его от пассажиров!

Все же усилил эксплуатационников дали некоторый эффект. Было решено, что специальное такси необходимо. Но какое? На этот вопрос был только один готовый ответ — «типичное такси», то есть удлиненный легковой автомобиль с особым устройством кузова. Подобное решение не соответствовало заданию — экономические выгоды из специального такси не извлекались. Попытка же добиться экономии вопреки особенностям таксомоторной службы потерпела неудачу: пущенные в эксплуатацию малолитражные «Москвичи» быстро вышли из употребления, несмотря на удешевленный тариф. Они оказались тесными и непригодными для перевозки багажа, неудобными для водителя; резко возросла стоимость ремонта.

Как же все-таки сочетать просторный, комфортабельный кузов и надежные агрегаты с компактностью, маневренностью и экономичностью автомобиля?

Нахожу решение

Когда передо мной — тогда сотрудником Научного автомобильного института — встала задача — сконструировать специальное такси, я начал с доказательства «от противного». Распланировал пассажирский салон и кабину водителя так, чтобы три пассажира свободно расположились на заднем диване, четвертый — лицом к ним, на откидном сиденье, а багаж — на полу; чтобы пол был ровным, а двери — широкими, прямоугольными; чтобы место водителя было отделено от салона перегородкой. Затем я наложил компоновку моего салона на чертеж обычной «Победы», совместив рулевые колеса. Задние колеса пришлось отодвинуть на полметра, а пол поднять над трансмиссионным валом. Соответственно увеличились длина и высота машины. Должен был возрасти вес, а с ним и расход топлива. С удлинением базы (расстояния между осями) ухудшалась манев-

ренность, значит, — должны были увеличиться размеры стоянок и гаражей. Словом, получался американский «Чекер» со всеми его особенностями, включая повышенный проездной тариф.

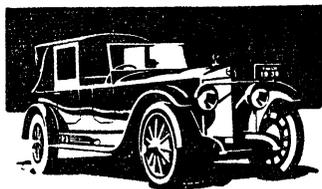
И тут всякий на моем месте обратил бы внимание на пустующий багажник. Сюда нужно переместить двигатель, если пассажиры берут чемоданы с собой в салон! Тогда капот перед кузовом становится излишним, передние колеса можно подкатить под сиденье водителя, база не только не увеличивается, но даже сокращается. Машина укорачивается почти на метр, становится легкой и поворотливой. Получается так называемая «вагонная компоновка». Трансмиссионный вал при любом варианте такой компоновки исчезает из-под кузова, можно опустить пол и сделать его ровным.

Проект был одобрен министерством и направлен на завод. Но ему суждено было пролежать почти десять лет, прежде чем началось его осуществление.

Менялись руководители, каждый вновь пришедший ставил под сомнение необходимость в специальном такси, и начинался старый спор. То, что кое-как удавалось доказать в обстановке ученого совета, было весьма неубедительным для руководителей производства. Действительно, единственная универсальная модель вместо двух (из которых одна специальная) — явная выгода для завода. А будет ли выгодным специальное такси — это еще нужно проверить на практике.

Но долгое время ни у кого не находилось смелости потратить средства на эту проверку. Между тем денег, израсходованных только на одни дискуссии и доказательства, хватало бы на постройку опытных машин. А главное — теперь ясно, что за прошедшие годы на эксплуатации в качестве такси «Победы» и «Волги» народное хозяйство понесло убыток, исчисляемый многими десятками, если не сотнями, миллионов рублей¹.

Так бывает, к сожалению, довольно часто. Мы спорим, проводим совещания и конференции, чтобы доказать целесообразность той или иной поисковой экспериментальной работы. Нет того, чтобы сделать простой расчет. Допустим, некий специалист предлагает пять различных новых автомобилей, каждый из которых, по его



Московское такси «Штайр». 1930 год

¹ Этим автор вовсе не хочет здесь очернить упоминаемые обычные автомобили — «Победу», «Волгу», «Москвич» (см. выше) — как машины общего назначения. Речь идет только об их использовании в качестве такси.

соображениям, даст народнохозяйственный эффект, скажем, в десять миллионов рублей ежегодно. Нужно заметить, что при массовости производства даже небольшая экономия на одной машине всегда дает в итоге выгоду со многими нулями, причем экономия в эксплуатации всегда больше, чем в производстве: ведь машина производится однажды, а работает много лет. Но допустим, что наш специалист в четырех случаях ошибается и только один раз прав. Все же дадим ему возможность построить все пять опытных автомобилей! Каждый из них стоит двести тысяч, пусть — полмиллиона. Выходит, что работа даже такого неудачливого конструктора полностью окупится в первые три месяца выпуска одной из машин, сделанных по его проекту. Кроме того, он накопит огромный опыт и в следующий раз, вероятно, сразу сделает удачную конструкцию. Причем, конечно, я говорю не об изобретателе, вынашивающем идею велосипеда. Я говорю о человеке, чьи идеи вскормлены тем самым производством, для которого он их предлагает. Более того, предлагать идеи — его обязанность, этому его учили.

Ох, как много мы теряем на недоверии, на древнем «как бы чего не вышло!» Как много еще среди нас людей, которые как будто искренне хотят принести пользу своей осторожностью (добавлю — и нежеланием вникнуть в суть дела), а приносят огромный вред!

Я не буду подробно описывать, как неоднократно ставился на повестку и снимался с повестки вопрос о такси. К концу 1962 года эксплуатационники все-таки добились особого постановления о подготовке производства специальной машины. Но на автозаводе опять ограничились небольшой переделкой серийного автомобиля, по скольку в постановлении не было записано, что понимается под термином «специальный».

Но нет худа без добра! Значит, есть повод сделать образец нового такси в институте. И я без особых затруднений добился включения соответствующей темы в план. Однако она считалась так называемой «инициативной» (наше участие не было прямо указано в постановлении) и не могла соперничать в темпах с не менее важными «директивными». И получилось: год на разработку компоновки, еще год на выпуск чертежей, столько же на постройку образца, потом еще год на его испытания.

Я примерно подсчитал, сколько проектов еще успею реализовать за свою жизнь при таких темпах и сколько миллионов, возможно, будет из-за этого потеряно.

В общем, нужно было найти нового хозяина. Помогло стечение обстоятельств. Как раз в это время был организован Институт технической эстетики (о нем — особый разговор), дирекция которого была заинтересована именно в таких работах, как создание новых, оригинальных и экономичных конструкций, отвечающих требованиям эксплуатации.

Опускаю свои колебания (все-таки почти тридцать лет работы в автомобильной промышленности!), детали перехода с одной службы на другую.

Короче: первой моей крупной темой на новом месте стал образец перспективного такси. Мы его сделали вдвое быстрее, чем это было намечено в планах автомобильного института.

Выход на сцену

Тут я позволю себе небольшое отступление.

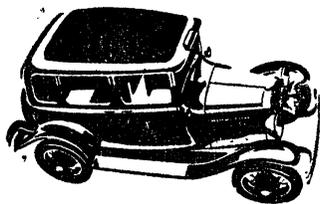
Автомобиль имеет одну, не всем известную особенность: его конструктору доступно переживание, сходное, пожалуй, с переживаниями актера на премьере. Осуществляя «право первой поездки» за рулем своего детища, только что собранного, конструктор напускает на себя внешнее спокойствие, а где-то внутри у него все напряжено, зрение и слух, даже обоняние обострены до предела! Казалось бы, все заранее известно, все механизмы должны нормально действовать. Но... всякое может случиться.

Было же так, что один экспериментальный автомобиль одного моего коллеги поехал вместо переднего хода задним. Как выяснилось, дефект был заложен в чертежах. Их использовали от заднего моста другой машины, а применили к переднему, забыв переставить шестерню слева направо. Было и так, что тормозные барабаны по недосмотру отлили из обычного серого чугуна вместо модифицированного, и только случай предотвратил тяжелую аварию.

Дело, конечно, не только в таких сюрпризах. Нет, конструктор волнуется, как и актер, главным образом по другой причине: он хочет как можно скорее почувствовать, оправдались ли его творческие замыслы.

Но вернемся к такси.

...Идут последние дни 1964 года. Вместе с моими коллегами — рабочими и инженерами — я скатываю на руках будущее такси со сборочной площадки. Тихо. Остановлены станки. Яркий свет заливают опытное производство. За темными стеклами медленно плывут хлопья снега. Сейчас начальник производства улыбнется и сделает мне приглашающий жест. И он его делает, превозмогая желание самому сесть за



М. Кольцов работал в отдельной кабине задрипанного форда-лимузина американского производства...

руль, — он заядлый автомобилист, да и не без основания причисляет себя к соавторам машины.

Тут-то и подступает это самое «чувство премьеры».

Сегодня оно сложнее, чем прежде. Я несу ответственность еще и перед молодым коллективом, для которого наша машина не просто автомобиль, но и доказательство его еще ни разу не проверенных сил и возможностей. А для меня самого — это третий по счету «вагонный». Неужели он разделит судьбу своих старших братьев и через какой-нибудь год будет отправлен в металлолом или в музей, а в архивы ляжет еще один отчет?

Двигатель завелся так, как будто это было его давним занятием, передача включилась как следует быть, словом, все прошло благополучно. На счетчике набежала первая цифра, и ребята помчались в соседний ресторан за шампанским.

Однако истинное рождение машины было впереди. Она еще не имела обивки и окраски, смежники еще не доставили многих приборов, стекол, резиновых отделочных деталей. А через месяц нам предстояло показать машину научно-техническому совету Государственного комитета, моему бывшему начальству.

День заседания совета я смело могу назвать днем чудес.

Накануне, почти в полночь, я поехал домой, чтобы выспаться перед докладом. Машина еще стояла на сборке, и конца работам не было видно. Со слабой надеждой на чудо я затемно отправился в институт.

Чудо свершилось. Вернее, его свершили слесари, и механики, и начальник производства, и маляр, и наши инженеры, в общем все, кого я застал прикурнувшими по разным углам цеха, в центре которого сверкало желто-черно-белое такси с табличкой «перегон» вместо номера. Как ни странно, никто не спал на его просторном удобном диване.

Теперь счет пошел уже не на дни, а на часы. Потом на минуты. Бензин, вода, смазка, инструмент. Нужно решить, кто поедет, кто останется, кто поведет машину.

Наконец мы едем. Впереди инженер-испытатель на своей «Волге». За ним — такси. В арьергарде — сопровождающий «Москвич»: на всякий случай. Нужно было видеть, как «Волга» замедляла ход на каждом перекрестке, прикрывая нас своим телом от едущих в поперечном направлении, а «Москвич» сдерживал напиравших сзади любопытных автомобилистов.

И происходит второе чудо. Такси как ни в чем не бывало отсчитывает свои первые километры и в десять ноль-ноль прибывает к зданию Комитета.

Я тороплюсь со свертком плакатов в зал совета. Кто-то уже сообщил о нашем прибытии, и участники заседания устремляются во двор.

В коридоре встречаю главного специалиста Комитета по легковым машинам.

— Идемте в мою комнату, — говорит он. — Посмотрим сначала из окна.

Впервые вижу

Собственно говоря, только теперь я впервые увидел, какой автомобиль мы сделали. Только теперь я мог не спеша оглядеть его — окрашенным и полностью оборудованным — с некоторого расстояния и в разных ракурсах, когда он маневрировал во дворе.

И тут меня ждало третье в этот день чудо: машина выглядела совсем не так, как в чертежах, эскизах и моделях. К этому нужно было быть готовым, но уж очень велика была разница. Еще недавно требовалось пылкое воображение, чтобы назвать красивой массу пластилина с непрозрачными окнами, с маслянистой грязно-коричневой поверхностью. Сейчас машина была легкой истройной — белая крыша, промытые стекла, блестящие граненые желтые бока, почти незаметные черные стойки, маленькие пузатые шины. Поставленный поперечно сзади двигатель занимал такую ничтожную часть длины кузова, что не сразу можно было определить, где он вообще находится. И это, вдобавок к простоте форм, придавало машине нечто полужантасическое, будто она сошла с обложки журнала «Техника — молодежи».

Как выяснилось позже, такой и была всеобщая оценка — от важных персональных водителей до самого министра. Очевидно, произошел встречный процесс: с одной стороны, наши художники и скульпторы накопили достаточный опыт, чтобы сделать привлекательной форму машины с необычными пропорциями, а с другой — развитие техники подготовило зрителей к восприятию этой формы.

Во дворе царило оживление. Было видно, как в группах комитетских работников возникали жаркие споры. Наши инженеры объясняли действие отдельных механизмов, ставили такси рядом с «Волгой», чтобы продемонстрировать разницу в длине, открывали двери, грузили макеты чемоданов.

Наблюдая эту картину и одновременно обдумывая свой будущий доклад, я решил, что преподнесу совету еще один рассказ водителя, на этот раз — водителя нового такси. Позднее, когда наше такси проходило опытную эксплуатацию на улицах Москвы, я убедился, что в этом рассказе было мало ошибок.

...Я опять выезжаю из парка и сразу же беру пассажиров. Им не нужно меня искать — машина резко отличается своим видом от других. Нажимаю клавиш, правая широкая дверь скользит вдоль кузова назад, и пассажиры, не выпуская багажа из рук, входят в кузов. Именно входят, чуть наклонившись, как это только что сделал там, во дворе, рослый человек в высокой меховой шапке. Мы трогаемся. Из репродуктора на щите приборов слышу команду — на вокзал! Вижу в зеркале, как пассажиры удобно устраиваются на диване и откидывают сиденье. Багаж уложен на полу.

Поворотливая машина легко лавирует в толчее таких же такси и причаливает к подъезду вокзала. Выдвигаю через перегородку лоток кассы. Окончены расчеты. Теперь можно снова откатить дверь — пассажиры спешат на поезд.

Стоящий вплотную передо мной автомобиль грузится. Но он не мешает: поворот руля — и нос моей машины круто уходит влево.

В черном кожаном гнезде кабины просторно, уютно и тихо. Дорогу я вижу чуть ли не под самым буфером. На щите приборов, кроме обычных циферблатов, — сигнальные лампы. Справа — «клавиатура обслуживания»: управление дверью, отоплением, радио, таксометром. Да, в такой обстановке можно работать хоть три смены, подряд!

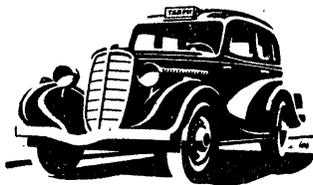
В течение дня, как обычно, попадают разные клиенты. Я выдвигаю из-под кузова трап, чтобы облегчить погрузку холодильника. Молодоженам не приходится беспокоиться о сохранности высокого венца невесты; старушке с собачкой — кряхтеть, как прежде, садясь в машину, а женщине с выводком ребят — следить за тем, чтобы они не открыли дверь.

Кончается смена. Очередь на мойку невелика: наши машины — коротышки, да и щетки легко очищают ровные стенки и крышу кузова. Осмотрщики работают быстро — откинута задняя стенка, и все механизмы как на ладони...

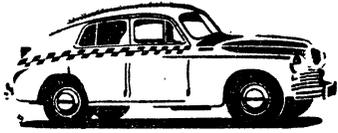
...Во дворе продолжается демонстрация. Сейчас механик ловко снимает правую переднюю панель облицовки (облицовка на нашей машине — вся съемная, ее детали легко выправить в случае повреждения или заменить). Обнаруживается нутро ящика рядом с кабиной водителя. Там раздельные отопители салона и кабины, рация, пучки электропроводки, рулевой механизм. Механик объясняет схему рулевого управления.

Эту схему мне подсказала несколько необычная конструкция руля, спроектированного моим покойным другом итальянцем Луиджи Сегре. Как бы он поразовался сейчас, будь он здесь. Или прислал бы письмо со своим неизменно вежливым приветствием, и я бы прочитал там что-нибудь вроде: «...Я счастлив, что вы получили средства для осуществления Ваших замыслов и что в этой конструкции отражены наши общие идеи...»

Образ Луиджи вызывает в памяти и другие. Нет Константина Владимировича



На смену «Рено», «Фиатам» и «Штайрам» пришли эмки.



После войны разница между такси и машиной общего назначения свелась к минимуму ..

Зейванга, с которым мы проработали вместе двадцать с лишним лет. Без него, может быть, не появились бы наши ранние «вагоны» — значит, могло и не дойти дело до сегодняшнего такси. Я почти слышу его голос: «А колеса-то от „Читы“!» (Так мы в свое время окрестили нашу первую машину). Да, такие самые миниатюрные колеса с широкими шинами, за которые нас когда-то называли сумасшедшими, теперь взяты с серийной отечественной машины.

Не услышу я бурных восторгов и не менее бурной критики Андрея Константиновича Бурова, энтузиаста всего нового и в архитектуре и в технике. Не будет его выступления в нашу защиту на этом заседании. Нет Владимира Николаевича Лялина, много лет подряд возглавлявшего Технический совет, а до этого — нашего главного инженера. Не однажды его густой бас решал дело и давал нам возможность продолжать работу. Идеи оказались более долговечными, чем их авторы и сторонники. Но есть новые единомышленники, вот они переминаются с ноги на ногу на промерзшем асфальте и дают справки сотрудникам Комитета.

Однако здесь не место лирике.

Мы спускаемся во двор. Приходит министр. Он внимательно осматривает машину. Потом спрашивает об экономии, которая будет достигнута, если заменить существующие такси новыми. Как бы поубедительнее доложить ему? Чтобы не запутаться, округляю цифры.

— Упрощение конструкции и уменьшение расхода материала по сравнению с обычным автомобилем дадут в производстве пятьсот рублей экономии в год на каждую машину. Но при годовой программе в двадцать тысяч машин набегит рублей сто на амортизацию производственного оборудования. Значит — четыреста, то есть при четырехлетнем сроке службы такси — сто рублей в год. Теперь расход топлива. Он снизится благодаря облегчению машины на три тонны ежегодно — это полтора рубля. Уменьшение трудоемкости обслуживания — еще полтора рубля. Итого — четыреста рублей в год на каждую машину. Через несколько лет в стране будет пятьдесят тысяч таксомоторов. Экономия составит двадцать миллионов рублей. Добавьте экономию на строительстве гаражей меньшего размера — по подсчетам строителей это пять миллионов только в Москве. Добавьте то, что не поддается таким простым расчетам: быстрота обслуживания, подвижность машины, здоровье водителя, удобства пассажиров. Потом учтите экс-

порт — на мировом рынке наше такси будет монополистом.

— Хорошо. Обсудите машину как следует, — говорит министр и прощается с нами. — Желаю успеха!

Чудеса продолжаются

Директор Института технической эстетики не без оснований проявлял некоторую настроенность по поводу предстоящего совета.

Еще не были забыты времена, когда строить опытные образцы автомобилей разрешалось только на основании особых, как говорят, «решений сверху» («Чита», например, строилась и испытывалась как «передвижная лаборатория»), и они обязательно представлялись на решающий осмотр в Кремле. С тех пор многое изменилось, но автомобили до утверждения к производству все еще проходили длинную процедуру. Опытный образец мог появиться на свет только в том случае, если его класс был записан в «перспективном типаже», а сроки разработки — в плане новой техники, технический проект — рассмотрен советами завода, совнархоза и комитета, компоновка и форма одобрены особой макетной комиссией. Но это еще не означало, что начинается подготовка к производству. Образец испытывался на заводе, в научном институте; потом следовали междуведомственные испытания, и только после так называемых государственных окончательно решался вопрос о производстве. Стоило сегодняшнему совету стать на формальную позицию (машины нет в «типаже», технический проект не рассматривался и т. д.) — и пиши пропало! В лучшем случае мы были бы обречены на прохождение всех стадий — это с нашими-то зачаточными производственными возможностями!

Опасался директор и того, что в глазах бывших коллег по автомобильной промышленности я выглядел «изменником».

Наконец, было известно, что некоторые имеющие вес члены совета не приемлют вагонную компоновку легкового автомобиля.

— На совет мы, конечно, должны выйти, — сказал директор. — Но при одном условии. Мы должны быть уверены в положительном результате. Есть у вас уверенность? Вы там всех знаете. Все должно быть разыграно как по нотам, на высшем



Нужны были десятки тысяч такси, — вот мы и брали «Волгу»...

уровне (это были его любимые выражения)! Для нового института это жизненно важно.

Что я мог ответить?

Автомобиль уже был такой, какой получился. Мы старались его сделать хорошим, учли все прежние ошибки. Сейчас нам стало видно, что можно сделать еще лучше, но для этого нужно время. Доклад был подготовлен обстоятельный. Мы рассчитывали на солидную поддержку руководителей таксомоторной службы. Кроме того, по принципу «все средства хороши», я принял ряд мер. Заручился выступлением «за» одного из автомобильных корифеев; как будто договорился с официальным оппонентом из автомобильного института на такой основе: он одобряет наш образец, а мы поможем ему в разработке машины, которую он задумал. Участникам демонстрации нашего такси были даны подробные инструкции — к чему привлекать внимание зрителей, от чего отвлекать («недоведенных») мест у машины было еще немало). В последние дни перед советом главный специалист был занят другими делами и — может быть, чтобы отвязаться от меня — предложил мне самому составить проект решения.

Словом, подготовка давала нам некоторую уверенность в победе. Но не полную. Беспокоили нас конструкторы двух крупнейших автомобильных заводов. Их выступления имели решающее значение. И надо же было мне за неделю до совета не удержаться и порядком покритиковать новую модель одного из этих заводов! А наша машина для него и без того — и живой упрек в невыполнении постановления, и конкурент. Что касается второго завода, то для его главного конструктора одобрение нашей машины означало бы в будущем возможные хлопоты по налаживанию нового производства.

Не берусь судить, что привело к четвертому за этот день и самому важному «чуду». Хорошее ли настроение министра — председателя комитета — при утреннем осмотре машины повлияло на его подчиненных? Возымела ли действие моя подготовка? Сказалось отсутствие двух-трех наиболее ярких консерваторов? Наше положение «посторонних» в бывшем «моем» комитете вызвало прилив гостеприимства у членов совета? Или происшедшие за последние годы изменения докатились и до автомобильной промышленности? А может, машина и впрямь понравилась? Или — все вместе взятое?

Но так или иначе, против машины не выступил ни один участник обсуждения. И было принято невероятное по смелости решение — строить партию опытных образцов, готовиться к их производству, определить в месячный срок предприятие, которое этим будет заниматься.

Короче — подготовленное мной решение.

Особенно удивляло то, что так называемые «органические» недостатки вагонной компоновки не были даже упомянуты.

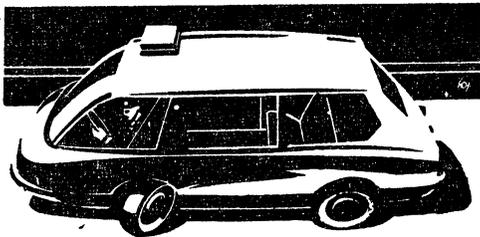
Не было и речи о короткой колесной базе, которую когда-то называли залогом неустойчивости и «галоирования» машины. Никто и не обмолвился об опасности, якобы грозящей водителю вагонного автомобиля при наезде, о маленьких колесах, о длинном переднем «свесе» кузова. Заднее расположение двигателя рассматривали на равных правах с передним.

Выходит, мы и десять, и пятнадцать лет тому назад были правы! Кто же ответит за миллионы, выброшенные на ветер? И как добиться того, чтобы новое своевременно получало «путевку в жизнь»? Может быть, нужно попросту больше доверять предлагающим новое, пусть — с некоторым риском?

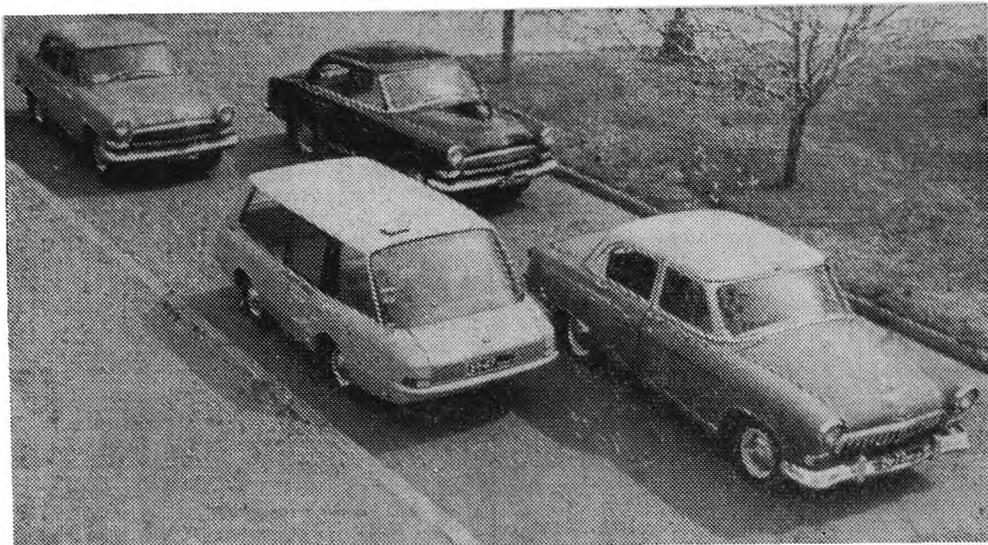
Все же на совете были тревожные моменты, и о них стоит вкратце рассказать.

С официальным оппонентом нас связывали и многие годы совместной работы и что-то очень похожее на дружбу. Недавно мы отлично провели вместе отпуск. И сейчас, когда он в своей неизменной куртке с молнией возвышался над трибуной, я мысленно видел потрескавшуюся кожаную спину и голенастые ноги в спецочковых брюках, вышагивающие впереди меня по пути к лесистым карпатским вершинам. Но в работе как-то так всегда получалось, что, предлагая новые машины, мы оказывались в положении соперников. Мы даже пытались однажды навести в этом деле порядок и заключили, по примеру «детей лейтенанта Шмидта» из «Золотого тельенка», конвенцию, в которой разграничили сферы деятельности. Из этого, однако, ничего реального не вышло. Когда поступало очередное задание, каждый предлагал свой вариант — не заставив конструктора изменить образ мыслей!

Теперь ситуация была для нас обоих несколько необычная: образец создан «чужом» для моего друга институте. И все-таки ему здорово хотелось и на этот раз понести эстафету в другую сторону — от вагонной компоновки отказаться, двигатель переселить на передний конец машины. В общем схема его выступления была такая: специальное такси необходимо, проведенная работа заслуживает одобрения, но результаты были бы еще лучшими, если бы... Поэтому нужно совместно сделать еще один образец, испытать оба, а потом уже выносить решение. Расчет про-



Юркая машина легко лавирует в толчее таких же такси...



Такси проходит опытную эксплуатацию на улицах Москвы..

стой: образцы, вероятно, будут очень близкими, но в Комитете отдадут предпочтение, конечно, «своему» образцу.

За это предложение кое-кто ухватился — оно автоматически давало отсрочку принятия ответственного решения по крайней мере на период проектирования и постройки опытного образца. А там видно будет!

Тут выступил «мой» корифей, опытный конструктор, доктор технических наук, профессор. Ему около шестидесяти, и он, как многие, уже перешел на преподавательскую работу, но все такой же, каким мы его знали, пожалуй, еще до войны: черные, как смоль, волосы и усы, румянец на круглом лице. Он и раньше держался собственной, независимой линии, за это его уважали, но за это же иной раз он платил дорогой ценой — его снимали с работы, направляли куда-то «на низы». Но вскоре опять появлялся на трибуне советов и конференций его крепкая фигура и звенела бьющая в точку речь. Сейчас он в Комитете и вовсе независимый, но (а может быть именно поэтому) его слово много значит.

— Во всяком деле можно найти такие проблемы, — сказал он, — которые я назвал бы якорными. Бросит оратор такую проблему на обсуждение, она может быть и интересна, и важна, но все дело становится на якорь. К таким проблемам я отношу предлагаемое уважаемым оппонентом переднее поперечное расположение двигателя. Применительно к такси оно требует создания специального силового агрегата. У нас еще нет такого агрегата. И дело отодвигается сразу на многие годы назад. Наверное, можно было бы по этому вопросу по дискутировать, и, допуская, оппонент и отстоял бы свою позицию, но это был бы глубокий якорь для такси...

После этого выступления защита «второго варианта» выглядела уже как стремление затормозить дело, и никто на нее не решился.

Но самый страшный для нас главный конструктор нашел другой ход.

Здесь необходимо отметить одну особенность нашего автомобиля — на нем установлен сравнительно небольшой двигатель. На первый взгляд это кажется неоправданным — мы требуем надежности, выносливости такси, а ставим так называемый «малолитражный» двигатель. Между прочим, примерно так же поступают и некоторые зарубежные фирмы, приспособляющие свои машины для таксомоторной службы: берут за основу модель с большим кузовом, но двигатель ставят от меньшей модели. Дело в том, что в городских условиях машина не может и не должна развивать высокую скорость, и большая мощность двигателя ей не нужна. Таким образом, машина облегчается, снижается расход топлива.

Однако возможность быстрого разгона автомобиля при слабом двигателе и его долговечность все же вызывают сомнения.

Их и высказал главный конструктор.

Но он сделал промахи. Во-первых, не упустил случая похвастать своими частыми поездками за границу. Это затронуло у многих не те струны, на которые рассчитывал оратор. Во-вторых, упрекнул нас в том, что Институт технической эстетики занимается, мол, не своим делом — строит образцы автомобилей, тогда как должен якобы представлять на рассмотрение только эскизы и макеты. На этот упрек кто-то резонно ответил:

— Факт тот, что мы только рассуждали много лет, каким должно быть такси, а сегодня имеем конкретное предложение,

рассматриваем образец, пусть имеющий ряд недостатков и спорных мест, пусть — незаконнорожденный, то есть не предусмотренный типажом. Кстати, незаконнорожденные дети, говорят, самые здоровые...

Кончилось тем, что на опытной партии автомобилей, которая так или иначе должна быть выпущена, решили проверить разные двигатели.

От Комитета никто не выступил. Только главный специалист в самом начале поставил перед советом ряд вопросов. А что, собственно, могли сказать представители Комитета? Отстаивать наше предложение значило бы усложнить и без того сложные отношения с заводами, подчиненными не Комитету, а совнархозам. Выступить против специального такси — значит становиться в позицию врагов новой техники; это тоже не к лицу Комитету, да и идет вразрез с решениями вышестоящих инстанций... Конечно, будь на месте Комитета министерство, все обернулось бы иначе. Сегодняшние производственные нужды, возможно, на какое-то время одержали бы верх над перспективными. С другой стороны, если уж было бы принято положительное решение, оно сопровождалось бы конкретным поручением одному из заводов.

А откуда научно-технический совет Комитета, можно сказать чужими руками, дал нам решение, которое позволяло добиваться внедрения нашей машины в производство.

И мы это решение использовали.

К тому моменту, когда выйдет в свет мой рассказ, вагончики-такси, может быть, уже появятся на улицах наших городов. Хотя вряд ли. Скорее — они еще будут преодолевать обычные препятствия на пути внедрения — собственные дефекты, аварии в процессе испытаний, неувязки планов, нехватку материалов, технологические проблемы, неповоротливость смежников. Но это уже, как говорится, вопрос времени. И, разумеется, наших усилий.

Во всяком случае, самая трудная, непростительно долгая стадия борьбы закончилась.

* * *

— Для чего вы все это рассказали? — спросит иной читатель. — Дело, в общем, на мази, зачем же вспоминать старое?

Я так рассудил: если действительно в скором времени начнется выпуск нового такси и будет практически доказана — в чем я ни минуты не сомневаюсь — его польза для народа, то пусть его история послужит уроком в других подобных случаях. Может быть, эти строки прочитают и те, от кого зависят судьбы различных новых машин, и машины появятся на свет на несколько месяцев или даже лет раньше.

Не исключен и такой оборот: на каком-то этапе снова возникнет дискуссия или на пути нашего такси встретится влиятельный человек, для которого некие местные интересы окажутся важнее общенародных. Тогда мой рассказ станет еще одним оружием для защитников машины.

А лучше — пусть продолжают «чудеса»...

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА

В. Боголепов,

*член Научного совета
по кибернетике при Президиуме
Академии наук СССР*

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

ПРЕДПОСЫЛКИ

«Чем быстрее развивается в обществе наука, техника, культура, тем труднее школе поспевать за ними... Противоречия между требованиями общества к подготовке подрастающего поколения и фактическим уровнем этой подготовки порождены прежде всего... научно-техническим прогрессом», — так отвечает член-корреспондент АПН М. Скаткин писателю В. Тендрякову, но, заключая свою статью, признается: «Школа не раз страдала от необоснованных субъективных решений».

Насколько верны эти констатации — каждая в отдельности и обе они — в таком сочетании?

Несомненно, прогресс культуры предъявляет высокие требования школе, но, с другой стороны, и школа в какой-то мере сама есть отправная база этого прогресса. Взаимодействие здесь, как и всюду в жизни, развивается по спирали, и основная проблема этого взаимодействия как раз и заключается в том, чтобы не допускать разрыва меж причиной и следствием, функцией и аргументом. Иными словами, трудности, о которых пишет М. Скаткин, носят характер не столько объективный, сколько субъективный — и к этому выводу по сути дела приходит и сам автор.

Но что же рождает «необоснованные решения»? Наивно было бы полагать, что виновны в них лишь некие поверхностные «решающие» люди. Коренная причина «необоснованности» — прежде всего незавидное состояние педагогической науки. Если бы она, эта наука, своевременно вырабатывала правильные рекомендации, стойко боролась за них и, естественно, пользовалась авторитетом, — то уж никто в нашей социалистической стране не мог бы повернуть дело по-безграмотному.

Своевременно же вырабатывать нужные рекомендации, как известно, можно лишь одним-единственным путем, пролегающим через пересечение двух координат — высокой требовательности к науке и свободы ее развития. Свобода же развития науки с необходимостью включает свободу творческой критики и свободу споров, из которых — лишь бы они велись на принципиальной основе — рождается, по известной пословице, истина.

С этих позиций надо всемерно приветствовать инициативу и писателя В. Тендрякова, и журнала «Москва» — инициативу серьезного разговора на одну из важнейших, если не самую важную тему современности, — действительно, что может быть значительнее проблемы подготовки молодого поколения к жизни?

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Многочисленные газетные и журнальные статьи о проблемах средней школы в подавляющем большинстве касались и касаются, если выразиться военным языком, педагогической тактики — то ли отдельных вопросов программ, то ли методики преподавания и т. п. Справедливо утверждалось, скажем, что физика до сих пор излагается почти целиком по Ньютону, тогда как давно пора предоставить место и Эйнштейну: ведь еще в 1905 году (!) появилась его составившая эпоху статья «К электродинамике движущихся тел». Не менее резонные упреки раздавались по поводу перегрузки программ ненужным материалом: например, по биологии — детальными данными о строении скелета у различных рыб, о количестве тычинок и пестиков у различных цветов и т. д.

Все это так, но основные, так сказать, стратегические вопросы, как правило — во всяком случае в широкой печати, — не ставились и не обсуждались. И вот статьи В. Тендрякова и М. Скаткина делают в этом смысле крупный прогрессивный шаг. На обсуждение вынесены ключевые принципы школьной подготовки. Хотя между авторами есть ряд расхождений, многие их позиции весьма интересны. И все-таки... все-таки даже в этих статьях, кажется мне, если и затронута, то далеко не достаточно, неглубоко — ведущая, фундаментальная проблема средней школы: каково ее место в образовательно-воспитательной системе социализма? А следовательно, каковы ее задачи и организация?

Видимо, все уже понимают: нельзя, даже более или менее верно сформулировав ту или иную частную проблему, сразу же, без особой подготовки, пытаться ее решать. А ведь именно так получалось у нас не раз — например, с производственным обучением. Необходимо прежде всего выработать принципиальное общее стратегическое решение, определить этапы его осуществления. Только так, с научных позиций, следует, очевидно, подходить к такому важному политическому вопросу, как пути развития средней школы.

ИТАК, ЗАДАЧА...

Итак, какова же основная задача средней школы? Задача не «вообще», а на нынешнем этапе нашего развития, в осуществление положения Программы партии о введении всеобщего среднего образования?

Был период, когда наши силы и средства ограничивали задачу средней школы лишь подготовкой, с одной стороны, известной части молодежи к вузу и, с другой — некоторых контингентов среднего состава для народного хозяйства и культуры. Настанет время, когда все (во всяком случае все желающие) смогут получить высшее образование. Тогда, быть может, по-иному придется подойти и к самой дифференциации образования на начальное, среднее и высшее. Возможно, тогда останутся лишь два вида образования: первая ступень — общее и вторая — специальная. Но ныне это тройственное разделение остается в силе. Как же среднее звено соотносится с обоими крайними?

Поскольку среднее образование постепенно распространяется на всю молодежь, а высшее образование к концу новой пятилетки смогут получать не более 15—20 процентов соответствующих возрастных контингентов, постольку главная задача средней образовательной системы — целостная подготовка молодого поколения к жизни, в том числе и к работе.

Во-первых, рациональная школьная подготовка, основанная на передовой педагогике, есть наилучшее решение задачи не только общего, но и профессионального

образования. Доказательством служит все расширяющаяся система техникумов — учебных заведений, которые дают учащимся специальность и в то же время — определенный общеобразовательный комплекс. При этом, что касается профессиональной подготовки, то молодые люди, как правило, овладевают там не только знаниями, но и «умениями».

Во-вторых, если техникумы до поры до времени удовлетворяли потребность в среднем и отчасти в младшем комсоставе народного хозяйства, а кадры рабочих готовились в профессионально-технических училищах и непосредственно на производстве, — то уже возникла и все ширится нужда в более высоком уровне подготовки и рабочих кадров. Современная все усложняющаяся техника, постепенная автоматизация производства предъявляют свои жесткие требования.

Не случайно, разумеется, Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1966—1970 годы предусматривают «доставить в 1970 году прием учащихся в средние специальные учебные заведения до 1600 тысяч», то есть уже примерно до одной трети всего соответствующего возрастного контингента молодежи. С этой цифрой нельзя целиком складывать цифры 940 тысяч — прием в том же 1970 году в высшие учебные заведения (ибо речь может идти о различных возрастах). И все же есть основания полагать, что в следующей пятилетке уже почти половина молодежи будет получать либо полноценное среднее, либо высшее образование.

В-третьих — и это в известных отношениях еще более важно, нежели первые два обстоятельства, — постепенный переход на систему техникумов (вне зависимости от того, сохранится ли это название) нормализует подготовку молодого поколения вообще. Ведь ныне этот процесс чрезвычайно пестр — непосредственно в жизнь после школы (иногда плюс короткая профессиональная подготовка) вступают не только шестнадцатилетние семнадцатилетние, но и пятнадцатилетние юнцы, и первые «самостоятельные» год-два-три для многих из них протекают в достаточно неприглядных условиях то ли «заспинного» ученичества, то ли попросту болтания между делом. Эта пестрота нам обходится дорого. Дорого прежде всего в смысле потери драгоценного времени, но также и в том смысле, что известная часть молодежи, предоставленная самой себе, разбалтывается. Если же окончание техникума приурочить к восемнадцати годам, то есть к возрасту, когда юноши и девушки становятся полноценными работниками и по физическому развитию, то молодежь будет вступать в жизнь куда более зрелой!

В последние годы в статьях иных (в большинстве скороспелых) ревнителей десятилетней и даже девятилетней (!) средней школы приходилось читать, что в эти сроки, дескать, вполне возможно овладеть всей общеобразовательной премудростью,

что одиннадцатый, а то и десятый классы — это лишнее «ученичество», потому что ребята, мол, уже рвутся к «реальной» жизни.

Вряд ли можно представить себе концепцию более притянутую за волосы! Хотелось бы спросить этих «новаторов»: неужто они не знают, как круто повышаются требования к образовательному багажу современного культурного человека? К тому же, повторяю, возраст зрелости — восемнадцать лет, и вполне естественно к этой дате и приурочивать завершение обучения. Во всяком случае — обучения подавляющего большинства молодежи, не говоря пока о студентах вузов. Когда же высшее образование распространится постепенно на всю молодежь, тогда, очевидно, придется пересмотреть сроки ученья. Но это — не раньше чем через пятнадцать — двадцать лет.

Так обстоит дело с потребностями в среднем образовании. А как с нашими возможностями?

Известно, что каждый учащийся техникума обходится стране в среднем в сорок рублей в год. Если принять контингент одного возраста в пять миллионов человек, то три-четыре года обучения в техникумах встанут нам примерно в шесть — восемь миллиардов рублей. Но ведь это — всего одна двадцать пятая — одна тридцатая часть годового национального дохода. Неужели страна не сможет раскошелиться на такую долю своего богатства на одну из самых важных своих задач?

К тому же и вправду ли об этой цифре должна идти речь? Разве не ясно, что при рациональной постановке производственной практики техникумы смогут если и не целиком, то в значительной мере окупать свое существование?

Очевидно дело не столько в средствах, сколько в продуманной подготовке к последовательному распространению полноценного среднего образования. В подготовке зданий, оборудования, учебных пособий и, главным образом, преподавательских кадров. Но это уже вопросы, выходящие за пределы данной статьи.

Итак, можно считать вероятным, что в дальнейшем и школы с производственным обучением, и профессионально-технические училища постепенно перейдут на положение нынешних техникумов. Конечно, этот процесс должен основываться на глубоком исследовании всех проблем, на необходимых экспериментах.

СРЕДНЯЯ И НАЧАЛЬНАЯ

Сколько же времени должно быть ассигновано на среднее образование? Как рациональнее распределить ученические годы между начальной и средней школой? Когда ребенку начинать учиться — с семи лет, как сейчас, с шести или даже, как в некоторых западных странах, с пяти?

Не считая себя вправе высказаться по этому последнему пункту категорически,

могу сказать лишь, что при помощи матери сам начал читать, писать и считать с пяти лет. Это очень помогло дальнейшим школьным занятиям. Но если взять за «точку отсчета» некую среднюю цифру, именно — шестилетний возраст, то двенадцать лет, остающихся до зрелости, видимо, можно разбить двояко: то ли на восемь для начальной школы и четыре для средней, то ли, соответственно, на девять и три.

Решать это должны компетентные педагоги. Очевидно, и здесь понадобятся эксперименты.

Встает еще одна проблема: должна ли советская школа быть во всех отношениях единой или, в известной мере, с тем или иным уклоном?

Есть много доводов и за один и за другой варианты. Мне кажется, что начальная школа уж безусловно должна быть единой. Но как тогда быть, спросите вы, ребятам, которые в раннем детстве обнаружили склонность к музыке, к танцам? Разве не насилие над личностью (и в то же время ущерб для общества!) не развивать такие способности? А способности к языкам? А — с легкой руки академиком М. А. Лаврентьева и С. Л. Соболева — способности к математике? К физике? Или к изобретательско-конструкторской деятельности? Но отсюда же один шаг к четкому водоразделу между техническими и гуманитарными склонностями!

Однако, во-первых, у различных детей склонности и способности проявляются в разном возрасте. Во-вторых, хорошо известно, что детские увлечения склонны к «измене и перемене». Справедливо, наконец (об этом говорит тов. Тендряков), что иные ребята на протяжении всего школьного обучения остаются в смысле склонности «terra incognita» (хотя, заметим в скобках, это чаще всего свидетельствует об инертности не столько детей, сколько — прошу извинить — педагогов).

Как же все-таки быть?

ЕДИНАЯ ШКОЛА

Но «быть» весьма просто. Ведь при всех возможных «уклонах», в том числе таких «кардинальных», как технический или гуманитарный, школа должна оставаться единой. И в то же время обеспечивать возможность перехода из учебных заведений одного профиля в учебные заведения другого.

Автор настоящих строк кается в том, что, будучи в свое время выпускником гимназии, но проработав всю жизнь в областях скорее технических, он не только не жалеет, но скорее рад тому, что получил не «реальное», как тогда говорили, а «классическое» образование. Оно дало ему прочную базу для овладения и языками, и историей (а ведь без ретроспективы нет перспективы!), и географией — как естественной и политической, так и экономической. Но если и в те поры было сравнительно просто переходить из гимназии в реальное (и даже «коммерческое») учи-

лице, как и наоборот (требовалась лишь досдача некоторых экзаменов), то тем более это может быть организовано ныне.

Конечно, в небольших городах, а тем более в селах, нельзя создать школы сколько-нибудь разнообразных профилей, но и здесь выход из положения налицо: интернаты, сеть коих все расширяется.

Разнообразие дореволюционных типов образования, рассчитанных в значительной мере на «белую» и «черную» кость, Советское государство с первых лет противостоило принципу единой трудовой школы. На протяжении всего послереволюционного периода этот принцип так или иначе соблюдался. И хотя государство не могло обеспечить всей молодежи один и тот же уровень образования, все же возможность получения любого, в том числе высшего образования была открыта для всех.

Ныне мы делаем новый крупный шаг на этом пути: не только открываем, но и целиком обеспечиваем для всех среднее образование. Вышее же остается пока для наиболее способных, подготовленных, настойчивых, хотя следует признать — семьи высокооплачиваемых работников пока продолжают иметь в этом отношении определенные преимущества.

СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ

Владимир Тендряков считает нецелесообразным, чтобы ученики заучивали такие сведения, которые в дальнейшем могут понадобиться лишь специалистам. Я с этим согласен. Однако не перегибает ли в дальнейшем В. Тендряков палку? «Каждый ребенок, — говорит он, — должен уметь читать и правильно писать, знать арифметику, только после этого он может знакомиться с физикой, математикой, историей, литературой и проч.». Не бедновато ли это для кругозора современного образованного человека? Культурный представитель любой специальности должен знать гораздо больше предложенного писателем минимумом, пригодного разве что для выпускников бывших церковноприходских школ! Жизнь ушла далеко вперед. Всякий человек — и «физик» и «лирик» — обязан знать (и твердо знать!) основы современной физики, химии, астрономии, географии, истории, эстетики...

К слову, об истории: уж не знаю, кто попал в число сорока девяти знакомых писателя, не сумевших назвать ему даты Куликовской битвы, но разве могут быть сомнения в том, что год ее, равно как, скажем, срок татарского ига, дату нашествия Наполеона и другие столь же важные хронологические вехи нашей истории обязан знать каждый русский?

Бессспорного внимания заслуживает ряд мыслей тов. Тендрякова о методике преподавания. Он прав, требуя введения новых методов, в том числе прежде всего так называемого программированного обучения, широкого использования кино (до-

бавим: дневного кино!) и т. д. Прав он и в отношении увлекательности преподавания. Приведу пример из собственной практики. Основы высшей математики мне пришлось проходить несколько раз, но никогда не забуду поистине математической поэзии, какую открыл нашему курсу в Военно-морской академии Роман Антонович Холдецкий: его могли заслушаться самые, что называется, бесчувственные к математике люди.

Но вот что касается различных групп, в которых учащийся может по своему желанию заниматься, может и бездельничать, — тут, разумеется, у В. Тендрякова перегиб. Ведь если вернуться к той же увлекательности — она же отнюдь не цель, но средство. Цель же обучения — подготовка культурных (в широком смысле!) членов социалистического, а в недалеком будущем уже коммунистического общества. Именно за это школа перед обществом отвечает.

И, наконец, совершенно не прав В. Тендряков, констатируя, что люди, дескать, «трудятся не из любви к труду, а из желания достичь этим трудом чего-то определенного, чего-то насущно нужного. Люди любят результат труда...». Еще шаг (правда, автор остерегся его сделать) — и мы пришли бы к библейской концепции труда как проклятия, ниспосланного человеку богом за «первородный грех». Но мы ведь постепенно воспитываем в себе новое отношение к труду — не как к горькой необходимости «достичь чего-то нужного», а как к радостному процессу деяния, творчества. Разумеется, творчества не ради него самого, но тем не менее и м е н н о т в о р ч е с т в а.

ЕЩЕ РАЗ О СТРАТЕГИИ

Как видит читатель, автор этих строк стремился высказать соображения главным образом по одному вопросу общей проблемы среднего образования: относительно его конечной цели, а следовательно — о принципиальной его организации.

Конечно, против концепции автора могут быть сделаны различные возражения. Но по меньшей мере одна из его позиций, мне кажется, бесспорна. Я имею в виду заблаговременное широкое обсуждение перспектив средней школы.

Впрочем, можно не соглашаться и с этим требованием: зачем-де «загадывать», стоит ли «разжигать страсти»; придет время — спокойно обсудим. В том-то, однако, и дело, что когда приходит нужда в переменных, то на «спокойное обсуждение», увы, времени уже не хватает. Рождаются скороспелые решения. Не нужно ли все же сначала «семь раз отмерить»?

И, наконец, еще одно организационное соображение. Дело в том, что «стратегические» вопросы подобного рода касаются не отдельных республик, а страны в целом. А органа, ведающего средним образованием в общесоюзном масштабе, у нас нет. Не следует ли его создать?

ГИПОТЕЗА В. ТЕНДРЯКОВА И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ

Проблема «революционной перестройки» системы народного образования в нашей стране тесно переплетает в себе интересы отдельной личности, первичной социалистической ячейки — семьи с интересами государства в целом. И конечно же тысячу раз прав Владимир Тендряков, говоря, что «вопрос о воспитании нового поколения — вопрос нашего будущего», вопрос будущего нашего социалистического общества. Мы не можем отмахнуться от многочисленных выступлений крупных ученых, специалистов-практиков, указывающих на несовершенство системы образования, критикующих ее недостатки. Безусловно, пробил час «революционной перестройки» системы нашего образования. Этой идеей, как говорят, насыщен воздух.

Но для правильного воплощения идеи нужно неторопливое обсуждение всех ее аспектов. Новая система народного образования, будь она принята, утвердится надолго, потребует значительных государственных затрат. Вот почему мы должны критически взвешивать все предложения и проекты, чтобы решать наверняка, с наименьшими потерями.

Именно в этом направлении и предлагает вести поиск В. Тендряков. Писатель, безусловно проделавший огромную работу, скромно замечает, что его предложение — не проект и не теория, а гипотеза. И ее цель — вызвать дискуссию.

Эта цель достигнута.

Но гипотеза выдвинута, и она должна, как водится в науке, быть или принятой, или отвергнутой.

СУТЬ ДЕЛА

В. Тендряков начинает свою статью с критики существующей системы народного образования. С горечью мы должны признать, что на каком-то этапе развития, не желая отставать от марафонского бега науки, мы расширили школьные программы настолько, что перегрузка учащихся старших классов переросла в медицинскую и общественную проблему.

Классно-урочная система единой школы вынуждает учителей строить свои урочные планы в расчете на «среднячка». Меры, принятые учительством в послед-

ние годы по дифференциации учебного процесса, внедрению в этот процесс техники и программированного обучения, повсеместного развития еще не получили. Да и трудно этого ожидать, так как обучение и воспитание детей в значительной степени зависят от личности учителя, от широты его кругозора. А армия учителей велика.

Не учитывая различий способностей учащихся, — говорит автор, — ориентируясь на «среднячка» и пытаясь «объять необъятное», школа тормозит развитие наиболее талантливых.

Пытаясь освободить систему народного образования от перенасыщенных пороков, В. Тендряков и предлагает свою гипотезу.

Спасти народное образование с помощью техники, искусства, дать простор творчеству учащихся, ликвидировать классно-урочную систему и организовать специализированные группы и школы для обучения ребят любимому предмету, превратить учителей из «глашатаев знаний» в исследователей учащихся, консультантов и руководителей, не стремиться «объять необъятное» — таковы основные элементы гипотезы В. Тендрякова.

Но в любой системе всегда есть что-то основное, стержневое. Таким стержнем у нас сейчас является классно-урочная система. И для того, чтобы замахнуться на классно-урочную систему, нужно создать что-то равноценное взамен. Иначе в системе образования останется угрожающая брешь.

В. Тендряков замахнулся на классно-урочную систему. Что же он предлагает вместо нее?

«Нашедшим свое призвание» — самостоятельно изучать любимый предмет в специализированных группах.

Легко сказать — любимый предмет! А как его найти?

Для этого предусматривается «обзорное» знакомство учащихся со всеми предметами («показ товара лицом»).

Нужно ли оно в школе? Да, нужно!

В самом деле. Жизнь гораздо богаче того мира, которым ребенок жил до школы, и его склонности, появляющиеся на основе впечатлений, имеют свои границы, определяемые средой, интересами окружающих людей, общей культурой родителей и т. д. Для того, чтобы расширить эти

границы, школа и обучает ребят основам наук в течение ряда лет.

Обучение же детей только «любимому» предмету (особенно с первого класса) будет обеднять мышление ребенка и лишит его возможности познавать сумму взаимосвязанных явлений.

В отличие от В. Тендрякова мы не противопоставляем знакомство изучению, а рассматриваем изучение как глубокое знакомство. В. Тендряков не находит правильного сочетания этих двух элементов в учебно-воспитательном процессе. Замахнувшись на классно-урочную систему, автор гипотезы попадает в круговорот неизбежных следствий.

СЛЕДСТВИЯ

Читаем: «Ребенок должен не сразу (разрядка всюду моя.— С. Б.) приступать к изучению наук, а к знакомству с ними».

Ага, значит, сначала знакомство.

Мы уже почти согласились с этим положением, как на нас неожиданно обрушивается: «Нельзя приступать к знакомству, будучи совсем неподготовленным. Каждый ребенок должен уметь читать (не по слогам же! — С. Б.) и правильно писать (то есть усвоить материал до нынешнего 7 класса.— С. Б.), знать арифметику, только после этого он может познакомиться с физикой, математикой... и пр.». Правда, В. Тендряков сопровождает это противоречие замечанием, что «даже в самой природе ничто не бывает в абсолютно чистом виде...»

В природе — это верно! Природа — она без гипотез и проектов разумно сочетает множество одновременно действующих факторов. А вот народное образование — может ли оно так же четко действовать без создания отшлифованной системы?

Но — оставим это. Рассмотрим случай, когда в результате знакомства (а может, и изучения) ребенок нашел свое призвание и ответил на вопрос — «Что ты из себя представляешь?» Пусть это случится, когда угодно — в дошкольный период, после четвертого или после пятого класса — все равно. Для нас важен сам факт.

Ученик нашел свой любимый предмет и очертя голову бросился в предусмотренную специализированную группу. А ему говорят: стоп! Сначала сдай экзамен! Ведь автор гипотезы предполагает, что занятия в специализированной группе «требуют какой-то, пусть минимальной, подготовки в выбранном предмете». Невольно возникает вопрос: а кто, где и в какой форме будет «минимально» готовить детей к этому экзамену, если «школа... отойдет от урочной системы»?

Впрочем, это еще не беда. Беда дальше.

Как будут построены занятия в специализированной группе, куда могут попасть дети от семи до тринадцати лет? Оказывается, тут все решается просто: «...Если...

тебе от роду семь-восемь лет, занимайся самостоятельно». Не захочешь, — пальчиком грозит малышу дядя, — «воля твоя, выйдешь из стен школы с багажом общих знаний, основанных на обзорном знакомстве».

Мило! Даже наказание уготовано желтороту. И жестоко! А за что?

Еще древние заметили, что опыт, накопленный предыдущими поколениями, полезно передавать детям. А мы предлагаем превратить малыша в чистого первооткрывателя, так как «учитель перестает быть глашатаем знаний, он становится, скорее, исследователем ученика». Правда, он еще и консультант и руководитель, но мы на этом остановимся позже.

Учитель исследует. А ученик тем временем, уставившись в незнакомую формулу, грызет ногти и горько плачет. Именно такая возможность заложена в гипотезе.

Далее. Известно, что увлечение у детей не может быть длительным. Даже самое интересное занятие сравнительно быстро утомляет их, и ребенок бессознательно, по самой природе, меняет род своих занятий. Детское увлечение — это еще не устойчивый интерес, который предполагает навык подавлять в себе второстепенные желания, умение управлять своими поступками. Выработка устойчивого интереса — процесс длительный, связанный с воспитанием воли и характера ребенка.

Понимая это, В. Тендряков справедливо замечает, что «вундеркинды не норма, а скорее довольно редкое явление... поэтому право ученика — в любое время оставить свою специализированную группу, поступить в другую, пройдя опять несложную проверку».

Мимоходом заметим, что эта «несложная проверка» может оказаться довольно сложной, допустим, при переходе в тринадцатый — четырнадцатый лет из группы биологии в группу математики или физики. А вообще-то так и остается неясным, кто и как будет готовить детей к этим «несложным» проверкам.

Остановимся на самом праве детей оставлять одну специализированную группу и переходить в другую.

Автор гипотезы допускает, что «не единицы — а многие будут бросаться из одной группы в другую, сталкиваясь с самостоятельной работой...», и «никто из учителей не станет заставлять ученика силой изучать то, что ему не нравится».

Посмотрим же, насколько менее болезненно сменить в школе несколько групп, «чем в будущем метаться из одного института в другой». Учтем при этом, что число студентов в институтах составляет небольшой процент от числа школьников, которых ныне около пятидесяти миллионов.

Но допустим, что не все учащиеся, а «лишь» двадцать пять — тридцать миллионов начали метаться из группы в группу. (Такое в гипотезе заложено). К каким следствиям это приведет?

К хаосу в народном образовании, к нарушению самых элементарных принципов планирования.

Предположим, что на начало учебного года десять миллионов учащихся было в специализированных группах математики. К середине учебного года их осталось только четыре-пять миллионов. Остальные пять-шесть миллионов ушли в группы биологии, истории, географии. Выпущенные для них кинофильмы, учебники, учебные пособия мертвым грузом лежат и пылятся. Учителя-математики остались без работы. Не хватает преподавателей биологии, истории, географии.

Государству в спешном порядке нужно вложить громадные средства на переподготовку учителей; на издание учебников и пособий по тем дисциплинам, где их не хватает. А для чего? Только для того, чтобы к началу третьей четверти... все начать сначала.

Заложено ли это в гипотезе? Да!

А что в это время станет делать та часть учащихся, которая выработала устойчивый интерес и постоянно остается в одной и той же группе? Календарных планов у группы нет, и «учитель проводит лишь индивидуальные консультации и индивидуальные проверки». Ты можешь обогнать товарищей, но «если станешь отставать... это твоя личная беда». То есть каждый идет своим путем.

Во что превратится школа, основанная на принципах В. Тендрякова?

В Казанский вокзал: каждый торопится к своему поезду, и никто (в том числе учителя и директор) не знает, кто куда едет.

В гипотезе и это заложено!

Наша школа воспитывает учащихся в коллективе (где-то лучше, где-то хуже), через коллектив. А к чему приведет предлагаемая гипотеза в воспитательном плане?

Первоначальных коллективов (классов) нет; каждый, в какой бы он группе ни был, идет своим путем.

Представляется «милая» картинка (чистый прагматизм): учащиеся, в том числе и способные, как кроты расползлись по своим норам и, подготавливаясь к предстоящей проверке знаний, которая «должна проходить как соревнование умов», вырастают в этих норках в «гениальных» эгоистов. А ведь нам совсем не безразлично, какими вырастут наши дети.

Добрые пожелания автора гипотезы распространяются и дальше. Он пишет:

«Специализированные группы с их самостоятельным обучением помогут, вероятно, сократить число учителей. Там, где раньше работало трое, начнет справляться один».

Но известно, что групповые консультации (то есть, собственно, уроки) требуют меньшего количества учителей, чем «индивидуальные консультации» и «индивидуальные проверки». Индивидуальная проверка — это ведь не экзамен, который но-

сит в нашей школе периодический характер, а — ежедневная работа.

Сколько же учащихся сможет проконсультировать учитель, скажем, за четыре-пять часов? Самое большее — десять — двенадцать, от силы — пятнадцать человек. Остальные два-три часа нужны учителю для постоянного самосовершенствования и подготовки к последующим консультациям. Это тем более необходимо, что состав учащихся его специализированной группы чрезвычайно пестр — от первоклассника до выпускника, да и материал они изучают не синхронно. При поурочной же системе и синхронном изучении материала один учитель в силах за те же пять часов (уроков) проконсультировать сто пятьдесят — двести человек.

Так простой расчет показывает, что, будь принята гипотеза В. Тендрякова, число учителей резко возрастет. Там, где работал один, — не управятся трое.

СПОСОБНЫЕ И «НЕУДАЧНИКИ»

Но давайте продолжим рассмотрение того редкого случая, когда ученик окончательно выбрал свой любимый предмет, нашел свое призвание с первых дней пребывания в школе. Пусть этим предметом будет литература.

В течение семи-восьми лет занятий в специализированной группе с учителем-консультантом, учителем-руководителем «вундеркинд» получил по литературе основательную подготовку. Не настолько глубокую, чтобы рискнуть в институт, но достаточную для поступления в «определенную спецшколу, профиль которой соответствует его влечению». Он готов сдать экзамены! Но...

«До сих пор ученик считался только со своими вкусами и желаниями», — пишет В. Тендряков, — а теперь они (сущий пустяк!) не совпали с общественными нуждами». «На данном этапе обществу литераторы не нужны, — говорят взрослые увлеченному юнцу. — Нужны строители, специалисты, техники».

Естественно это? Да, естественно! Как быть? Другие предметы, разве что кроме искусства, ученик практически не знает (нельзя же всерьез принимать в расчет знания, полученные в ознакомительном плане при просмотре кинофильмов). Куда теперь деваться абитуриенту?

Это ли не трагедия! Это ли не крушение надежд! Семь, восемь лет вылетели в трубу. Начинать все снова.

Есть утешение, что таких будет немного. Так ли?

Как-то в одной из статей, где рассматривалась подобная (построенная на увлечении) система образования в США, указывалось, что только двадцать три — двадцать семь процентов учащихся изучали физику и математику, а остальные — гуманитарные науки.

Заложена ли такая возможность в ги-

потезе В. Тендрякова? Да, так как «каждый ученик по своему влечению волен выбирать для себя любую группу», воспитатель помогает ему, но не «должен навязывать свою волю».

А так как литература и интереснее (по крайней мере для большинства), и легче для изучения (от правды не уйдешь), очень велика вероятность, что ребенок с его детским восприятием и непосредственностью посвятит себя только этому предмету.

И вот — на тебе: на данном этапе литераторы не нужны! Не нужны, и точка!

Вот и представьте себе тысячи «неудачников», эти тысячи с сокрушенными надеждами.

Теперь самое время перейти и к другим «неудачникам». Прежде всего хочу заметить, что сам термин «неудачники» режет слух. А по существу?

Кого автор гипотезы относит к категории «неудачников»? Тех, кто «не нашел себя, свою цель» в школе. А так как В. Тендряков допускает, что таких людей окажется подавляющее большинство, то интересно хотя бы взглянуть, что же уготовано этому милому обществу «неудачников», каждый из которых «в лучшем случае может стать разнорабочим».

Оказывается все просто: «люби труд». (А что же, «счастливики», нашедшие себя, и прочие «вундеркинды» не должны его любить? Снова проблема, каких в гипотезе, к сожалению, немало).

Деление будущих выпускников школ на «счастличиков» и «неудачников» не так уж и безобидно. И даже замечание, что «человек, не нашедший в школе ясной цели, не обязательно бездарен» и что «его нельзя считать изгоем в обществе», не освобождает нас от чувства неловкости перед этими самыми «неудачниками».

Согласно гипотезе, наши «неудачники» далее могут поступать в школу «с некоторым универсализмом, где ведущей дисциплиной является труд как таковой... труд, призванный в воспитатели». Чем же эти школы будут отличаться от нынешних ремесленных и технических училищ?

Да тем, что технические и ремесленные училища, кроме трудовой подготовки, дают учащимся и необходимые теоретические сведения, в то время как в «производственных школах» В. Тендрякова теоретические сведения воспитанник может получить только по своему желанию, самостоятельно и в специализированных группах.

А если этого желания у него не возникнет? Не беда! «От его способности, от его настойчивости зависит, выйдет ли он из школы со знаниями квалифицированного техника, для которого с охотой откроют двери институты, или же выйдет рабочим со средней квалификацией» и, добавим, с общеобразовательными знаниями в объеме «обзорного знакомства».

И этот тупик предлагается для боль-

шинства! Лишь «способностям» (а может быть, правильнее сказать — счастливицам?) — «широкая дорога».

Делают ли рассмотренные предложения нашу школу более совершенной?

Вот тут-то мы и добрались до настоящей беды!

Из-за аморфности, противоречивости и непоследовательности гипотеза В. Тендрякова очень уязвима, она, на наш взгляд, не может явиться основой для перестройки системы народного образования в нашей стране.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Из того, что гипотеза В. Тендрякова в общем виде должна быть отвергнута, вовсе не следует отрицание всех ее элементов, ее духа. В рассуждениях автора гипотезы есть большая правда.

Поток новой информации захлестнул мир. Научные открытия в физике, математике, химии, биологии, в пограничных областях смежных наук ускорили процесс отпочкования от них научных направлений, вскоре ставших самостоятельными. Поистине — нельзя объять необъятное.

В этих условиях проблема перегрузки учащихся и приведение уровня среднего образования в соответствие с требованиями развивающейся науки и техники могут быть решены только одним из двух путей: или (1) путем сокращения объема изучаемого материала по предметам за счет исключения отдельных разделов, или (2) за счет сокращения числа глубоко изучаемых предметов.

Первый путь таит в себе большие возможности. Однако в нем заложены в полной мере и недостатки существующей системы: учить всех и всему. При этом способные (оговоримся — в каком-то предмете) вынуждены подстраиваться под «среднячка». И так на протяжении всех десяти лет.

К сожалению, мы долго не принимали во внимание различие способностей у школьников.

Как же быть с теми, кто обнаруживает способность в той или иной области? Неужели и дальше обкрадывать их, а вместе с ними и общество?

Конечно, это неразумно.

Наша школа — школа равных возможностей. Это ее большое преимущество. Но кто сказал, что общее образование должно продолжаться «до свадьбы» — до восемнадцати, а при неблагоприятных условиях — даже до девятнадцати лет? Это ведь третья часть трудовой жизни человека. Такая трата времени, не дающая учащемуся даже какого-либо направления, более того, тормозящая развитие его способностей в избранном предмете («знай все!»), — невольнительная роскошь.

И мы с тревогой снова ставим вопрос: какой же должна быть наша школа?

Она, на наш взгляд, должна развиваться вторым путем, то есть совмещать в себе общее и дифференцированное обуче-

ние при непременно сохранении классно-урочной системы.

С первого по восьмой класс учащиеся должны изучать общую для всех программу. Выделение двух-трех часов в неделю для факультативных занятий в 6-х, 7-х, 8-х классах даст возможность углублять знания школьников в отдельных предметах по их выбору. На этом заканчивается общее образование.

На втором этапе (9-й и 10-й классы) обучение проводится дифференцированно. Для этого в системе существующих школ должны быть созданы пропорционально потребностям народного хозяйства гуманитарные, физико-математические, химико-биологические, агро-биологические (а может быть, и какие-то другие) школы с точно определенными профилирующими предметами.

Для более глубокого изучения профилирующих предметов можно было бы к ныне установившемуся (по учебному плану) количеству часов на эти дисциплины добавить пятьдесят процентов за счет уменьшения нагрузки по остальным предметам. Прием в школы второго этапа должен сопровождаться проверкой знаний учащихся по профилирующим предметам.

Выпускникам выдается единый для всех типов школ аттестат о среднем образовании, но с указанием профиля.

Такое решение вполне согласуется с положением Программы КПСС о постепенном переходе ко всеобщему среднему образованию.

Естественно, что более широкое привлечение в школу техники, искусства и пр. способствовало бы повышению качества знаний учащихся, расширению их кругозора. Но это уже детали.

Позволю себе коротко остановиться

на возражениях против идеи дифференцированного обучения на втором этапе. Основа таких возражений — опасение, что дифференцированное обучение сузит общий кругозор выпускников.

Никто не спорит, что за десять лет можно дать более широкое общее образование, чем за восемь. Но если придерживаться этого взгляда, то можно прийти к необходимости создания, скажем, двенадцатилетней школы. Тогда общее образование будет еще шире.

Речь, следовательно, о том, чтобы установить оптимальные рубежи общего образования.

Нам думается, что они проходят между 8-м и 9-м классами.

Такая школа обеспечит будущему гражданину и достаточно широкое общее развитие, и глубокие знания в конкретных областях человеческой деятельности.

Необходимо также иметь в виду, что расширению общего кругозора сегодня способствуют радио- и телепередачи, кино и прочее, чего не было, к примеру, в 20-е годы. Не случайно же наши детсадовцы знают несравнимо больше, чем знали их ровесники в те годы. Кроме того, общий кругозор расширяется в течение всей жизни человека, в то время как специальную подготовку в каком-либо предмете (особенно естественно-математическом) получить гораздо сложнее. Отсюда — вывод: в условиях нашей жизни недостаток общего образования восполняется куда легче, чем специального.

Вот доводы за дифференцирование образования на втором этапе.

Наши предложения — не новы. Они, по сути дела, схема, черновой набросок, который, как и гипотеза В. Тендрякова, подлежит критическому анализу.

В. Шалуновский**На экране****роман
Толстого**

Толстой — гений. Для того чтобы мне взяться за экранизацию его великого романа, романа — нашей национальной гордости, надо было решиться. Я решил. Я отдал этому роману всю свою энергию, мысли, ум. Лучшие свои творческие годы.

Во всей мировой классике нет выше писателя, чем наш Лев Толстой. Лев Толстой — чудо России. Я горжусь, что Родина дала мне возможность прикоснуться к этому великому творению.

Будет ли у меня работа, которую я с таким бы наслаждением делал?

Я был бы счастлив, если бы мне была предоставлена возможность посвятить всю свою жизнь такой работе.

Сергей Бондарчук

Творческий подвиг. Что это такое?

Пять лет тому назад Сергей Бондарчук начал работу над экранизацией романа Л. Толстого «Война и мир». Множество людей различных творческих профессий было вовлечено в эту работу. Десятки консультантов по самым разным областям знаний. Сотни работников вспомогательных и обслуживающих цехов. Тысячи статистов.

Заказы фильма выполняли сорок семь предприятий. Из фондов пятидесяти восьми музеев черпался реквизит. Сшито шесть тысяч военных и две тысячи штатских индивидуальных костюмов. Натурные съемки велись в ста шестидесяти восьми пунктах. Художники, инженеры, архитекторы создавали декорации и съемочные объекты. Отыскивались уникальные предметы старины. Велась колоссальная по объему работа, сочетающая размах и кропотливость. Подобных масштабов наша кинематография еще не знала.

Картины, удивляющие размахом постановки, обилием и разнообразием бутафории и костюмов, громадными толпами в массовых сценах — не диковинка. В западном киноискусстве существует особый жанр — жанр «супер-колоссов», задача которого поразить зрителя, ослепить и оглушить его, подавить грандиозностью, ошарашить роскошью и блеском.

Когда смотришь фильм «Война и мир», меньше всего думаешь о вагонах реквизита или о производственных объемах работы. В картине нет ни самодовлеющей пышности, ни шегольства точностью предметов обихода, ни любования старинной утварью, костюмами. Любовь и уважение к вещи, к детали быта, к русской старине нигде не заслоняет основной задачи авторов — раскрыть во всей глубине содержание великого романа, проникнуть в мысль Толстого. И эта достоверность — не цель, а необходимое условие работы. Всегда и прежде всего в центре внимания авторов — человек во всей сложности его духовной жизни, его раздумий, стремлений, переживаний.

Случилось так, что первыми зрителями еще незавершенного фильма были участники IV Московского международного кинофестиваля, на котором «Война и мир» увенчана высшей наградой. Картина имела огромный успех у фестивальной аудитории, сразу же привлекла внимание международной кинематографической общественности и заслужила высокую оценку многих зарубежных деятелей культуры. Вот некоторые мнения:

Митчел Уилсон, писатель (США):
«Главное, чего удалось добиться

С. Бондарчуку,— это передать на экране самый дух Толстого, проникнуть в суть мысли великого писателя... Это, конечно,— выдающееся событие в искусстве кинематографа. Мне хотелось бы отметить историческую достоверность всех деталей — и в интимных сценах и в грандиозных батальных. Этой достоверности очень не хватало американскому киноварианту «Войны и мира», сделанному Кингом Видором. Впрочем, лю-

Марсель Мартен, кинокритик (Франция):

«Бондарчук поразительно верно выразил и дух и букву великой книги. Он дал пластический эквивалент мировосприятия писателя, не опускаясь до механического копирования вещи. Перед нами развернулась широкая панорама русской жизни, такое богатство характеров, какое поистине достойно Толстого».



Снимается сцена «Первый бал Наташи»

бые сравнения будут в пользу картины С. Бондарчука».

Джеймс Олдридж, писатель (Англия):
«Как и все, кому довелось увидеть «Войну и мир», я сначала был очень обеспокоен, сумеет ли Бондарчук сделать что-либо подобное моему собственному понятию о «Войне и мире», ибо каждый человек ощущает это великое произведение по-своему и имеет свое мнение о нем. Бондарчук создал свою собственную «Войну и мир»... Я поверил во всех действующих лиц и принял их, что свидетельствует об успешном воссоздании Толстого».

Клод Отан-Лара, кинорежиссер (Франция):

«Фильм «Война и мир» — это как бы чудесный альбом, раскрывающий перед нами одно за другим все важнейшие события бессмертного памятника мировой литературы. Ни одного кадра, где не чувствовалась бы верность духу оригинала. Ни одного жеста и движения, которые не были бы проникнуты вниманием и уважением к патриарху русской литературы».

Лючия Бозе, киноактриса (Испания):

««Война и мир» — шаг вперед к завоеванию новых кинематографических высот. Философия Толстого и психология его героев переданы на экране с удивительной достоверностью и тонкостью».

Я присутствовал на просмотре двух серий фильма, который состоялся на Международном кинофестивале в Мексике. Это было в Акапулько. Первоклассный курорт. Тропическая экзотика. Шикарные пляжи на берегу Тихого океана. Шикарные отели. Публика — богатые американцы, состоятельные туристы из Центральной и Южной Америки: бразильцы, аргентинцы, гватемальцы, перуанцы. Есть, конечно, и местные жители. Но и они все так или иначе связаны с курортниками, с туристами — продают сувениры, готовят обеды и коктейли, содержат прогулочные яхты с пестрыми парусами, возят на рынок кокосы и бананы... Как все это далеко от Москвы, от России, от 1812 года, от всего того, о чем рассказывается в фильме! Разговариваю перед просмотром с местным журналистом

и двумя довольно известными мексиканскими киноактерами, пытаюсь уловить, насколько ориентируются они в русской истории, в русской жизни Кутузов? Нет, не знают, не слышали. «Война 1812 года? Сражение у Бородино? Ах, Наполеон! Поход Наполеона! Да, русский мороз его тогда остановил!»

И вот — просмотр Зал переполнен Смотрят и слушают, затаив дыхание — Взрывы аплодисментов По окончании — овация. Мнение достаточно единодушное: «Война и мир» — самый глубокий, самый человеческий фильм фестиваля

— Успех фильму в Мексике гарантирован Очень народная картина Наши зрители такие любят — Это слова генерального директора мексиканского кино Марио Полениа

Несколько лет назад мы видели итало-американский фильм «Война и мир», поставленный режиссером Кингом Видором Эта работа, выполненная с бесспорным профессионализмом, отмеченная высоким уровнем режиссерского, операторского, актерского мастерства, вызывающая интерес некоторыми творческими решениями, тем не менее не могла удовлетворить нас в главном своем значении — как произведение, призванное передать кинематографическими средствами роман Толстого

«Война и мир» Кинга Видора, сделанный как весьма занимательный фильм по толстовскому сюжету, с экзотикой в стиле «рюсс», не сумел передать философию романа, его глубину Он был абсолютно лишен национального духа. Толстой без его философских обобщений Толстой без глубокого осмысления истории. Толстой без национальной принадлежности — такова была суть американской кинокартины

Иное — в фильме Бондарчука Зритель в нем приобщен к огромному миру мыслей и чувств, пронизывающих роман, он углублен в философские раздумья великого писателя

Эпиграфом к фильму служат слова Толстого «Все мысли, которые имеют огромные последствия, — всегда просты Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое Ведь как просто»

Фильм наполняет вера в человека, в душевное здоровье народа, вера в мощь человеческого единения Веру эту рождают размышления героев о жизни и смерти, о добре и зле, о радости бытия, о бедствиях народных, о войне, о роли личности в истории, о совести, о славе, о любви События частной, интимной жизни — это часть больших исторических событий, влияющих на судьбы целых стран, целых народов Свободно переплетаются «разномасштабные» явления, сопоставляются факты, характеры, сталкиваются люди, часто никак напрямую не связанные внешней сюжетной линией, всегда есть безупречная внутренняя логика, подчиненная развитию толстовской мысли

Люди рождаются, умирают, любят,

страдают, спорят, надеются. Люди трудятся, воюют, побеждают, гибнут в борьбе. И за судьбами их встает нечто великое и вечное — народ, Родина. И как бы ни жили эти люди со всеми своими повседневными делами, стремлениями, мечтами, в конечном итоге их жизни, мечты, стремления определяются судьбами Родины, судьбами народа, зависят от них

Фильм оставляет ощущение огромности и вечности окружающего нас мира, рождает чувство восторга перед его гармонией, чувство благодарности за возможность жить в нем, ощущать себя его частью — частью его природы и частью великого человеческого целого.

Эти чувства и ощущения рождены напряженным драматизмом борьбы и исканий, противоборством страстей и мыслей, столкновениями добра и зла, светлых и темных сторон человеческой души. Этот драматизм, эти столкновения, искания переданы в картине стройным ансамблем всех ее компонентов Талантливое и мастерское организирующее начало режиссуры С. Бондарчука находит великолепное продолжение и развитие в работе оператора А Петрицкого, в музыке В. Овчинникова, в игре актеров Выразительные возможности кинематографа демонстрируют нам свою силу. Смело, неожиданно, ново использованы и «старые» художественные средства кинематографа — монтаж, ракурсы, композиция кадров, цвет и такие новые, как широкий формат, стереофония звука, подвижная камера И все это богатство, гибкость киноязыка фильма неизменно подчинены единой задаче — наиболее полно воспроизведению романа Толстого

* * *

В чем состоит главная трудность перевода литературного произведения на экран? Из чего исходить, чего добиваться, к чему стремиться авторам экранизаций? Каковы критерии оценок фильмов, созданных на основе рассказов, повестей, пьес, романов?

Все это вопросы вечные.

С первых своих шагов кино всегда шло рядом с литературой, кино всегда обращалось и будет обращаться к литературе, это — его живительный и неиссякаемый источник Но с тех пор как возник союз, не затихает спор что главное — дух или буква?

Главное, разумеется, дух, главное — передать существо произведения, замысел писателя, его идею Цепляться за букву, слепо следовать за текстом — путь примитивный, неплодотворный, — непрерываемо утверждают одни Другие соглашаются — конечно, дух — это очень важно. Но ведь в художественном произведении, в книге дух существует не сам по себе, он возникает из слова, из буквы И если хочешь передать дух, то необходимо следовать букве. Иначе — неизбежны отступления от первоисточника, его искажение

Спор идет и вокруг проблемы, так сфор-

мулированной Жуковским: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник».

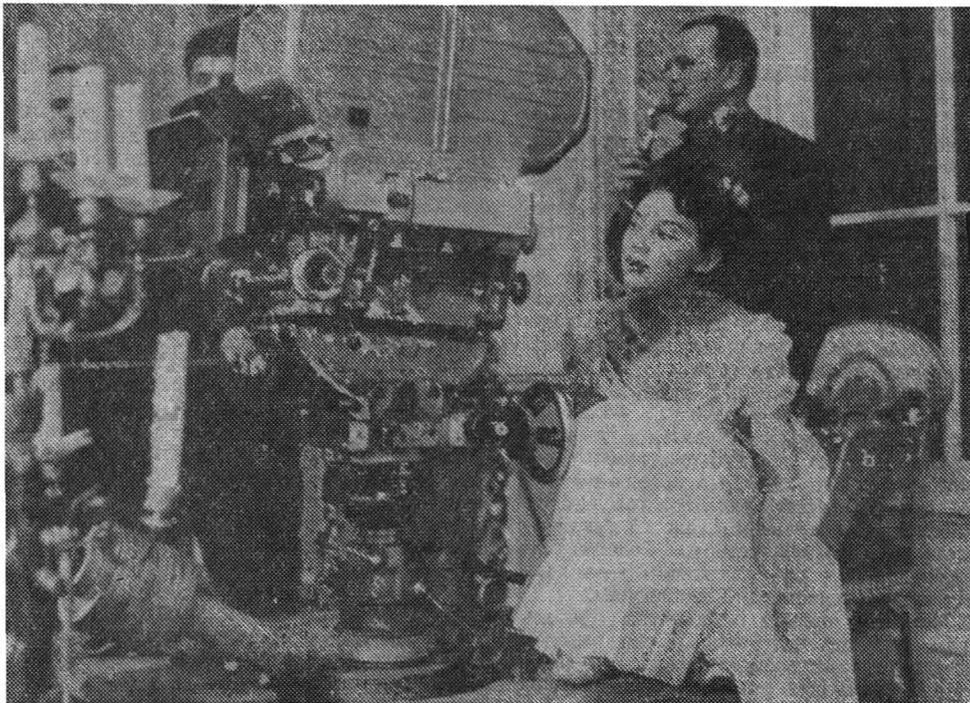
Уповая на то, что экранизация есть ни что иное, как перевод с языка литературы на язык кино, спорщики требуют от экранизаторов соперничества с авторами первоисточников.

Сергей Бондарчук и его творческий коллектив все эти вопросы решали в процессе работы над своим фильмом. И вот мы пытаемся определить, что же главное в этой экранизации — буква или дух?

Стремление быть во всем верными Толстому, стремление с максимальной точностью экранизировать роман ничуть не сковало кинематографистов, не связало им руки. Напротив, умение понять мысль Толстого, проникнуться ею обусловило свободу и смелость в переложении романа на экран, позволяющие доходчиво и выразительно передать кинематографическими средствами то, что написано Толстым.

Один небольшой эпизод из книги.

Во время Бородинского сражения ранен князь Андрей.



Через несколько минут Наташа (Л. Савельева) увидит на балу князя Андрея

Главное в ней — талант! Творческая одаренность, редкое трудолюбие, увлеченность, одержимость, художническая бескомпромиссность режиссера. Если все это присутствует в его работе, думается, и почвы для подобного спора не будет.

Непреложным условием всей работы Бондарчука было стремление как можно точнее, глубже, бережнее передать то, что написано, продумано и прочувствовано Толстым.

А вот как сам С. Бондарчук определяет принцип экранизации, использованный при постановке «Войны и мира».

«Мы хотим сделать не еще одно толкование Толстого, не фильм по поводу романа или по его мотивам, а средствами киноискусства возможно полнее выразить то, что хотел сказать писатель. Творчество Льва Толстого — океан, из которого каждый художник черпает столько, сколько может. Мы, естественно, стараемся зачерпнуть как можно больше».

Читаем у Толстого.

«— Берегись! — послышался испуганный крик солдата, и как свистящая на быстром полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хоршо или дурно было выказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.

— Ложись! — крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашуни и луга, подле куста полыни.

«Неужели это смерть?» думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. «Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву,

землю, воздух... Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.

— Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту, — какой... — Он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха, и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.

Несколько офицеров подбежали к нему. С правой стороны живота расхлослось по траве большое пятно крови.

Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившийся лицом до травы, и, тяжело всхрапывая, дышал.

— Ну что стали, подходите!

Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги, но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять опустили его.

— Берись, клади, все одно! — крикнул чей-то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки.

— Ах Боже мой! Боже мой! Что ж это?.. Живот! Это конец! Ах Боже мой! — слышались голоса между офицерами.

— На волосок мимо уха прожужжала, — говорил адъютант. Мужики, прилавившись носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту.

— В ногу идите... Э!.. мужичье! — крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.

— Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор, — говорил передний мужик.

— Вот так, важно, — радостно сказал задний, повав в ногу.

— Ваше сиятельство? А? Князь? — дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.

Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из-за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из...» Далее идет описание перевязочного пункта.

И вот тот же эпизод в сценарии.

«Слышится испуганный крик солдата: — Берегись!

В двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепается граната. Лошадь взвизгивает и отскакивает в сторону.

Кричит прилежный к земле адъютант:

— Ложись!

Князь Андрей стоит в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертится между ним и лежащим адъютантом.

Князь Андрей глядит на...

Траву, на полынь и на струйку дыма, выходящую от вертящегося черного мячика-гранаты.

Камера стремительно уходит от вертящегося мячика.

К буйной сочной траве,

к шумящим листвою березам, бескрайним просторам земли, небу... (В тишине слышен только звук шипящей гранаты. Звук нарастает, нарастает... Все громче и громче шипит граната).

На фоне этих кадров голос от автора: «Неужели это смерть? Я не могу, я не хочу умереть. Я люблю жизнь... Люблю эту траву, землю, воздух...»

Внезапно звук обрывается. Тишина. Долгая, мучительная тишина. Страшный, неимоверной силы музыкальный взрыв сотрясает небо, березы, красивую землю...»

Эпизод стал короче. Авторы сценария опустили и самый момент ранения князя Андрея — как он падал, как лежал на земле, как расхлослось по траве кровавое пятно, — и волнение офицеров, и последующий вызов санитаров-ополченцев, их приход, их разговоры. Оставлено то, что должно передать ощущение приближающейся, неумолимо, неотвратно надвигающейся смерти и последние чувства, последние мысли человека, который сейчас, в следующее мгновение должен умереть. Смысл эпизода в словах: «Неужели это смерть?.. Я не могу, я не хочу умереть... Я люблю жизнь. Люблю эту траву, землю воздух...»

На экране этот эпизод (вы увидите его в третьей серии фильма) получился компактным, энергичным, несущим в себе огромной силы эмоциональный заряд. Построенный на быстром, повторяющемся монтаже трех изобразительных фраз — шипящее, вращающееся ядро, готовое в любой миг взорваться, неотрывно глядящий на него князь Андрей (В. Тихонов) и деревья, трава, земля, сотрясаемые порывом ветра, — он заставляет вас пережить то самое чувство, когда, говоря словами Толстого, невольный холод пробегает по спине и в сознании человека мелькает мысль: «Неужели это смерть? Я не могу, я не хочу умереть. Я люблю жизнь...»

Одна из самых блистательных в фильме сцен — дуэль Пьера и Долохова. Прочтем эту сцену в романе, а затем в сценарии: это, собственно, одно и то же. Никаких изменений.

— Р...аз! Два! Три! — сердитым голосом командует Денисов. Пьер и Долохов приближаются навстречу друг другу. Грузный, близорукий Пьер, как-то нелепо приседая, быстрыми шагами идет по снегу, сбивается с дорожки, спотыкается. Он держит пистолет, неловко вытянув его вперед, словно боится попасть в самого себя. За чем-то он растерянно оглядывается и вдруг, быстро вытянув руку, стреляет. Вместе со звуком выстрела на лице Пьера появилась едва уловимая, радостная улыбка — «Выстрелил! Вот удача — первый раз взял пистолет и все-таки сумел!» Но в то же мгновение он понял, что улыбаться в такой обстановке нельзя, неудобно, и тотчас, привычным движением светского человека придал своему лицу спокойное, безразличное выражение. Однако уже в следующую секунду, когда Пьер понял, что попал в До-

лохова, что, возможно, убил его, маска безразличия слетает, и на лице, в глазах — ужас, раскаяние, сожаление, сочувствие. А еще через несколько секунд — он, схватившись за голову, сам не понимая зачем, пойдет куда-то прямо по снегу, через кусты, выговаривая: «Глупо, глупо! Смерть... Ложь...»

Сцена идет считанные минуты, но сколько сказано, сколько дает она для понимания характера Пьера, его души, его натуры! И все это в сущности буквальное воспроизведение на экране толстовского текста. Это толстовский текст, это Толстой плюс талантливая режиссура и филигранное актерское мастерство С. Бондарчука, плюс одухотворенная работа оператора А. Петрицкого, плюс точнейший монтаж кадров.

Но Толстой не заставил авторов отказаться от своей художнической индивидуальности, не помешал им в поиске новых выразительных средств киноязыка:

Именно новых. Лет десять назад такой фильм просто не мог появиться. И не только потому, что тогда не было широкого формата, не было стереофонического звука. Не было и других условий для появления такого фильма — уровня развития выразительных средств кино, современной активности общественной мысли, активности нашего искусства. Точное следование Толстому в фильме — это не некое вневременное прочтение романа, а прочтение его глазами художников в а ш и х дней.

* * *

С. Бондарчук и В. Соловьев глубоко творчески подошли к написанию сценария. Роман, как ни старайся, нельзя просто взять и «положить» на экран. В романе художественные образы создаются специфически литературными средствами. Как их изобразить «впрямую»? Мешают и обилие пространных описаний и рассуждений, объем романа всегда намного превосходит рамки даже многосерийного фильма. Но как с наименьшими потерями организовать материал?

Сценаристы нашли этот принцип — толстовский «закон сцепления» мыслей, позволяющий, не теряя логической нити, вести действие в разных планах, со множеством персонажей, часто никак не скрепленных внешними сюжетными связями.

Авторы сделали ставку на эмоциональность картины, и это оправдало себя. В наш век моды на интеллектуальность в киноискусстве, когда режиссеры стремятся доказать, что современный кинематограф — это кинематограф думающий, — фильм «Война и мир» со всей своей философией обращается прежде всего к сердцу зрителя. С. Бондарчук и его соратники и тут опираются на Толстого, на его мысль о том, что искусство существует для того, чтобы обмениваться чувствами.

И оказалось, что эмоциональность ничуть не противоречит думающему киноискусству, что ее рано сдавать в архив, при-

равнивая к сентиментальности и считая чем-то низшим, не достойным «интеллектуалов». Создатели фильма доказали, что язык современного кино способен вызывать у зрителя высочайший накал чувств, заставляя их переживать вместе с героями, разделять их горе или радость, постигать их душевное состояние и тем самым приходиться к постижению авторской мысли.

Следуя за Толстым, создатели картины стараются не просто показать человека, представить его, но вместе со зрителем проникают в его душу, в его сердце, следят за движением его чувств, за развитием его мыслей.

Мы знакомимся, например, с Андреем Болконским в салоне Анны Павловны Шерер и в следующих же сценах присутствуем при его беседах с Пьером Безуховым. О чем говорят они? Обо всем, о многом, о жизни. О том, например, что женитьба в молодые годы — это плохо, что не надо жениться до тех пор, пока не поймешь, что сделал все, что мог, и до тех пор, пока не перестанешь любить ту женщину, какую выбрал.. Это князь Андрей говорит Пьеру.

А потом мы услышим: «Женитесь! Женитесь! И я уверен, счастливей вас не будет человека». Это Пьер скажет князю Андрею. И тот согласится с ним, потому что эти слова отвечают его мечтам, его надеждам: «Весь мир разделен для меня на две половины: одна — она и там все — счастье, надежда, свет; другая половина — все, где ее нет — там все уныние и темнота»...

Они говорят о войне, которая тогда все ближе подступала к границам России. Болконский идет на войну. Для чего? Он не знает. Очевидно, так надо. Он уйдет на войну и будет служить при штабе Кутузова. Он увидит парады, торжественные шмоты и марши. И однажды он признается только самому себе, что единственное, чего он хочет, — это славы, хочет быть известным людям, любимым ими. Одного этого он хочет, для одного этого живет. Смерть, раны — ничто не страшно. Отца, сестру, жену — все отдаст за минуту славы, торжества над людьми.

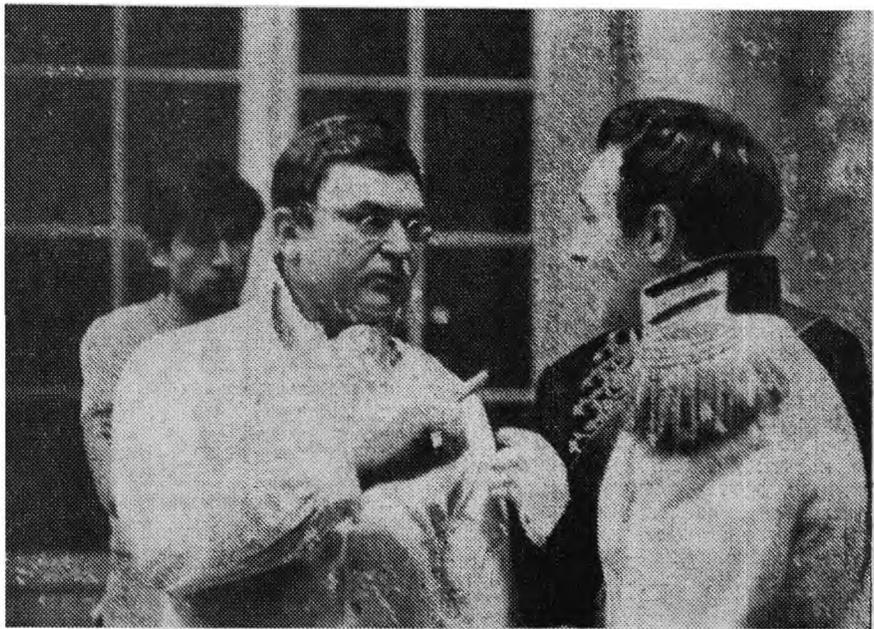
Но потом, когда, казалось бы, он уже на вершине славы, когда он бросается навстречу противнику со знаменем в руках, и падает, сраженный пулей, и лежит в красивой позе, сжимая древко знамени, и сам «великий Наполеон» скажет о нем: «Вот прекрасная смерть!», у князя Андрея возникнут другие мысли. Он увидит над собой небо, высокое небо, неизмеримо высокое, с тихо ползущими по нему серыми облаками. Как все тихо, спокойно и торжественно, — подумает он. Как же он не видел прежде этого неба? И как он счастлив, что узнал его, наконец. Да, всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него...

А еще через какое-то время, встретившись с Пьером и продолжая давно прерванную беседу, он с уверенностью скажет, что, желая славы, живя для славы, он погубил свою жизнь, что надо жить только для себя самого, — спокойно и просто, жить, избегая

лишь двух зол: угрызения совести и болезней. Это и есть счастье... А пройдет еще несколько лет, и мы снова увидим князя Андрея в армии и услышим от него другие слова...

Еще один образ — Долохов (О. Ефремов), отнюдь не главный в фильме, появляющийся лишь в нескольких эпизодах, но сделанный многокрасочно. Гвардейский офицер, игрок и бретер, повеса и кутила, знаменитый своими похождениями, он в самом начале фильма предстает перед нами как заправила лихого ночного кутежа. Сидя на паружном откосе окна, свесив ноги на

дателям картины пришлось отказаться, многое оставить «за кадром». Что же это многое, от чего отказывались и что оставляли «за кадром», — второстепенное, несущественное? Но кто может сказать, какие именно эпизоды, какие герои у Толстого «второстепенные», «несущественные»? И не звучат ли сами эти слова по отношению к гениальному роману Толстого нелепо? С. Бондарчуку казалось важным и необходимым перенести на экран таких-то героев, такие-то сцены, сюжетные линии, мысли и раздумья писателя. Другой художник, возможно, предпочел бы другие мысли и поло-



Сейчас они превратятся в Пьера Безухова и князя Андрея...

улицу, ни за что не держась, он выпивает на пари бутылку рому. В дальнейшем, оказавшись в бою (будучи к тому времени за deboши разжалованным в солдаты), Долохов проявляет редкую храбрость и отвагу. Потом он, уже снова с погонями офицера, нагло и вызывающе напрашивается на дуэль. Получив тяжелую рану, он корчится, извивается, словно готовый в приступе злобы, мести и бессилия грызть самого себя из-за того, что не убил противника. И тут же, вслед за этим, — совсем другая краска. Долохов, этот буян и бретер, этот наглый циник, оказывается способен на тонкие и добрые чувства: он, незнатный, бедный офицер, живет со старушкой матерью и горбатой сестрой, он — самый нежный сын и брат...

* * *

В фильм входят все основные сюжетные линии романа, в нем представлены все основные герои. Разумеется, от многого соз-

жения, последовал бы иной системе отбора, иной трактовке: что ж, это благодарная тема для плодотворных дискуссий, интересных творческих споров...

Военная «сторона» фильма. Шенграбенское сражение, Аустерлиц, Бородино, изгнание французов.

Красивые мундиры, блестящие эполеты, ордена, медали, звания, геройские подвиги, звонкая слава, восхищенные взгляды очаровательных женщин, бравурная музыка, приветственные возгласы — это война. Навиновосторженный энтузиазм Николая Ростова (О. Табаков), суровая, мужественная деловитость Багратиона (Г. Чхонелидзе), лихая удаль Денисова (Н. Рыбников), «благоразумная» осторожность штабных офицеров — это тоже война. Торжественный императорский смотр начищенных, умытых, пестро разодетых полков. Тяжелый, утомительный, изнуряющий переход. Истекающие кровью солдаты, мясорубка полевого лазарета, чудовищная бессмысленность никому не нуж-

ных жертв, отрезанные ноги, ужас смерти, дикие стоны раненых, лошадиные трупы с вывороченными внутренностями. Пот, грязь, руки мародера, срывающие образок с груди умирающего — тоже война. Подвиг капитана Тушина (Н. Трофимов) и его батареи, прекрасный, вдохновенный подвиг воинов, забывших в горячие минуты боя обо всем — об усталости, о ранах, о смерти и знающих лишь одно: надо выполнить приказ, удерживать высоту, надо бить врага до последней возможности. Высокий воинский подвиг! Он остался незамеченным и неотмеченным. Тушину даже малость попало от начальства. А какой-то генерал, бежавший с поля боя и растерявший своих солдат, выдает себя за героя и умелого командира, — и это война. Война — это мудрость Кутузова, его сыновья любовь к Родине, его ратный опыт; это беззаветный патриотизм тысяч и тысяч простых солдат, русских мужиков, которые, возможно, никогда и не произносили таких слов, как «патриотизм», «Родина», «долг», и которые отдавали жизни свои за Родину, во имя долга, во имя святых патриотических чувств.

Вершина военных эпизодов фильма — Бородинский бой (третья серия картины). Перед нами развертывается грандиознейшая панорама сражения. И когда мы говорим о том, что «Война и мир» — явление для кинематографа исключительное, небывалое, что постановка подобного произведения предпринимается впервые, то к эпизоду Бородина это относится прежде всего. Таких батальных кино еще не показывало. Широкоформатный экран, стереофонический звук, цвет, музыка, движущаяся, а часто даже летающая камера, искусство пиротехники, многотысячные массовки и сложнейшие игровые куски — все это, сплавленное вместе, дает картину потрясающей силы.

Рядом с военными сценами широко и разнопланово показаны картины мира. Дополняя друг друга, переплетаясь друг с другом, они создают сложную, могучую и прекрасную симфонию жизни. Петербург и Москва, дворцы и простые избы, роши, поля, проселочные дороги — все это мы видим на экране. Пестротой радостных красок, упоительной музыкой, атмосферой праздника захватывают кадры первого бала Наташи. Русская удаль, русское раздолье, обаяние и размах русской души — этим словно бы дышат сцены псовой охоты, вечер у дядюшки. Тонкой поэтичностью, какой-то таинственной сказочностью овевая эпизоды ночи в Отрадном. Высший свет с его изысканной холодностью, блестящей пустотой и лицемерием открывается нам в салоне Анны Павловны Шерер. Веселую улыбку вызывает сцена «сватовства» Пьера, сыгранная в сатирическом ключе.

Но не раз появятся на наших глазах и слезы, не раз смерть придет на экран: умирает маленькая княгиня Лиза, умирает князь Андрей, умирает Петя Ростов. В мрачной торжественности предстает смерть старого графа Безухова. Философскими раз-

думьями о смысле жизни, о месте человека на земле проникнуты беседы Пьера с Андреем...

* * *

Фильм радует великолепным созвездием актерских имен. И если даже принять во внимание, что не все исполнители ведут свои роли на одинаково высоком уровне (это естественно) — все равно, общее впечатление от ансамбля исполнителей, главных, и эпизодических ролей, остается в высшей степени светлым, праздничным. Л. Савельева, С. Бондарчук, В. Тихонов, О. Ефремов, О. Табаков, А. Вергинская (княгиня Лиза), В. Станицын (граф Ростов), А. Кторов (князь Николай Болконский), И. Скобцева (Элен), Б. Смирнов (князь Василий), А. Борисов (дядюшка), А. Шуранова (княжна Марья), А. Степанова (Анна Павловна), Б. Захава (Кутузов), В. Стрельчик (Наполеон) — этот перечень говорит сам за себя.

О Людмиле Савельевой и ее Наташе хочется сказать особо. И не только потому, что Наташа — первая, притом столь ответственная роль молодой актрисы; и не только потому, что мы о ней пока не говорили; и даже не потому, что это одна из основных ролей. Наташа — одна из самых ярких, самых счастливых удач фильма. Наташа — как бы олицетворение всего искреннего, доброго, жизнеутраченного.

Мы знали, что Наташа Ростова — маленькая, тоненькая, большеротая, очень живая. Внешние черты, так хорошо знакомые по роману, легко найти и в Савельевой. И то, как она нечаянно вбегает в гостиную и застывает от неожиданности, не умея скрыть удивления и счастья, и то, как с милой непосредственностью откидывает она набежавшую на лоб прядь волос, прежде чем поцеловаться впервые в жизни, и то, как пляшет вечером у дядюшки после охоты, и как шепчется с матерью в постели, и как сидит возле умирающего князя Андрея, — везде истинно толстовская Наташа, полная очарования, наивного восторга перед жизнью, добрая и доверчивая.

Наташа мила, молода, обаятельна, у нее живые глаза и свежее личико. И все же секрет ее очарования серьезнее и глубже. Заслуга актрисы в том, что она сумела выразить присущую Наташе необыкновенную жажду жизни и счастья. Всякий раз, в любой сценке, когда Наташа появляется перед нами, мы чувствуем эту ее способность целиком, всем своим существом отдаваться каждому мгновению жизни, ее умение проживать каждую минуту в полную силу.

Наташа — обыкновенная девушка, не первая красавица, не самая умная, она не задумывается над мировыми вопросами, не мучится поисками вечной истины. Но в ней есть незаурядность, отличающая ее от других людей. Это — гармония ее природы, гармония ее отношений с миром, ее ярко выраженная русская национальность. Гармония эта проявляется не в умиротворенности, не

в успокоенности, а в движении, в действии. Все душевные силы Наташи всегда собраны, всегда отданы переживаемому в данный момент чувству, впечатлению.

В жизнерадостной, веселой, всех желающей любить Наташе, какой ее показывает Савельева, нет легкого, поверхностного отношения к жизни. Ее даже счастливые переживания всегда так глубоки, что в них неизменно присутствует драматизм. Смех и

замы, в которых застыли слезы радости, надежды, упрека, и уверенно, дважды повторила одно и то же слово: «Да, да».

Поистине, что за прелесть эта Наташа!..

* * *

...И плывут в яркой синеве неба клубы белых весенних облаков, и гонит их куда-



И вот то, что увидит зритель...

слезы у нее всегда рядом. Настоящий, искренний смех. Настоящие, горькие слезы. И не потому ли столько непередаваемого ликования в Наташиной улыбке на балу — улыбке, сияющей сквозь готовые пролиться слезы, и столько испуга, муки, серьезности, когда Болконский делает ей предложение и когда она тяжело рыдает, прежде чем проговорить слова: «Ах, я так счастлива!». Это чудесная сцена. Как ожидала Наташа этой минуты, как тревожилась, что Андрей не едет, пропал где-то, как ей хотелось скорее услышать его слова: «Я люблю вас, любите ли вы меня?» И, наконец, они вдвоем в гостиной. И он действительно взял ее руку, поцеловал и сказал эти слова. Она подняла голову, посмотрела на него своими большими, чистыми, добрыми глазами, гла-

то упрямый, беспокойный ветер, и гнутся на этом ветру тонкие осины, нежные березки, а мощный вековой дуб растопырил огромные, неуклюжие, корявые руки и стоит себе не шелхнувшись, спокойно, величаво. И светит солнце этому дубу, этим березкам, этим полям, лугам, перелескам... Русская земля. Города, деревни, дороги. И — люди, всюду люди. У каждого своя судьба, свои надежды, свои боли и радости. У каждого! Но живут они все вместе, в одно время и в одном мире. За миллионами отдельных человеческих судеб встает нечто великое и вечное — народ, Родина...

На экране — Россия. На экране — русский народ в один из решающих моментов своей истории. На экране — роман Толстого...

РОДЕН И ЕГО ВРЕМЯ

В 1878 году в Париже разразился скандал — жюри традиционной официальной выставки «Салон» обвинило 38-летнего талантливое скульптора Огюста Родена, уже сложившегося к тому времени мастера, в том, что представленная им статуя «Бронзовый век» — просто муляж с натурщика. В этом произведении, поразившем членов жюри и зрителей необычайной жизненностью и правдивым изображением человеческого тела, Роден передал пробуждение сознания человека и его духовных сил. Глаза бронзового юноши еще закрыты, но в самой позе уже ощущается активная энергия, готовая преодолеть сковывающее оцепенение сна.

В ответ на обвинение Роден действительно выполнил муляж с молодого бельгийского солдата, который позировал ему для статуи, и вместе с его фотографиями прислал в Салон. Жюри пришлось извиниться перед скульптором.

С того времени каждое новое произведение Родена привлекало к себе внимание передовой французской интеллигенции. Всякий раз скульптор удивлял современников выразительной силой и мощью своего дарования, но нередко вызывал и недоумение необычной новизной решений. Поэтому многие его произведения не сразу получили всеобщее признание. Даже самое значительное создание Родена — памятник гражданам Кале, был установлен только через десять лет после его окончания, ныне он является главным украшением города. Сюжетом этого произведения послужил эпизод из Столетней войны. В 1347 году войска англичан осадили французский город Кале. Когда положение города стало безвыходным и горожане решили сдаться, король-завоеватель потребовал: шесть самых богатых и уважаемых граждан города босиком, с веревками на шее, должны принести ему ключи от городских ворот. Эти люди будут казнены, и такой ценой город получит свободу. Родену заказали только одну фигуру, но, верный исторической правде и увлекшись возможностью дать сложное психологическое решение темы, он за свой счет выполнил еще пять фигур. Скульптор изобразил шесть разных реакций на одно и то же трагическое событие: от муки, отчаяния и скорби до проявления высочайшего героизма. Впереди, высоко подняв голову и презрительно сжав губы, держа в руках ключи от города, стоит Жан д'Эр. Это человек, сознательно совершающий подвиг, готовый отдать жизнь во имя свободы своих сограждан. В памятнике гражданам Кале Роден, может быть единственный в искусстве своего времени, остается верен большим общественным и гражданственным идеалам.

Наиболее полно новаторские искания Родена раскрылись в его грандиозной композиции «Врата ада», навеянной образами Данте. Получив заказ на украшение 6-метровых бронзовых дверей в новом здании музея декоративного искусства, Роден решил отразить все многообразие жизни с ее стремительным течением, людскими страстями, страданиями и надеждами. Он работал над этим произведением с 80-х годов XIX века до последних дней своей жизни. Композиция в целом осталась незавершенной, но отдельные сюжеты Роден разработал в самостоятельные произведения. Среди них скульптурная группа «Поцелуй» — олицетворение целомудренной и прекрасной любви, возвышающей и облагораживающей человека; Ева, переживающая первый стыд грехопадения; Адам, вобравший в себя целый комплекс сложнейших человеческих чувств, и, наконец, знаменитый «Мыслитель», в котором воплотилась могучая интеллектуальная сила человека. Не случайно В. И. Ленин советовал молодым делегатам III съезда партии обязательно посмотреть в Париже эту статую.

Одной из лучших своих работ сам скульптор считал памятник Бальзаку, созданный им по заказу общества литераторов и отклоненный комиссией одиннадцатую голосами против четырёх. Позже Роден отказался соорудить памятник на частные пожертвования и отверг предложение продать статую в Америку. «Бальзак останется мне», — с горечью говорил скульптор.

Открыв новые пути в искусстве скульптуры, Роден оказал влияние на целое поколение скульпторов. Представление об этом дает выставка «Роден и его время», проходившая в Москве, в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Показанные на ней произведения были присланы из Франции. Впервые мы широко познакомились не только с творчеством Родена, но и с работами его учеников и последователей.

В мастерской Родена начал свой путь выдающийся французский скульптор XX века Антуан Бурделль. Его искусство, страстное и напряженное, утверждает героически возвышенные образы. «Геракл, стреляющий из лука», — одна из вершин творчества Бурделля. Герой древнего мифа дает скульптору возможность создать образ человека колоссальной энергии, способного к активному действию, к подвигу. В статуе древнегреческой поэтессы Сафо словно звучит ее поэзия, полная сдержанной страсти. Трагичен и мятежен Бетховен Бурделля.

В отличие от драматического искусства Бурделля, его современник Аристид Майоль создает образы, полные спокойствия и ясной гармонии. Его привлекает здоровая красота женского тела. «Я ищу прекрасно-

го... Природа добра, здорова и сильна. Нужно жить с ней и прислушиваться к ее языку»,— говорил Майоль. Эту мысль скульптор образно выразил в пластической красоте своей «Венеры».

Знаменитый живописец-импрессионист Огюст Ренуар представлен на выставке статуей «Пращка». В ней—знакомые черты его живописных произведений: полнота объемов, большая жизненная сила и поэтичность.

Внутренне близок Родену и Шарль Деспио, на редкость тонкий, умный и правдивый портретист. Произведения замечательного мастера декоративной скульптуры Жозефа Бернара и талантливое анималиста Франсуа Помпона хорошо дополняют наши сведения о французской скульптуре времени Родена.

В. Шрамкова,

научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ

Среди произведений, созданных московским графиком Юрием Могилевским, есть одно, известное миллионам людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами: это портрет Маяковского. На линогравюре Могилевского лицо поэта словно выхвачено из кромешной тьмы ярким светом прожектора. Никаких мелочей, все весомо, крупно: губы, за которыми притаился громовой голос поэта-трибуна, сурово-трагичная складка между бровей и напряженно, как бы «через хребты веков и через головы поэтов и правителей», всматривающиеся в нас глаза.

Этого портрета нет на нашей вклейке. Мы решили познакомить читателей «Москвы» с другими, мало известными или совсем неизвестными работами Юрия Могилевского.

Очевидно, читателям будет небезынтересно познакомиться и с самим художником.

Юрию Борисовичу Могилевскому 42 года. Родился он в Ростове-на-Дону, но почти всю свою сознательную жизнь прожил в Москве. Занятия искусством он начал со скульптуры, любовь к скульптуре, тяга к ней сохранилась у него и поныне. «Наверно, ею и кончу»,— сказал он однажды.

В его мастерской, расположенной на «верхотуре» девятиэтажного дома—одной из новостроек столицы, царят чистота и порядок, обычные, впрочем, для большинства мастерских художников-графиков. Сам хозяин невысок, плотен, улыбчив, спокоен, я бы даже сказал—медлителен. Но не всегда он был таким. Те, кто учился с ним в 1939—41 годах в Московской художественной школе, помнят его веселым, живым мальчишкой. Несколько лет спустя на фронте проявились другие качества характера Могилевского—смелость и решительность: он был артиллерийским разведчиком. Кстати сказать, в армии он сначала

оказался в студии военных художников им. Грекова. «Но... по моему глубокому убеждению, в то время важнее было воевать; рисовать, думал я, можно будет потом, после победы»,— рассказывал Юрий Борисович. Он прошел войну до конца, перенес тяжелую контузию, полученную в боях на Сандомирском плацдарме.

После войны Могилевский вернулся к прерванным занятиям искусством, причем сначала он учился на кафедре керамики, которой тогда руководил В. Фаворский. Одним из своих учителей Могилевский считает и Сергея Эйзенштейна. Находясь в первые годы войны в Алма-Ате, Юра Могилевский часто бывал у Эйзенштейна, наблюдал, как он рисует, компануя будущие кадры фильма «Иван Грозный», выслушивал его замечания.

Много лет спустя Могилевский вместе с другим известным советским режиссером и художником Сергеем Юткевичем оформлял спектакли «Пролитая чаша» и «Баня».

Скульптура, керамика, театральная декорация—таков путь Могилевского к графике, которой он увлекался в последние годы. Особенно известны его портреты Маяковского, Фиделя Кастро, Шостаковича, Эйзенштейна, Ландау. Они экспонировались на многих выставках в нашей стране, в Европе и Америке и приобретены музеями и коллекционерами разных стран.

Черное и белое—два главных цвета в искусстве графики; подчиняясь воле художника, они передают и многоцветие жизни, и сложные психологические состояния изображаемых людей, оттенки чувств и настроений. Для этого необходимо величайшее мастерство. Путь к нему труден, но художник последовательно идет по этому пути.

Г. Муравин

ЖИТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ!

Если все в мире процесс: энергия, жизнь, идеи, то цель литературы, в которой идеи персонафицированы, — исследование становления и раскрытия личности.

Большинство неудач даже в профессионально крепкой литературе — от статичности образов, неумения показать их движение. Не здесь ли и сущность упреков некоторым героям заметных современных произведений, таким, например, как Литвинов и Олесь Поперечный Б. Полевого или Коля Бабушкин А. Рекемчука? Их характеры сложились где-то еще за пределами книги — герои как бы достигли своего потолка, остановились и очень настойчиво приглашают: любуйтесь нами, берите нас за образец; если истина относительна, то мы — это относительное совершенство!

Естественно, что героям с таким «подтекстом» очень нелегко завоевать читательскую симпатию. Они и не обретают ее, несмотря на усилия автора, ввергающего их в пучину правдивых и очень жизненных конфликтов. Герои обладают завидным душевным здоровьем, идеальной моральной стойкостью, подлинно государственным широким мышлением, чего же еще вам надо, товарищи читатели? Читатель и сам видит: герои — хорошие парни, а сердце его остается закрытым.

Потому что сам он, читатель, переполнен множеством проблем и коллизий, которые надо решать ежечасно, и он бы хотел найти в книге сам процесс этого решения, а не готовый вывод.

А критики с грустью помнят «Повесть о настоящем человеке» или «Время летних отпусков», они тоскуют по вешней свежести первооткрытий, по приобщению к великому таинству рождения характеров. Ради этих свойств они порой прощают все: литературную неопытность, просчеты в мастерстве. Стоит только вспомнить, как дружно рукоплескала критика таким писательским дебютам, как «Продолжение легенды» А. Кузнецова или «Коллеги» В. Аксенова.

Находки, увенчанные успехом, порождают стремление повторить их. Поразительно проворно налаживается поточный метод литературного производства и штампы.

Человек духовно мужает, раскрываются все его духовные возможности в испыта-

ниях, окрашенных гражданской целью. Пожалуйста: возникает целая серия дежурных сюжетов с тушением лесных пожаров, горящих бензовозов и головокружительными шоферскими рейсами в пургу или по весеннему льду.

Самый важный фактор роста человека, его гражданского воспитания — пробуждение в нем чувства общественной ответственности. И тут бесспорно верная посылка зачастую предстает не в форме новых открытий, а со споровкой ремесла варьируется в уныло или бойко (суть от этого не меняется) рассказанных историях о том, как оказали человеку доверие; поручили ему, пассивному, большое дело, и в нем вдруг открылся талант и государственный ум.

А как все это может вдруг открыться в дотолее пассивной и абсолютно ничем не примечательной личности? Как поверить в эту метаморфозу, если нам не показали, как подспудно зрели в человеке, копились, искали выхода, готовились к своему часу его способности и устремления?

Разумеется, даже самой богато одаренной личности для проявления ее способностей нужны благоприятные условия. Необходим общественный спрос на те или иные таланты. Не потому ли одни эпохи блистали созвездием замечательных художников, другие — полководцев и государственных деятелей, третьи — ученых и изобретателей? Бывали времена, когда расцветало множество талантов, и наоборот, десятилетия и века всеобщего глухого молчания.

Плодотворность исторического подхода к этой проблеме бесспорна. Плохо, когда он слишком прямолинейно воплощается в художественном творчестве.

Простодушное упование на то, что созданная воображением художника ситуация сама по себе способна из вялого и безликого персонажа сделать яркую и общественно-значительную личность, — иллюзия. Это значит уподоблять человека «игрушке судьбы», видеть в нем легко управляемый механизм, а не индивидуальность. Мысли о роли «везения» вообще слишком популярны.

...Старенький Сарьян дождался полного удовлетворения претензий: телесъемки, вернисажа полного, киносъемки, музыки, гортензий...

Все-таки железное здоровье
нужно,
чтобы этого дожидаться.
Да, здоровье. И еще — второе:
трижды сверхжелезная удача.

Назвать всегда молодого, неистового труженика Сарьяника стареньким, везучим и дождавшимся успеха?!

Но, слава богу, поэт в своем изящно развязном стихотворении нашел верное продолжение мысли, хотя и вступил в явное противоречие с предшествующими строками:

То, что сдуру названо талантом,
даром. В этом деле все — недаром.
Нечего здесь делать дилетантам,
балагурам, трепачам, гусарам.

А ведь гусары — народ удачливый!

В старину говаривали, что судьба предоставляет людям одной среды равное количество белых и черных шансов. И счастливы отличаются от несчастливцев всего лишь тем, что умеют использовать эти шансы удачи. Когда перебираешь свою жизнь, то видишь множество неиспользованных возможностей, это значит, что для того, чтобы реализовать благоприятные условия, надо обладать внутренней готовностью к этому!

Немало людей на пороге казалось бы блестящей и устроенной жизни отказывались от всего, за что так крепко держались «счастливчики» и, приводя в отчаяние своих близких, выбирали какой-то свой, трудный путь. О них говорили: «Это люди с призванием», а о внешних обстоятельствах их жизни судили лишь по тому, помогали ли они или мешали этому призванию.

Все это я пишу для того, чтобы еще раз подчеркнуть: предмет литературы — изображение этих скрытых и очень личных душевных движений, опосредованно типизирующих свою эпоху. Наука всегда изучает только среду человека, даже если это его психология, анатомия и физиология, потому что она обобщает свойства своего предмета до полного уничтожения его индивидуальности. Искусство обобщает, предельно индивидуализируя, — в этом его секрет! Героев Л. Толстого можно различить по их голосам, интонациям, жестам. Я помню, как маститый толстовед Н. Гудзий, выступая перед студентами и смущенно противореча своей литературоведческой науке, отказывался называть типами Наташу, Андрея, Анну — настолько они неповторимо индивидуальны.

В искусстве нельзя повториться в изображении даже самой актуальной, самой современной художественной ситуации, тем более — характера! Здесь царит беспощадный закон: нет индивидуальности — нет правды.

Об этом приходится говорить вновь и вновь. Наша литература сегодня буквально наводнена потоком повестей, изображающих становление юного характера через труд и рабочей коллектив. И, несмотря на верность этой общей посылке, многие повести — неправдивы.

Когда-то А. Кузнецов в «Продолжении

легенды» одним из первых показал, как зеленый городской парнишка граждански взрослеет, мужает на могучей сибирской стройке. Его первоначальная растерянность, смятенность, душевная слепота и неуверенность постепенно сменились зоркостью повзросления, ощущением подлинных ценностей жизни. В повести было обаяние хрупких, трепетных душевных сдвигов, итог которых пока еще невелик, но ощутимо само движение! Увы, в природе все повторимо, кроме трепета первооткрытий.

Идея, сюжетное развитие, изобразительные приемы, так удачно разработанные в свое время А. Кузнецовым, были подхвачены, «размножены» в великом числе экземпляров многими авторами «молодежных» повестей. Возник даже особый термин: «исповедальная» повесть, в которой «лирически доверительно» изливает свои первые жизненные впечатления зеленый, порой инфантильный юноша.

В композиции такой повести — заметная диспропорция. В большей ее части — резвится, свободно изливаясь в манерном и капризном танце, юный эгоцентрист и затем, вдоволь налюбовавшись своей «утонченной сложностью», вдруг скоропалительно и как-то непринципиально суетливо и рассудительно «душеустраивается» где-нибудь на ударной стройке. В пятый, десятый, двадцатый раз — все та же прихотливая сказочка с «поучительным» и постным финалом. Но самое любопытное, что авторы как будто бы не понимают, что та «сложная» и инфантильная личность, которую они так старательно и любовно живописали, — попросту не в состоянии так мгновенно «перекроиться».

Проблема инфантильного характера, несмотря на то, что она чрезвычайно часто мелькает на страницах нашей печати и буквально пестрит в статьях критиков, до сих пор остается почти не раскрытой. Не случайно на недавнем публичном обсуждении одного из молодежных журналов его главный редактор высказал удивление: почему, мол, нашего юного героя обвиняют в инфантильности? Ведь он — юноша, для него незрелость — естественна. Инфантильность нередко смешивают с естественной юношеской незрелостью и детскостью мировосприятия, хотя в этом клубке — все различно.

Вряд ли кому-нибудь придет в голову назвать инфантильным юного героя «Детства» Л. Толстого, М. Горького или, скажем, С. Аксакова. Это развивающаяся у нас на глазах, очень гармоническая, здоровая и цельная личность. А вот иных сорокалетних героев В. Войновича, Б. Балтера или В. Аксенова иначе как инфантильными назвать трудно. Значит, ясно — дело не в возрасте.

И вот эта-то детскость, то есть духовная свобода, безграничная жажда новых открытий, распаханность перед всеми впечатлениями мира, энергично продолжающееся духовное развитие — является в известной мере полярной инфантильности.

Так что же такое, эта инфантильность? Это уродство, дефект развития, это неестественная задержка, остановка в росте и развитии со всеми вытекающими отсюда чертами болезненной, ограниченной в своих возможностях личности.

Из-за остановки в развитии инфантильный человек устремлен не столько в будущее, сколько в прошлое. Он живет этим прошлым, упорно цепляясь за него, ибо быстрое настоящее для него непосильно и непримлемо.

У Д. Сэлинджера, который в романе «Над пропастью во ржи» проявил необычайно тонкое понимание инфантильного характера, есть очень характерная сцена, на которую почему-то не все взволнованные читатели этой книги обращают внимание. Я имею в виду беседу Холдена Колфилда с мистером Антолини. Мистер Антолини сказал: «Пропать, в которую ты летишь, — ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти... Не хочу тебя пугать, но я очень ясно вижу, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, несуществующее дело. — Он посмотрел на меня странными глазами. — Скажи, если я тебе напишу одну вещь, обещаешь прочесть внимательно? И сберечь?»

И мистер Антолини, искренне озабоченный судьбой Холдена, написал: «Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела».

Отбрасывая понятие «смирненно» и заменяя его словами «активно», «упорно», — я вижу в этой фразе довольно емкое определение того тягостного душевного состояния, которое можно назвать инфантильностью.

Инфантильный человек, независимо от возраста, и даже чем он старше, тем все более явно неприспособлен к жизни. Он носит в себе драматическую неустроенность, странным образом тяготеет к ней и пытается опоэтизировать эту свою черту.

В своей неприкаянности он видит признак «высшей природы», протест против серой повседневности — естественный конфликт возвышенной личности с мешанской заурядностью. На самом деле он пуст, анархичен по природе, индивидуалист до мозга костей. Занятый только собой, он попросту не способен вступить в какие-либо обязывающие его контакты с людьми. Чувство ответственности для него невыносимо. С ощущением все более накапливающейся неудовлетворенности, переходя от человека к человеку, от дела к делу, рыщет по свету такой тоскующий пустоцвет и наконец складывает свою голову.

Попадая волей судьбы в гущу бурных общественных событий, такие люди могут быть их нестойкими попутчиками (их «геронизм» всегда окрашен иступленным, истерическим самоутверждением).

В годы общественного затишья и безвременья они своей неприкаянностью, самим фактом своего бросающегося в глаза конфликта с обществом начинают иногда восприниматься как жертвы общественного неблагополучия, поневоле олищветворяющие собой протест против него. Нельзя ли сказать в какой-то мере нечто подобное и о пресловутых «лишних людях» (по правде сказать, очень пестрой группе), трактуемых нашей почтенной наукой в качестве светлых, творческих личностей, не нашедших для себя применения в мертвящих тисках царского самодержавия?

Разумеется, я не собираюсь копаться в патологических чертах характера Печорина. Не стану проводить и сомнительных параллелей от Печорина к капитану Незеласову Вс. Иванова. Не буду сравнивать Печорина, в укор ему, и с его современниками, почти ровесниками: Герценом и Огаревым, Станкевичем и Белинским, — такая критическая метода уж слышком живо бы напомнила: «Зачем вы изобразили отсталый колхоз, когда рядом — передовой маяк «Рассвет»?»

Конечно же можно вполне положиться на В. Г. Белинского в том, что в злоключениях Печорина в немалой степени повинно крепостническое самодержавие. В конце концов царская армия открывала не так уж много путей для самовыражения мятежщей личности.

И даже, как ни соблазнительно увидеть черты инфантильности в характере тургеневского Рудина с его драматической неприкаянностью и поиском цели, достойной гибели, ибо жизнь для него непосильна, целиком переложить вину на плечи этого страдальца — несправедливо. Слишком многое в ту пору корежила и ломала сама российская действительность! А выход был труден и героичен, доступен только титанам. Потенциальные возможности многих и многих людей оставались нереализованными, а подавленные, они оборачивались личной драмой.

Но вот наступило мощное пробуждение общественного сознания. Растет и множится революционное движение, охватывая широкие массы. Наконец-то мятежный русский дух приобщился к научному мышлению, а его общественный протест и неудовлетворенность вылились в осознанную цель, освещенную научной программой.

Но что же делают в это время наши бывшие «лишние люди»? Не стали ли некоторые из них на этот раз уже окончательно лишними, без кавычек?

Рудин претерпел метаморфозу, он приобрел множество ипостасей — стал Ивановым, Войницким, Лаевским, тесно заселил страницы чеховских произведений. А. М. Горький с великой страстью ненависти и презрения проклял этого лишнего среди деятельных и здоровых духом людей, сор-

вав все маски, «облагораживающие» жалкого, бессильно себялюбивого и эгоцентрического человека, шумно оглашающего мир своими стенами: он ранен, он устал, болен, он тоже требует к себе участия. «Раненый не болен, у него только разорвано тело. Болен тот, кто отравлен», — отвечает этому «страждущему» Горький устами одного из своих персонажей в «Дачниках». Но они, эти лишние люди двадцатого века, жаждут быть отравленными, им необходим яд лжи. Человек «не может уничтожить противоречий жизни, у него нет сил изгнать из нее зло и грязь, — так не отнимайте же у него права не видеть того, что убивает душу!.. Я хочу быть обманутым, да! Вот я узнал правду — и мне нечем жить!» — истерически кричит Павел Сергеевич Рюмин, этот некогда загадочный, романтический, непонятый скиталец, отныне развенчанный беспощадным гением Горького в жалкого и трусливого «дачника». Очень скоро этот плакальщик показал свою удивительную липкую жизненную цепкость.

1917 год был рубежом эпох, мировоззрений, общественных систем. Но он не был непроницаемым барьером, каменной стеной, наглухо отделившей старое от нового. Люди вошли в новую жизнь со всем грузом своего прошлого, отразив его в искусстве.

И рядом с образами созидателей нового, героями М. Шолохова, А. Фадеева, Ф. Гладкова, Ф. Панферова, Б. Горбатова, Ю. Крымова и многих других, по страницам книг вновь начал скитаться неприкаянный, непонятый меланхолик, путешественник, пестующий свою единственную и драгоценную личность.

Как и многие, многие тысячи читателей, я очень ценю в К. Г. Паустовском — великоленного стилиста, виртуоза слова, немало сделавшего, чтобы научить людей любви к родной природе, зоркости к ее, порой неброской, но удивительно милой и одухотворенной красоте. Любая зарисовка у К. Г. Паустовского неизменно волнует душу. Однажды мне довелось читать служебный отчет о поездке в Йемен молодого советского почвоведом, он меня поразил в описании ландшафта, рельефа, структуры и цвета земли, обилием очень тонких и выразительных деталей. На мое удивленное замечание автор рассказал, что так видеть землю его научил Паустовский — такое признание, по моему, дорого стоит. С благодарностью я вспоминаю и терпкий аромат грусти по дальним далям, пришедший в детство моего поколения с «Колхидой» и «Кара-Бугазом».

Тем с большей горечью прочитала я главу «Белая ночь» в книге «Золотая роза». Дело здесь не в нарочитости красок: колокол, звучащий на древнем погосте в томительном свете белой ночи, слюдяной блеск белесого, невзрачного, но милого северного неба, наверное, и должны вызывать чувства печали. И можно только поражаться искусству писателя, который, постоянно говоря почти в одной и той же тональности, умеет не повторяться.

Меня огорчило другое. Писатель поехал в Петрозаводск по заданию А. М. Горького, который задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». Паустовского захватила изученная им в архивах история старинного Петровского завода, привлекла мысль «протащить в эту книгу» и пленившие его черты северной природы. Книга писалась по плану, в котором, по признанию писателя, «было много истории и описаний, но мало людей». Книга не получалась, материал расползался, нечем было сцементировать, оживить архивные подробности. Писатель решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска. Перед отъездом он пошел побродить по городу, который до тех пор почти не видел. Вышел на окраину и набрел на старое, заброшенное кладбище. На одном из памятников была надпись: «Шарль Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце». «Я понял, — продолжает свой рассказ писатель, — что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня. Девять дней длились поиски в архиве. Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении пленного. На девятый день были найдены указания на Лонсевиль в двух частных письмах, а на десятый — оборванное, без подписи донесение олонецкого губернатора о кратковременном пребывании в Петрозаводске жены «означенного Лонсевиль — Марии Цецилии Тринити, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле». — «Материалы были исчерпаны. Но того, что нашел сиявший от этой удачи старичок архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении... Так была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевиль», — сообщал писатель.

Может быть, все это очень любопытно с точки зрения того, «как возникают сюжеты», но причем же здесь «История Петровского завода»? Ведь автора, по его словам, остро тревожило напущение Горького: «Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите». И вместо истории завода, его людей, мастеров, рабочих — вдруг сердцепипательная история пленного француза, отношение которого к заводу весьма натянуто! Грустно оттого, что сама история завода, судьбы его мастеров не вызвали у автора того зажигания, которое вызвала затерявшаяся могилка таинственного скитальца, ставшего героем повести.

Есть такое понятие в искусстве «демагогия образов». Изображение одинокой старости, потери матерью ребенка, страданий беззащитного существа вызывает отклик в любом душевно здоровом человеке — таковы его моральные, «общественные рефлекссы».

Мне кажется, что наш видный писатель иногда прибегает к таким эмоционально

традиционным сюжетам, разумеется, расцвечивая их множеством ярких, талантливых деталей.

Он любил ее, но она не любила его, и он отправился, гордый бедняга, блуждать по свету — эта ситуация неотразимо слезоточива. Но в том-то и дело, что у писателя, даже если «он любил ее, и она любила его», он все равно, гордый поэт и бедняк, отправится в «ночном дилижансе» блуждать по свету.

Странное, банальное убеждение существует у некоторых писателей — творческий человек непременно должен быть одиноким и неприкаянным, таким чудачком и страдалцем не от мира сего. В этом убеждении вольное или невольное стремление облагородить и опозитивизировать инфантильный характер.

Увы, этот характер до сих пор занимает еще немалое место в нашей литературе.

Таков, в частности, со всеми характерными чертами инфантильности, герой В. Войновича. И прораб Самохин из «Хочу быть честным», и герой из рассказа «В купе», учинивший возмутительную сцену (даже чуть ли не драку) с бедной, перепуганной, явно нервнობольной женщиной и еще пытающийся делать из этой некрасивой истории обличительные социологические обобщения.

О прорабе Самохине уже писали немало. Почему же этот усталый борец «за честность», сорокалетний юноша, исподволь, сквозь темную разочарованность, любующийся своим мужским обаянием, явно кокетничающий своей позой соблазняемой невинности и упорно, как и подобает инфантильному герою, противопоставляющий постылой действительности свое золотое прошлое (реальной любви искренне любящей его женщины — призрак юношеской привязанности к девушке Розе, лица которой он, по правде говоря, уже не помнит, а творческим заботам сегодняшнего дня — глубокомысленную проблему: кто изобрел чайник?), вдруг оказался в центре внимания критики и вызвал весьма обширные отклики? Да потому, на мой взгляд, что он был искусственно привязан к конфликтному жизненному материалу, был ловко вписан в этот фон и пытался олицетворять собой протест против него. «Показуха», обман, циничное делячество, карьеризм, бездумная ремесленная работа — вот что окружает прораба Самохина, и все это, да еще в такой концентрации, не может не вызвать читательского возмущения!

Оттого-то и попытки критиковать характер прораба Самохина как воплощение авторского решения рассматриваемой жизненной ситуации очень многими читателями воспринималось как посягательство на самое право автора правдиво изображать те трудности и коллизии, которых еще немало в нашей жизни. Получалось, что житейски правдивый материал как бы оправдывал все погрешности в его художественном осмыслении, так как далеко не каждый читатель понимал, что главный конфликт прораб Самохин носит в самом себе, а выбор для

столкновения с противоречивой и сложной действительностью именно этого характера заведомо вносил в борьбу пораженческую, обреченную ноту.

Характерно, что там, где фон, окружающий главного героя, не столь густо насыщен фактами, волнующими гражданские чувства читателя, инфантильная, бесплодная сущность того же характера выступает более явно, а все произведение в целом менее «защитимо». Так обстоит дело, например, с откровенно камерной повестью Б. Балтера «Проездом», в которой шестые перипетии сугубо индивидуалистических ощущений героя показаны крупным планом, а социологические негативные детали — в гораздо более мелком масштабе и прямо с судьбой героя не сливаются.

Органическая внутренняя близость героев В. Войновича и Б. Балтера — к счастью, не только моя литературно-критическая догадка, об этой близости заявил и сам Б. Балтер на недавнем обсуждении журнала «Юность».

Любопытно, что черты инфантильности свойственны не столько герою-подростку, сколько человеку более старшего возраста, застрявшему где-то на стадии юношеского созревания. Почему-то в нашей сегодняшней литературе характеры ребят сплошь и рядом куда более интересны, чем у взрослых. Так, в талантливом романе Ричи Достян «Тревога» (журнал «Звезда» № 1, 1966) действуют совсем юные ребята — подростки и дети, но роман насыщен солнечным светом большой дружбы маленьких, мужественных, мудрых людей, для которых каждый день полон важных и больших перемен. Глядя на них, исполненных душевной тонкости и энергии, просто невозможно поверить, что из них может когда-нибудь получиться что-то подобное Славкиным или Гришиным родителям, или Костиной, Викинной и Павликовой бабушкам. В еще большей степени это относится к повести Н. Дубова «Беглец» (журнал «Новый мир» № 4, 1966), где отзывчивость и человечность ребят сравниваются с душевной тупостью их взрослых родных, с которыми двенадцатилетний мальчишка даже вступает в борьбу.

Намного богаче душой, ярче и интересней взрослых и юные герои в поэтической повести Г. Машкина «Синее море, белый пароход» (журнал «Юность» № 12, 1965). Критика единодушно считает эту повесть главным достижением годовой прозы журнала, и это знаменательно, что после разнообразных и порой рискованных формальных поисков на страницах журнала удача открылась в традиционном.

Дело, конечно, не в лексиконе, несмотря на то, что Крош — герой повести А. Рыбакова «Каникулы Кроша» (журнал «Юность» № 2, 1966) — произносит немало «скомпрометированных» речений, за всем этим — характер очень чистый, цельный, юношески непосредственный и обаятельный. При чтении повести слуха быта быстро осыпается, и перед нами характер юноши, активный и любознательный, органически

тянущийся к добру и справедливости. Повесть как бы полемизирует с ворохом «молодежных» произведений, в которых внешние приметы «современного быта» — самоцель, маскирующая дефицит мысли и чувства. Оттого-то, наверное, и скороговорка в душевспасительных финалах «молодежных» повестей, авторы их как бы стыдливо ощущают неубедительность поспешных превращений инфантильного шалуна в степенного и рассудительного ударника.

Наивно это стремление некоторых писателей уверить нас, что сам факт кратковременной работы в передовой бригаде рядом с серьезными и умными рабочими способен чуть ли не в мгновение ока перевоспитать героя. Искусственно отвлечаясь от правды, от внутренних законов развития созданного им характера, автор прибегает к демагогии ситуации. Попробуйте-ка усомниться в том, что труд и коллектив обладают мощнейшей воспитательной силой!

Обратив же так легко и скоропалительно своего инфантильного фразера в зрелого и полноправного труженика, автор не только полностью реабилитирует все его «детские» шалости, но и открывает перед ним возможность для типизирования тех конфликтов, которые незамедлительно возникают между ним и его средой. Разумеется, в первую очередь с обюрократившимся начальством, соблазняющим нашего девиственника чинами и благами в обмен на честность. Тут-то и раздается этот душераздирающий вопль: «Хочу быть честным!»

И надо сказать, что эта литературная манипуляция обнаруживается не так уж просто. Мешает доверительность, ох, какая обжигающе полная и обнаженная доверительность нашего героя; не всегда даже поймешь, где кончается эта доверительность, а где начинается заметная потеря стыдливости и такта. И во-вторых, «смелое» живое описание конфликтов и неурядиц, которых еще немало в нашей действительности.

Для меня во всех этих дремучих трех соснах путеводным является движение характера героя. Как правило, в подобных сочинениях нет его развития, все обычно начинается со стенаний самовыражающейся личности и этим же и заканчивается. Если же не жалуются на несчастную судьбину герой и автор, то очень нередко это пытается сделать критика, навязывающая писателю определенное, не свойственное ему освещение событий.

Пожалуй, именно в такой роли выступил критик Е. Сидоров, поспешивший объявить: «...В колхозе «Светлый путь» человека сломали. Не по злобе, не по корысти, а... желая ему добра». Потому-де сломали, что его «просто не понимают, и все тут. Он — Пастухов — и они — председатель, «колхозный маяк» товарищ Белоус, активистка Маруся — стоят на разных уровнях общественного сознания». (Вот как серьезно — ни много ни мало!)

Что же произошло в повести С. Антонова «Разорванный рубль», сложной, многопроблемной, которую, как любое подлинно художественное произведение, невозможно

свести к однолинейной литературно-критической концепции?

В один из колхозов на Орловщине приезжает беспокойный, горячий, одержимый новаторской идеей, но абсолютно непрактичный городской юноша. Этот юноша Виталий Пастухов, милый, слегка нескладный (прозванный «раскладушкой»), врывается в сложившуюся жизнь колхоза и производит там основательный переполох. Его новаторская идея о скоростной работе тракторов проходит через ряд перипетий. Вначале ему помогают, потом, после нескольких неудач, чинят препятствия. Восторженный энтузиаст, пылкий, прямой и честный, он встречается и с равнодушной осторожностью, и с уклончивым своекорыстием, и с цинизмом, и с «показухой».

Страстно, до глубины души поражен он хладнокровным «отлыниванием» от дела Таисии Пашковой, расчетливым, спокойным коварством рокового обольстителя Игоря Алтухова, трусоватым благоразумием и беспринципностью председателя Ивана Степановича, не желающего затевать скандала накануне колхозного юбилея. (Потому что «в районных организациях какая была дана установка? Чтобы мы подошли к юбилею без пятнышка»). Невозмутное спокойствие окружающих вызывает в Пастухове иступленный взрыв: он поджигает подворье Пашковой, за что попадает на скамью подсудимых, а затем, возбужденный безнаказанностью Алтухова из-за пассивности всех окружающих, вооружившись железякой, бросается вершить самосуд.

Этот короткий взрыв закончился ничем, парень выдохся, опустил руки. Маруся Лебедева, которой было поручено перевоспитание Пастухова, с отчаянием подводит итоги: «Воспитывать активного борца, строителя коммунизма трудно, долго и не каждому дано. А подгонять человека под свой серый шаблон куда проще. Так я его и натаскивала. Врать ему не давала и от правды берегла. Могу заверить: стал он послушный, слушаться будет всех и каждого. Теперь его как посадишь, так он и сидит, как поставишь, так и стоит. Спокойный стал — как покойник». Словом, «укатали сивку крутые горки».

Но ведь увидено, понято это все глазами Маруси Лебедевой, все события оживают перед нами в ее толковании. Умная, с природной наблюдательностью, юмором и тактом, эта девушка — пожалуй, самый интересный из характеров, раскрывшихся перед нами в повести. Горячо, близко, очень близко к сердцу приняла она все случившееся с Пастуховым.

Да, она его просто полюбила! Оттого и нервность такая, и самобичевание, и страх, и радость, и люди, добрые люди, хоть и неприятные для них обличительные речи ведет она, любятость ею и встречают ее исповедь аплодисментами. «А подумать всерьез, — продолжает Маруся, — натворила я страшную беду. Одно утешение: гляжу на вас, вижу, как вы слушаете меня, и верю — оживет среди нас Виталий! Раз уж я, такая кочерыжка, ожила — он тем более

оживет... Я хотела сказать еще что-то, но слезы душили меня. Я поставила фигурку на стол и побежала за кулисы, мимо веревок и старых декораций, в коридор, на крыльцо, на волю.

В просторном небе играли звезды. Ночь была светлая, свежая, стальная августовская ночь. Прямо, как хлыст, асфальтовое шоссе белело вдоль праздничной нашей деревни и бежало дальше, соединяя в одно далекие города и села. Я шла по ровному асфальту прямо, прямо, сама не знаю куда, зареванная и счастливая, и встречные машины объезжали меня стороной».

Чудесная концовка. Читаешь эти страницы и вспоминаешь все добрые, проникнутые удивительным лиризмом, сердечным теплом рассказы С. Антонова о замечательных, лукавых и умных, удивительно душевных деревенских девчатах, которых так много в его произведениях.

Но как же быть с трагическим выводом: «Сломали человека!» А в это как-то не верится! Хотя автор вполне ощутимо тенденциозен. Неслучайно и Маруся свою по-народному сочную и выразительную речь, как только заговаривает о колхозных делах, немедленно переслаивает мертвыми штампами и канцеляризмами. Просто ощутимо на глазах глупеет эта остроглазая и языкастая девушка, тем самым, видно, по мысли автора, демонстрируя мертвящее влияние казенщины.

А председатель колхоза Иван Степанович — как бы родной брат тендряковского Артемия Богдановича, председателя колхоза из «Поденки — век короткий». Такой же «тертый калач», дипломат и хитрец, вполне освоившийся с пачкой «директивных кампаний».

Но само художническое видение мира С. Антонова бесконечно далеко от тендряковского. Главная тема повести В. Тендрякова: сгубили хорошего человека-труженика, и концепция — как и почему — последовательно и художественно убедительно воплощается во всем образном строе повести, властно подчиняя себе все художественные детали и заставляя их служить заданной публицистической концепции. В повести же С. Антонова художественные образы, их детали упорно не желают укладываться в жестокую схему.

Тенденциозности писателя не хватает последовательности в отборе деталей, эмоционального накала, которые бы сделали убедительной и закономерной гибель героев. Добрый, любовно доброжелательный к людям, светящийся теплым юмором глаз писателя замечает массу хорошего, которое никак не укладывается в ту жестокую концепцию, которую пытался извлечь из повести критик Е. Сидоров.

Но главные противоречия содержатся в развитии характера Виталия Пастухова, вернее — в его несоответствии той роли, которая ему отводится. На мой взгляд, ну просто невозможно возложить на слабые плечи Виталия ту публицистически тяжелую ношу, которую стремятся ему навязать.

Да он еще попросту никак не раскрылся. Произошла банальнейшая история. Горячий, неопытный, нескладный юноша, маменькин сын, бросился в гущу жизни и, разумеется, набил себе шишек. Кто с этого не начинал? Кто не терял розовость иллюзий, пыл младенческих восторгов при первых же столкновениях с трезвой реальностью не отчаивался, не опускал рук? Там, где не было последовательного вранья в жизнь, — а процесс этот происходил экстренно, одномоментно, — болезненность неизбежна. Но в том-то и дело, что большинство детских болезней оставляют после себя лишь иммунитет.

Много в характере Пастухова еще неустоявшегося, незрелого, беспомощного, но хоронить его и отпевать — рано. Нет, это совсем не тот характер, злключения и усталость которого были бы серьезным укором несовершенству колхозной яви. Нет, совсем не та фигура, — послепил, на мой взгляд, с выводами Сидоров, а может быть, последние страницы венчает не точка, а многоточие... Мало ли в каких страхах повинна Марусина экзальтация? К тому же и — ощущение счастья, дороги, соединяющие все города и села...

Не будем выносить окончательных суждений о Пастухове. У него еще все впереди, и главное — испытание временем. Вот если лет через десять мы увидим Пастухова в том же состоянии, тогда можно будет определить в нем духовного брата Самохина!

В человеке существует потенциальная готовность ко множеству деятельностей: жизнь эти возможности непрерывно реализует. К какому-то решительному моменту своей жизни человек приходит подготовленный всем предшествующим, и винить в его состоянии только конкретные условия какого-то одного отрезка жизни — неразумно. Увы, в описываемую конфликтную жизненную ситуацию часто вводится характер с уже подготовленным его внутренним поражением, но ответственность за пороки и слабости этого характера автоматически перекладываются на изображаемые обстоятельства. Понятно, что нежизнеспособность, внутренняя обреченность такого характера определяет пессимистическое, безысходное решение и конфликта, вернее — его предрешенность.

И тут я как бы слышу вопрос: «Вы обстоятельно описали черты инфантильности, но в чем же ее причины? Ведь важно не только распознать болезнь, важно открыть ее причину и лечение».

До тех пор пока человек отвечает только за себя, он чувствует себя ребенком. У нашей молодежи иногда слишком померно и искусственно затягивается детство. Двадцати — двадцатипятилетних еще водят за ручку, и человек привыкает. Беспечность, безответственность — кто-то делает, «за меня должны» — входит в стереотип. Об этом очень верно сказал А. Макаров, тонко и тщательно препарировав рассказ В. Аксенова «Папа, сложи!» (журнал «Знамя» № 7, 1966). Герой рассказа — тридцатидвулет-

ний мужчина, отец — как бы задержался в росте, ему хорошо среди старых друзей, «только среди них он чувствовал себя таким, как шесть лет назад. Все они прочно держались друг друга, и посторонние не допускались. Словно связанные тайной порукой, они несли в тесном кругу свои юношеские вкусы и привычки, тащили все вместе в неведомое будущее кусочек времени, которое уже прошло». Все так, но опять же, теперь уже я задаю вопрос А. Макарову: а где же причины этого затянувшегося детства? Ответа нет...

Попробуем же разобраться. Отцы и деды очень любят корить молодежь рассказами о семнадцатилетних командирах полков в гражданскую, о двадцатидвухлетнем творце «Тихого Дона». А как практически могут молодые сегодня развить такую же энергичную и плодотворную деятельность? Командиры полков — со значками академий и орденами, новый «Тихий Дон» не появляется даже среди признанных мастеров... А все решающие посты занимают солидные, маститые люди. Другое дело, когда возникают фронты, боевые или трудовые... Тогда молодежь снова — главная ударная сила. В Великую Отечественную — сотни и тысячи имен героев, среди них три четверти — молодежь. Целина, стройки — едут целыми классами... Но целина — капля в море. А ведь только подумать, какая неисчерпаемая потенциальная энергия у молодежи, если ее мобилизовать!

Подумать бы озбоченным «молодежной проблемой» отцам и дедам, как еще полнее забрать на благо обществу эту энергию! Город — сад, полный клубов, кафе, стадионов. Турбазы, дома отдыха, построенные бесплатно, как говорится — на общественных началах, молодежь и для молодежи. Да ведь это радость — строить и видеть немедленно, сейчас результат.

Молодежи говорят: «Мы были в семнадцатом, в тридцатом, в сорок первом такими-то». Но ведь для молодежи важнее всего то, какие они сегодня, могут ли они сегодня быть тем безупречным, воодушевляющим примером творческого горения и энтузиазма, о котором мечтают молодые?

Не забывает ли иногда кое-кто из старших, сегодня остепенившихся, отгоревших, нередко даже обюрократившихся, что ссылка на былой энтузиазм — порой дискредитация их славного прошлого?

Мы живем в прекрасное, удивительное время, мы строим новое общество, героизм растворен в наших повседневных делах. Сознание медленно, упорно накапливающимся общественным ценностям — под стать темпераменту взрослых. Молодежи нужна яркая взрывчатая идея, концентрат героизма, горение, бросок вперед.

Органически свойственная молодежи творческая инициатива, способность беззаветно, без раздумий отдать себя благородному делу — далеко не всегда находит выход.

Детям нужна игра, юношам — увлекательное дело. Не найдя таких дел, юноша

порой затягивает занятие играми, и зрелость отодвигается.

Разумеется, я говорю не об искусственном создании для молодежи трудных и героических дел, но если общество хочет себе добра, оно должно подумать о мобилизации творческой энергии молодежи. Молодежные стройки, молодежные предприятия, где все — от руководства до рядового рабочего — молодые, — первые ласточки таких начинаний. Доверие к молодежи, приобщение ее к ответственности и решениям — радикальное лечение от затянувшейся детскости. Понятно, что все только что сказанное об искусственно продлившемся детстве, как о состоянии временном, проходящем при изменении условий, необходимо отделить от характера, индивидуалистического по убеждениям и остающегося верным своему индивидуалистическому мироощущению при любых обстоятельствах. Проблема такой инфантильности — это проблема индивидуализма.

К сожалению, наша литература слабо откликается на проблему взросления, общественного мужания молодежи. Увы, она не исследует, не развенчивает черты инфантильности. А нередко уподобляя их чуть ли не сложности и утонченности незаурядной, «мятежной» натуры, тем самым ее утверждает.

В исследовании этой проблемы часто упускают понятие общественной незрелости человека. В своем индивидуальном развитии, в формировании своего мировоззрения, морали, общественных взглядов человек как бы повторяет в основных чертах тот путь, который проделало все человечество. Но может случиться так, что он в своем мироощущении, в морали отстанет от уровня общественного развития, достигнутого его современниками. Томимый же мучительным ощущением убегающей вперед (без него) жизни, такой отставший человек либо предастся поношению действительности и оплакиванию своей особы, либо, в тот момент, когда он преодолевает свой индивидуализм, сдвинется, наконец, с мертвой точки и начнет нагонять упущенное тем быстрее, чем полнее это преодоление. В нашей литературе немало таких характеров, томимых смутным ощущением своей непричастности к главному течению жизни, испытывающих острую неудовлетворенность оттого, что жизнь проходит мимо них в своих наиболее творческих и прогрессивных проявлениях. Их было много уже таких — розовских и володинских героев, персонажей Аксенова, Владимова, Шукшина.

Иногда их беспокойство, их поиск иной, полной и яркой жизни явно облегчается автором. Здорояк и грубиян Валерий Кирпиченко увлечен погоней за жар-птицей на изящных каблучках-гвоздиках. Красота — «страшная сила» — пробуждает и очеловечивает Валерия.

И эта же «страшная сила», явившаяся хотя бы во сне, совершает переворот в душевно тусклой, приниженной и несчастной Насте в киноповести А. Володина «Происшествие, которого никто не заме-

тил» (журнал «Звезда» № 1, 1966). О, как внимательны, как добры люди к Насте-красавице! Но когда Настя проснулась, ей снова стало пусто и холодно. И тогда Настя решила: «...Надо быть гордой, это обязательно. Надо хоть самой знать себе цену. А как другие к тебе относятся — это их дело, пускай как хотят...» Сказано — сделано. Новая «гордая» Настя приобрела счастье и всеобщее уважение.

Трудно что-либо возразить по поводу морали повести: да, человек должен знать себе цену. Негоже ему унижаться, заискивать перед своим счастьем. Но автор пошел явно легким путем: показан не процесс, а результат.

Решила Настя стать гордой — и стала, конфликт разрешил! А в сущности ведь эта скоропалительная метаморфоза произошла в духовно бедном и приниженном человеке (стоит хотя бы припомнить беседу Насти с Шуриком; да и все, что удается нам узнать о внутреннем мире Насти, говорит о ней как о крайне примитивном и ограниченном человеке). В Насте вызывает сочувствие ее застенчивость, душевная чуткость, естественное стремление к счастью, но путь к задуманной автором метаморфозе немислим без сложного развития характера. Доброго желания, помноженного на жалость к страдальце Насте, здесь мало. А. Володин, это чувствуется, очень любит своих героев, почти всегда малозаметных и скромных, подчас с неустроенной судьбой и невоплотившимся призванием. Только о причинах их неустроенности писатель безмолствует. Где-то в глухом подтексте улавливается: в отсутствии хищности, житейской цепкости — их скромное положение. Но, право, трудно принять такое толкование бродяжничества, дешевого, хотя и надрывного, фатовства в этаким бравом сорокалетнем детине, покорителе женских сердец — герое пьесы «Пять вечеров». Безволие, отсутствие цели жизни и опустошенность — это вернее. Герой «Пяти вечеров» — просто эталон инфантильного характера, давно остановившегося в развитии, живущего только собой и для себя, пытающегося выдумкой, красивой ложью заглушить чувство ущербности. А пьеса А. Володина — эталон литературного стремления опозитивировать и оправдать этот характер. Не знаю, спасет ли страстное материнское участие любимой женщины нашего сорокалетнего мальчика, но именно в этой-то мелодраматической облегченности мысли, в малой психологической основательности и обоснованности душевных превращений, происходящих с героями А. Володина (жил-был серенький, незаметный человек и вдруг он же — талант и мудрец), и заключается, на мой взгляд, главный просчет писателя.

Примером стремления героя к полной, насыщенной жизни, без настоящего развития характера, может служить и роман Н. Давыдовой «Вся жизнь плюс еще два часа» (журнал «Знамя» № 2, 3, 1966).

Героиня повести, по замыслу автора, талантливый ученый-химик, разрешившая извечную проблему женской эмансипации,

обладает независимостью, интересной работой, отдельной квартирой и ироническим складом ума. Осталось, однако, не разрешенной не менее вечная проблема: выбора достойного избранника сердца. По существу, все в повести вертится вокруг этой проблемы, выходя в устах героини, пожалуй, уж слишком приземленно, по-деловому, местами даже тривиально, с погрешностью против вкуса. Героиня предстает перед нами несколько суховатой и рассудочной женщиной, а ее союз с Леонидом Петровичем знаменует собой не столько высокую и чистую, чуждую каких-либо компромиссов любовь современной «раскрепощенной» женщины, сколько — довольно унылый и скучный договор о совместном прохождении жизни (или службы). По-видимому, не желая того, автор невольно компрометирует такую любовь-товарищество, основанную на взаимном уважении и общности интересов.

Конечно же, в гораздо большей степени заслуживают рассмотрения произведения, в которых стремление героя к полной творческой жизни выходит за рамки сугубо личных, камерных переживаний; такие герои тоскуют по причастности к самым узловым, общественно важным и напряженным проблемам. Им хотелось бы быть в полном смысле слова творцами в жизни.

И тут-то, в этих серьезных произведениях, посвященных действительно современным и актуальным проблемам, мы, как это ни странно, встречаемся подчас с этим: «признак незрелости человека то, что он хочет благородно умереть за правое дело...» Притом это положение не отвергается, а утверждается! Иначе, право, трудно объяснить ту лавину повестей и рассказов, в которых герой гибнет именно в тот момент, когда он, казалось бы, созрел для новой, вполне сознательной и творческой жизни.

Без сомнения, самым художественно значительным из произведений этого рода является повесть Г. Владимова «Большая руда».

Судьбу Пронякина, который погибает, едва прикоснувшись к большому делу, разделил и шофер Дмитрий Коршун из интересной повести С. Балабина «Под колесами наледи» (журнал «Дальний Восток» № 4, 1965). Как и Пронякин, это первоклассный шофер-виртуоз, мужественный и бесстрашный. Так же, как и Пронякин, он чист и бескомпромиссен в чувствах, способен на большую и исключительную привязанность. И вот в этом грубоватом, неустроенном парне, как бы уже смирившимся с выколотой выше локтя сентенцией: «нет счастья в жизни», возникает ощущение, что есть, возможна какая-то иная жизнь, насыщенная больше, чем твои сугубо личные дела и чувства. Это ощущение, раз возникнув, все больше зреет, развивается в нем во время очень опасного рейса по ледовой трассе на рудник Верхняя Кабарфа. И тут-то, в кульминационный момент зарождающегося душевного переворота, Коршун погибает, спасая начальника рудника Баева.

Невольно возникает вопрос: является ли эта смерть, по мнению автора, наиболее

веским доказательством гражданского взросления героя, его освобождения от индивидуализма? (Вдруг без этого убийственного «аргумента» не поверят!) Или же его личное, авторское видение конкретных путей вранения героя в коллективистское мироощущение не идет далее «желания благородно умереть за правое дело»? Иногда, видимо, авторы просто не знают, что делать с таким, рвущимся к новой жизни, к активной гражданской действенности героем. Как правдиво и конкретно воплотить стремление героя жить и бороться за свое правое дело.

Погибает как раз в момент начавшегося духовного обновления и милый, обаятельный, горько страдающий от своего малодушия Виталий Сергеевич в «Беглеце» Н. Дубова. Погибает, осознав многое, герой талантливой повести Н. Евдокимова «У памяти свои законы». Пугающе встает угроза нового штампа.

* * *

Почти пять десятилетий Советской власти произвели громадный переворот в сознании наших людей, стремящихся творить, решать, мыслить общегосударственно, испытывая ответственность и более за дела всей страны. Эта потребность — органическая в нашем современнике, он не может жить в своем замкнутом личном мирке, только собой и для себя.

Такие герои пришли к нам в последние годы и со страниц многих умных и честных книг. И не умаляя важности изображения в литературе таких характеров, как Пронякин, Коршун, Кирпиченко, семинаские ребята, я все же отдаю предпочтение характерам активным, зрелым, умеющим зорко

осмыслить действительность, тем, кто принял на свои плечи главную ношу времени, а боль, противоречия и трещины в нашей жизни, если уж они случались, то всегда проходили через их сердце. Таковы герои романа И. Стаднюка «Люди не ангелы»: Павел Ярчук и Степан Григоренко. Таковы и герои «Горьких трав» П. Проскурина: председатель колхоза Лобов, рабочий Поляков, секретарь обкома Дербачев. Нет в их глазах проблемы острее, чем преодоление в людях общественной пассивности, яростно ненавидят они все, что эту пассивность питает.

Эти люди всегда в движении, оттого-то и характеры их так неисчерпаемы, так волнуют, берут за живое. Таков и Танабай из новой повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары» (журнал «Новый мир» № 3, 1966), произведения поэтического, по-толовски проникнутого мудрым пониманием самых глубин человеческого сердца.

Мы застали Танабая в минуту подведения итогов, мучительных размышлений и расстаемся с ним (слава богу, живым) в канун начавшегося обновления. В литературе нашей все больше появляется зрелых, мужественных характеров, тех, кто решает и определяет лицо страны.

Нашей умной и честной литературе, если она желает служить людям, давно пора расстаться и с инфантильным героем, пытающимся олицетворить своей неприкаянностью неблагополучие той жизненной ситуации, в которой он оказался волей автора. И с тем героем, осознавшим свою отсталость от жизни и рванувшимся за ней вдогонку, которого авторский пессимизм и невведение обрекли на гибель. Нет слов, важно показать, как приходит человек к переломному решению, но важнее, намного важнее показать, как он его осуществляет!

Рисунки Г. Назорянского



Слово влaдит Музыкe

Снег в Чимкенте — большая редкость. Если и выпадет, так только затем, чтобы освежить город и тут же растаять, унеся с собой пыль. Круглый год зеленеют под южным солнцем уходящие в небо тополи, темные карагачи, светлые березы. Слитный шум листвы при малейшем ветерке аккомпанирует мелодиям, какие льет выбивающаяся из горных краёв кристально чистая Кошкар-Ата и мчащаяся к Арысу по южной окраине бурная, голосистая Бадам. Музыкальный дуэт этих двух рек делал зелёный город праздничным. И хотя доходила до чимкентцев слава стольного города казахов Кзыл-Орды, но они про себя считали свой родной Чимкент и красивей, и крупнее, и, главное, жизнерадостней — ведь двум рекам-певуньям вторили серебряными голосами арыки. Вслушиваясь в пение вечно живой текучей воды, я вспоминал слышанные мной степные кюи — инструментальные музыкальные пьесы, виртуозно исполняемые на древней двухструнной домбре. Ах, какая прелесть эти кюи! В них полнозвучно и цельно отразилась душа кочевого, многострадального и талантливого казахского народа. Они переворачивают душу, завораживают, источают слезы из глаз, эти колдовские кюи, вобравшие в себя клекот орлов, шум водопадов, бляение шелковых ягнят, трели жаворонков, тончайший звон бегущих по ветру тростников.

Словом, я считал, что юноша, живущий в зелёном, музыкальном Чимкенте, не может не писать стихов.

И я, студент Чимкентского сельскохозяйственного техникума, сначала открыто, не скрывая, а потом, испугавшись иронии, тайно писал стихи. Разные стихи — о степях, о девушках, о звездах, о поющей воде Чимкента.

Зимой 1928 года я поехал в Кзыл-Орду. Это был мой вторичный выезд в столицу: полгода ранее мне посчастливилось напечатать в газете «Лениншил жас» свое первое стихотворение «Батрак Галиаскар».

Кзыл-Орда встретила меня злой, колючей поземкой. Ветер, грозивший превратиться в буран, беспрепятственно гулял по пустым улицам без единого деревца. Низенькие домишки жались к земле. Привыкший к теплоту Чимкенту, я быстро озяб. Черная с зелеными узкими петлицами шинель не грела. Кепка лежала на голове, словно остывшая лепешка. Как железные, стучали по скованной стужей земле сыромятные сапоги, всунутые в калоши и подвязанные ремешками.

Почему никто не сочинит кюю о бедном студенте? О том, как у него быстро тают любые деньги, — присланные сердобольной родней, случайно заработанные, полученные в виде стипендии. О том, что он и в безденежье не вешает носа, а только поясок

подтягивает потуже да глаз не отводит от витрины с новыми книгами...

Что же заставило меня очутиться зимой в бурной Кзыл-Орде? Увы, поэзия! Впервые напечатанное стихотворение пьянит, как июньский кумыс. Покрылись пылью учебники биологии и химии. Какая тут, к шайтану, химия, когда мир раскрылся мне в своей поэтической сути. Красота его вызывала во мне то тихое умиление, то бурный восторг. С самонадеянностью юности я начал писать сразу две поэмы: «Камаш» и «Ергожа и Егизбай». Впоследствии первая поэма погибла недописанной, и нечего о ней говорить. А «Ергожу и Егизбая» — поэму о классовой борьбе в степи — я завершил. Я ничего не выдумал. Никого не поучал. Не агитировал. Я, как умел, кровью сердца и напряжением нервов писал об увиденном, пережитом, пережитом, пережитом. Трудясь над поэмой, дававшей на удивление трудно, я переносился в знакомые мне заоблачные высоты Аспары и Сусамыра, над которыми вставали еще более высокие и снежные кручи Ала-тау. Я был на изумрудном приозерном джайлау, где и в знойное лето высокогорная прохлада и трава, сочная, ароматная, вкусная, никогда не желтеет. Передо мной паслись стада, отары, табуны — не счесть поголовья, не окинуть его взглядом. А на берегу горного озера стояли белые юрты баев и черные, прокопченные, дырявые юрты овцепасов и табунщиков. Мир делился на две неравные части: черные юрты и белые юрты, черная кость и белая кость... Я, выкормыш пастушьей семьи, знал всю горечь, все унижительное бесправие, все голодные тягости существования в черной юрте. Это бедственное существование длилось много столетий, уходило в глубь веков. Оно казалось незбылемым, как окружающие горы, как снега на самых высоких хребтах.

И вдруг, словно ослепительная, зигзагообразная молния ударила в благословенных аллахом горах, — приехала комиссия по конфискации скота, пастбищ и имущества феодалов. Рушилось феодально-байское владычество. Сбывалась тысячелетняя пастушеская мечта.

По-разному в разных краях звучит музыка революции. Александр Блок услышал ее в зале «Авроры», в пулеметных очередях штурма Зимнего, в злобных репликах удиравших за границу мерещковских. А я слышал музыку революции в криках ликования пастухов, в проклятиях баев, в бляении и ржании отбираемого у богачей скота. Тут же, на месте, где от знатного байства остались зола и недогоревший кизяк, возникла, рождалась новая, но еще неизвестная жизнь, и мне, молодому, трудно было распознать ее смутные черты, еще труднее выразить все это на бумаге. Бессонными ночами я писал и рвал черновики. Снова писал и опять уничтожал исчерканные листы. Я упорно трудился, пока не легла на стол поэма «Ергожа и Егизбай». С ней-то на последние гроши свои и приехал я в Кзыл-Орду.

Кзылординская поэмка немного охладилась мой пыл, но все же я открыл дверь дома, где помещалось издательство художе-

ственной литературы. Сколько раз мне потом приходилось бывать в издательствах — и в Алма-Ате, и в Москве. И с каким благодарным чувством неизменно вспоминаю я тесные комнаты республиканского издательства. Сколько человеческой теплоты, участия, доброжелательства и, пользуясь нынешним термином, оперативности встретил я там! Все просто, по-советски добро.

Беймбет Майлин, редактор издательства, пожал мне руку, взял поэму, тут же, при мне, ее прочел и написал записку. На лице его теплая улыбка.

— Поэма хорошая. Мне кажется, мы ее напечатаем. Вот с этой запиской зайди к Ильяссу Джансугурову. Он возглавляет отдел поэзии нашего журнала. Не хочу его подменять. Ты, надеюсь, слышал о Джансугурове?

У меня захватило дыхание. Слышал ли я о Джансугурове?! Я выдавил из себя:

— Все его произведения читал. А самого не видел.

— Ничего, познакомишься, — ободрил Майлин. — Он у нас такой горячий джигит — поэмы быстро читает.

К Джансугурову я не шел, а летел. Разыскал редакцию газеты «Енбекши казах». Робко постучал в дверь кабинета.

— Войдите!

Джансугуров что-то читал. Он был в маленьком лисьем тымаке¹, в тонком мягком шекпене², туго стянутом широким ремнем. Лицо его, смуглое, горбоносое, с резко очерченным ртом, со щегойкой по-английски подстриженных усов показалось мне мужественным, по-степному красивым. Из-под черных густых бровей глядели чуть-чуть мрачноватые, но удивительно живые, глубоко-черные умные глаза. Такое лицо увидишь — запомнишь и уж с другим не спутаешь.

Я знал, что Джансугуров родился в 1894 году, вырос в глухом ауле Талды-Курганской области. Отец его не только сапожничал, был резчиком по дереву и металлу, но и играл на домбре.

С малых лет Ильяс, что называется, дышал народной поэзией, знал наизусть много песен, сказок, поэм, и сердце его открылось неизъяснимо прекрасным степным мелодиям. Народная песня и домбра вывели его на стезю поэзии. Он, как никто другой, знал поэзию Абая, Махамбета, Ахана, Биржана. Ранние его стихи остались у него в рукописных сборниках.

Одно из первых опубликованных стихотворений называлось «Коммунистической партии». В 1926 году Джансугуров вступил в ряды ленинской партии. В моих глазах, как и в глазах моего поколения, Джансугуров был народным глашатаем, песенным голосом народа, пробужденного к новой жизни. Особенно волновали меня чеканные стихи Джансугурова о Ленине:

**Не умер Ленин. Вы не верьте,
Что лег он в гроб, глаза смежив.
Бессмертные не знают смерти,
А он бессмертен — значит, жив!..**

¹ Тымак — шапка, малахай.

² Шекпене — кафтан.

Я завидовал Джансугурову, что он три года жил и учился в Москве, видел, слышал, общался с русскими поэтами — Маяковским, Багрицким, Светловым. Меня покорила масштабность поэтического мышления Джансугурова, его озабоченность судьбой народа, его умение чувствовать и говорить крупно, убежденно и горячо.

Я сидел и ждал. Джансугуров отложил псчерканную красными чернилами, словно окровавленную, рукопись, всмотрелся в меня, задал несколько вопросов. Отвечал я волнуясь, комкая слова.

Увидя в руках моих рукопись, он протянул руку. Я отдал поэму и записку Майлина. Ильяс начал просматривать поэму, задерживаясь на отдельных ее страницах. Откинувшись на спинку кресла, спросил:

— Давно пишешь стихи?

— Уже пять лет. Сначала помещал их в стенгазете. Одно стихотворение напечатано в «Лениншил жас». Эта поэма — самое крупное, что я написал.

— Когда думаешь возвращаться в Чимкент?

Желая поскорее узнать его решение, я схитрил:

— Хотел завтра уехать, агай. Сами знаете студенческую жизнь.

Он посмотрел на часы.

— Зайди через полтора часа.

Я поблагодарил его и вышел. Противоречивые чувства боролись во мне. Ведь поэму читает сам Ильяс Джансугуров, волшебник слова, песнетворец степеней, знаток поэзии... То я думал, что поэма уже окровавлена красными чернилами, перечеркнута, отвергнута. То мне мерещилось на углу рукописи слово «доработать!». То это слово меркло и выплывало другое — «не пойдет!». То я был на седьмом небе, то летел в преисподнюю...

Вернулся я, минута в минуту, через полтора часа. Поэма была прочтена. На углу ее краснела надпись. Какая? Разобрать я не мог. А Джансугуров напомнил мне беркута, сидящего на кургане.

Увидя меня, он встрепенулся и положил руку на рукопись:

— Поэму можно давать в печать. Я так и написал вот здесь.

Я задохнулся от радости, не мог вымолвить ни слова. Уж и то большая радость, что поэма принята, а тут еще одобрил ее сам Джансугуров — белоплечий орел поэзии нашей, реоущий где-то выше Ала-Тау.

Джансугуров чуть приметно улыбнулся.

— Писать стихи — это еще не значит быть поэтом. Большинство грамотных казахов могут набросать два-три четверостишия в своих письмах к девушкам, рифмовать шутки на вечеринках, участвовать в аульных айтысах. Некоторые из таких стихотворцев склонны считать себя поэтами. Заблуждение это. Белинский очень верно сказал, что пишущие люди разделяются на литераторов и литературщиков: первые пишут по призванию, по сознанию своей способности писать; вторые — самозванцы. Ныне уже настало время, что понимают различие между этими двумя словами; нынче литератор есть лицо

почтенное, а литературщик — смешное и жалкое.

Джансугуров посмотрел строго, и я понял, что добр то он добр, но не ко всем без разбора, а только к людям, которых считает за людей.

— Литературщики водятся и у нас. Мало у нас людей, которые достойны звания поэта, писателя. Талант — дар природы. Но одного таланта недостаточно. Поэта рождает жизнь. Работая над талантом своим, поэт постигает ценнейшее умение зорче видеть, чутче слышать, словом, полнее ощущать и глубже чувствовать явления жизни, понимать их и уметь их выражать. Иначе это не поэт. Помнишь, как Ленин сказал Горькому о Демьяне Бедном: он, дескать, часто идет за читателем, а надо быть хоть немного, но впереди. Поэт обязан видеть все шире и глубже, чем читатель. Ведь поэзия — это жизнь в высшем ее проявлении.

Говоря это, Джансугуров остро поглядывал на меня, словно прикидывая про себя: не запугал ли джигита трудностями поэтического пути?

— Молодые поэты, — продолжал он, — часто надеются на вдохновение. Придет, мол, вдохновение — и стихи сами явятся. Смешно было бы отрицать вдохновение. Но оно — минутное дело. Вспышка, а не горение. А поэту нужно мастерство, которое приходит с опытом. И тем скорее оно придет, чем трезвее, беспощадней, объективней будет поэт оценивать написанное им. Ведь чего греха таить, — каждый поэт способен опьяняться содеянным. А настоящий мастер всегда отложит написанное, охладит свой пыл и трезво, как бы посторонними глазами, затем прочтет его. — Джансугуров поправил на голове лисий тымак, стал еще строже. — О литературном вкусе мы часто забываем. Его надо непрерывно развивать, совершенствовать. И критику тоже. К сожалению, немало у нас критиков, но очень мало истинных ценителей. — Посмотрев на мою рукопись, где были его пометки, Джансугуров усмехнулся. — Вот скажу тебе, а ты наверняка подумаешь: «Что он говорит об азбучных истинах?» А об этих азбучных истинах и Абай не стеснялся говорить. Мастерство поэта — в словесном богатстве и в умении им пользоваться. Нужно неустанно черпать слова из богатейшего океана народной речи. Черпать и отбирать. Вот здесь-то и понадобится литературный вкус.

Я слушал очень внимательно, но мне казалось, что Джансугуров говорит это не только мне одному, — может быть, это мысли, которые завтра войдут в его статью о поэзии.

Вдруг лицо Ильяса потеплело, и он немного подался в мою сторону.

— Говорю это специально для тебя, дружок. Первые твои шаги обнадеживают. Но те хорошие качества, какие ты обнаружил в начале своего пути, надо развивать. Иначе — застой, не горение, а тление. Твою поэму я подписал к печати. Но это не значит, что в ней нет недостатков. У тебя неплохой язык, живое воображение, искренние чувства, бьется мысль. Но ты еще не пони-

маешь, что стихотворение надо шлифовать, оттачивать каждую строчку. Желающий достигнуть вершины одним прыжком обычно ломает шею. Хочешь стать поэтом, не пренебрегай этими советами. Запомни на всю жизнь: основа поэзии — ежедневный труд.

Джансугуров поднялся. Я встал тоже.

— Желаю тебе подниматься по ступенькам мастерства. В жизни литератора не одни радости, много и горестей. Но пусть они тебя не смущают. — Он протянул мне рукопись. — Отнеси поэму Беймбету Майлину. Присылай свои стихи. Счастливой тебе дороги!

Если бы можно было, я сидел бы еще много часов и ненасытно слушал слова

он, не скрывая своей радости за меня, сказал:

— Поэму мы напечатаем в два приема: первую половину в третьем номере, а вторую — в четвертом.

Так увидела свет первая моя поэма «Ергожа и Егизбай». Так решила моя участь. Говорят — лихо помнится, а добро никогда не забудется. Век мне не забыть дружеской беседы Джансугурова, вдохнувшей в меня силы.

Из сельскохозяйственного техникума я ушел в Казахский педагогический институт, где учился с 1929 по 1932 год. В эти годы я следил за каждой строкой Ильяс Джан-



сугурова, рожденные его опытом и раздумьями о нелегком писательском ремесле. Но поэт со мной прощался. Надо было уходить.

К Майлину я шел в большом раздумье. Вот как устроен человек — деревянные и саманные домики Кызыл-Орды уже не казались мне приземистыми, серыми и нестройными. Словно всю Кызыл-Орду заливал ровный, теплый свет.

По пути я несколько раз перечитывал написанные на углу рукописи слова Джансугурова, хотя успел их выучить наизусть: «В поэме есть и вдохновение, и мастерство, это один из обещающих молодых поэтов, надо его печатать. Ильяс».

Слова Джансугурова ко многому обязывали. Я вспомнил, что в техникуме успехи мои по курсу литературы были более чем скромны. «Читать, читать! — думал я. — Читать как можно больше, проникновенней...»

Поэзия рисовалась мне крутым утесом Ала-Тау, одетым алмазным льдом, заоблачным пиком, а я стоял у его подножья, и не было у меня ни снаряжения, ни опыта альпиниста.

После беседы с Джансугуровым я впервые понял, почему великого Некрасова, который вел «Современник», авторы называли «другом-редактором». Таким другом-редактором был не только Джансугуров, но и Майлин. Прочтя заключение Джансугурова,

А талант его бурно рос, дарил родному народу одно произведение за другим.

Он создал одно из самых пленительных музыкальных и поэтических творений казахской литературы — «Золотую чашу» — о неисчерпаемых богатствах недр Казахстана, поэму «Москва — Казахстан» — о дружбе русского и казахского народов, серию искрометных, остроумных, разящих фельетонов («Чаяния муллы», «Ну и собака!», «Сводники»), великолепную поэму «Степь», большое стихотворение «Певец», которое является истоком поэтической реки, воспевающей народную казахскую музыку, ее творцов и исполнителей. За «Певцом» последовала поэма «Кюй», в которой с изумительным мастерством передан музыкальный кюй, известный под названием «Плеч белой верблюдицы»... Выступал он и как прозаик, перейдя от очерков и рассказов к роману «Товарищи».

За эти годы у меня было несколько встреч с Джансугуровым, но чаще всего они проходили в деловой, официальной обстановке.

Окончив в Алма-Ате педагогический институт, я преподавал литературу в Уральском педагогическом институте, все свободное время отдавая теории и истории казахской литературы. Делегатом из Уральска прибыл в 1934 году на Первый съезд советских писателей Казахстана. Председателем

оргкомитета Союза был Ильяс Джансугуров. Он же был и основным докладчиком на съезде писателей. С большим волнением услышал я в его докладе теплые слова и упрек по моему адресу.

Начались прения. Больше всего говорилось о мастерстве слова. Естественно, чаще всего ссылались на творчество Сейфуллина, Майлина, Муканова, ну и, конечно, Ильяса Джансугурова.

Выступил в прениях и я. Признав правильную критику по моему адресу, я остановился на новых явлениях в казахской поэзии. Поэзия наша, — говорил я, — растет из фольклора. Но в ту пору, когда создавались неувядаемые произведения устного народного творчества, народ не знал ни трактора, ни автомобиля, не знал таких явлений, как Советский строй, колхоз, — и, естественно, наши, советские поэты не могут ограничиваться только формами фольклора — его лексикой, образным строем, словосочетаниями. Новая жизнь требует нового выражения. Мы должны отмечать и приветствовать новое, что проявляется в поэзии...

Наши немногочисленные пока критики поэтическое мастерство Джансугурова сводят к аллитерациям, ассонансам. Но ведь все это мы найдем и в фольклоре.

В другом он новатор: Джансугуров мастерски передает сложнейшие и тончайшие душевные переживания. В этом смысле его «Кюй» и «Кюйши» можно поставить в один ряд с лучшими образцами русской и мировой классической поэзии.

Новатор в Джансугурове — и в употреблении образов, каких мы не встретим в фольклоре...

Снижая «высокий стиль», Джансугуров пользуется повседневными словами и метафорами и достигает неожиданных результатов:

Грустно ревела, к детенышу в муке рвалась.
Грусть ее горькой, соленой рекою лилась.
Словно бы тесто, песок она мяла ногами —
Так он был влажен от слез ее горестных глаз...

Я удивлялся многогранности таланта Джансугурова, многожанровости его творчества: он поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, фельетонист, публицист... Богатая натура, неутомимый труженик!

С заседания съезда возвращался я вместе с Джансугуровым. Когда поравнялись с его квартирой, он сказал:

— Завтра воскресенье. Если у тебя нет других дел, зайдем, поьем чаю, поговорим...

— Большое спасибо. Но не помешаю ли я работе...

— Ничего, зайдем. Надо же отдохнуть.

Нас приветливо встретила Фатима женгей, жена поэта, рослая, красивая женщина с большими, как у верблюжонка, глазами.

Знаком с женой, Джансугуров сказал:

— Думал, что он только поэт. А он сегодня выступал как критик. Высказал смелые, верные мысли. Критика у нас еще хромает. Надо, чтоб молодежь больше занималась теорией литературы. Рекомендую тебе будущего критика-литературоведа.

Я смутился, а Фатима одобрила:

— Кайны¹, пусть в трудах будет вам удача.

Сели за чай. Джансугуров был оживлен и остроумен: шутил, вспоминал смешные случаи. Таким я его не видел еще никогда: на людях он был сдержанным, почти суровым. В разговоре я коснулся поэм Джансугурова «Кюй» и «Кюйши», где, на мой взгляд, неподражаемо передана казахская музыка, выражающая душу народа. Ильяс Джансугуров преобразился, забыл шутки и остроты, как бы засветился изнутри.

— Недавно в своем докладе Ураз Исаяев² с сожалением отметил, что казахский театр все еще обходится только домброй. — Голос Джансугурова звучал страстно, ведь говорил он о том, что волновало его. — У нас музыкой не занялись еще как подобает. Правда, за последние годы появились хорошие сборники «1000 казахских песен и кюйев» и «500 казахских песен и кюйев», выпущенные народным артистом республики А. В. Затавичем, и обработки народных мелодий Ковалева. Но таких работ ничтожно мало. Я убежден, что такие культурные и талантливые люди, как Ахмет Жубанов, в самое близкое время поднимут наше музыкальное искусство на достойную его высоту. Ведь основа его — народное море мелодий. Именно — море! Неиссякаемое, глубокое, многовековое. Мы должны привлечь живые силы общественности для записи образцов народной поэзии и музыки.

Джансугуров долгим взглядом остановился на убаеленном снегами хребте Ала-Тау.

— Мы, старшее поколение казахской интеллигенции, не смогли получить систематического образования. Знания брались урывками, насюками. Но у нас большое преимущество. Мы лучше знаем народное искусство, глубже понимаем его. Ведь мы росли и боролись в гуще народной, с народом горевали и радовались. Могучая народная музыка своими живыми родниками утоляла нашу жажду прекрасного. Отсюда прославление народной музыки и ее творцов в поэме «Кокче-тау» Сейфуллина, «Жетим кыз» Муканова, в моих «Кюйе», «Кюйше», «Певце». Мы очень хотим, чтоб молодое поколение не прошло мимо духовных ценностей, которые наш народ вынес из глубины веков. Один из древнегреческих поэтов-философов, кажется, Симоид, сказал, что «живопись — это немая музыка, а поэзия — говорящая живопись». Мне же кажется, что музыка — это и поэзия, и живопись, слитые воедино.

Джансугуров кинул быстрый взгляд на домбру, висевшую на стене.

— Я не музыкант, но всей душой люблю нашу музыку. Если некоторые слышали в казахских кюйях лишь мелодию, «когда полет пальцев шемит сердце», то я с волнением ясно представляю себе целые картины кочевий по былинным степям, битв, скачек, романтической любви джигитов и девушек, свадьбы, похороны... Мне кажется, я понимаю мелодический язык кюйев и, при жела-

¹ Кайны — младший брат мужа.

² Тогдашний председатель Совета народных комиссаров Казахстана.



нии, могу передать это в слове, в рисунке. Для меня кюй не только волнующая, стройная мелодия, а рассказ о жизни, о душе человека. Возьмем такие древние кюйи, как «Адай», «Корамсак», «Калмыцкая дева», «Корамжан». Разве не рисуют они мрачную и скорбную эпоху, овитую душным дымом пожарищ, разве не слышит ухо гром походных барабанов, звон мечей, свист летящих стрел, тяжелый топот боевых коней? Они живописуют звуками историю народа. Степная музыка — это волшебный клад.

Джансугуров говорил вдохновенно. В нем чувствовался не только влюбленный в музыку человек, но и знаток — эрудит, ценитель и толкователь ее.

— Вспомним нашего неумирающего земляка Абу-Наср-аль-Фараби, — продолжал Ильяс. — Он ведь не только выдающийся философ, математик и энциклопедист Востока, которого называли «вторым Аристотелем». Он — крупный композитор и виртуозный исполнитель. Всему миру хорошо известен его мудрый и проникновенный «Большой трактат о музыке». Его музыка управляла чувствами людей. Однажды, приехав в Персию на состязание музыкантов, прославленный аль-Фараби своей поистине колдовской игрой заставил огромное собрание людей сначала смеяться, потом плакать, а в завершение убавкал их.

Все тогда невольно вспомнили древнегреческий миф об Орфее, который своей игрой на золотой кифаре так очаровал грозного Аида, что тот освободил из подземного царства его рано ушедшую любимую. По древним сказаньям музыка покоряет не только человека, но и зверей, птиц, все сущее на земле; нет в мире существа, не поддающегося чарам музыки. — Джансугуров встал,

подошел к домбре и ласково погладил ее. — В животном мире случаются миграции: в предчувствии беды или в поисках лучших земель животные полчищами переселяются из одной местности в другую. Передают, что такая миграция имела место в далекие времена в Индии. Началось великое переселение черных крыс. Над индийцами нависла страшная угроза быть съеденными этими острозубыми грызунами. Миллионные стада голодных крыс пожирали на своем пути все живое, оставляя пустыню. Бежать индийцам было некуда. С одной стороны — разъяренные голодом крысы, с другой — океан. Ужас охватил даже слонов, тигров, змей.казалось, все будет уничтожено острыми зубами осатаневших крыс. Но нашелся спаситель. Не огонь, не молния, не наводнение, не горный обвал, а — чудесная музыка.

Один кудесник-музыкант схватил свой ребаб, настроил его струны и, сев на слона, поехал навстречу крысиным ордам. Он улыбался, потому что верил в колдовскую силу музыки. Приблизившись к полчищам черных крыс, он заиграл на ребабе.

С первых же аккордов всепожирающие, кровожадные крысы замедлили ход. А когда музыкант исторг из струн волнующую, задушевленную мелодию, крысиные стада остановились. Случилось чудо: крысы встали на задние лапки и благоговейно замерли, как верующие на молитве. При последних аккордах они покорно пошли за музыкантом, восседавшим на слоне, — умиротворенные, добрые, никому более не опасные...

Музыкант заиграл новую, еще более чарующую, чистую мелодию, а слона направил к океану. Крысы следовали за ним. Достигнув океанских вод, музыкант, не переставая играть, пересел со слона в лодку и направил ее в океанскую ширь. Крысы поплыли за ним, не в силах оторваться от пленительной мелодии. Музыкант играл и видел: крысы, одна за другой, тонут; тонут тысячи, а за ними плывут новые тысячи.

Долго ему пришлось играть — ведь крыс были миллионы. Властно влекомые музыкой, они все нашли последнее пристанище на дне океана.

Налетел шторм, перевернул лодку. Музыкант не мог двигать уставшими от игры руками и погиб. С тех пор, говорит легенда, как случается стихийное бедствие на воде, с океана доносятся дивные звуки ребаб.

Фатима и я слушали Ильяса, боясь пропустить хотя бы слово. А он, заговорив о музыке, не мог остановиться.

— Предания и сказки казахского народа, — продолжал он, — повествуют о могучей силе домбры, кобыза и сыбызги, о волшебном таланте музыкантов-исполнителей.

Кудесник Ихлас покоряющей игрой на кобызе заставил спуститься с неба белого лебедя. Газбала так чудесно играл на домбре, что игрой своей укротил строптивого жеребенка-неука. Дурильдек пленительным напевом флейты-сыбызги приманивал с неба серых диких гусей. Волшебником звуков, по преданию, был легендарный Коркыт.

Гармония — основа всех искусств. Можно только удивляться, что темный, неграмот-

ный народ создал волнующие, неповторимые напевы, сотворил многозвучную музыку, которой восхищались такие строгие ценители, как Ромен Роллан и Горький. Мне кажется, что главное духовное богатство нашего народа выражено в музыке.

Я смотрел на Ильяса Джансугурова и думал, что он, вероятнее всего, вынашивает замысел или уже работает над поэмой о степной, всепокоряющей музыке.

Так оно и было — уже рождалась могучая мелодия «Кулагера», этой жемчужины казахской поэзии.

За обедом Ильяс преобразился в радужного хозяина, мастера застольной шутки, то-ста, искрящегося весельем.

Поэзия этого человека брала нас, молодежь, в вечный плен. Мы знали наизусть его стихи и поэмы. Я признался в этом и добавил, что особенно часто читаю на вечерах и молодежных сходках джансугуровский «Гималай», строки которого я всегда сравнивал с остро ограниченными алмазами.

— Иногда исполнители читают лучше автора, — усмехнулся Джансугуров.

А Фатима добавила:

— Чтобы оценить хорошее, надо испытать. Прочтите, если не трудно. Я тоже люблю это стихотворение.

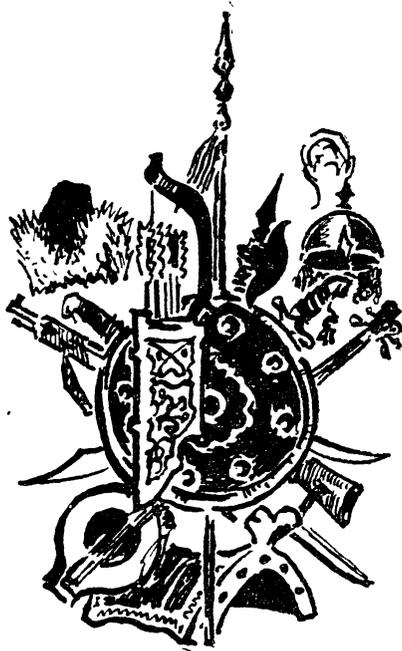
Я просмотрел в однотомнике «Гималай» и стал читать. Я знал, что мне внимают

необычные слушатели: сам автор, мой старший брат по поэзии, и его приветливая подруга жизни. Читал, стараясь сохранить энергичный ритм, передать своеобразную, как горный поток, мелодию, раскрыть содержание каждого образа. Ильяс с нескрываемым удивлением глядел на меня. Не чтение мое изумило и обрадовало его, а то, что молодежь, оказывается, понимает подлинное движение его строф, подтекст этого гимна восстающему против рабства Востоку, ленинскому предвидению раскрепощения Азии...

Прошли годы. Я дивился подвигу Джансугурова, который перевел на казахский язык «Евгения Онегина», сохранив знаменитую «онегинскую строфу», я восхищался его шедевром — поэмой «Кулагер».

Я скорбел вместе со всеми по поводу его безвременной гибели. И сейчас, когда думаю о казахском поэте огромного, самобытного таланта, о неутомимом труженике, о творце поэм, восславивших народную нашу музыку, в моей памяти всплывают эти две незабываемые встречи. И я говорю вместе со всеми: имя его и поэзия его вечны в памяти бессмертного народа!

*Перевел с казахского
К. Алтайский*



О ЧЕЛОВЕКЕ РЕЧЬ...

*Иосиф Герасимов. Круги на воде.
Журнал «Нева» № 5. 1966.*

У романа Иосифа Герасимова «Круги на воде» — вызывающая острый интерес, хотя и малодинамичная интрига. Пафос произведения, так сказать, чистая рефлексия, упорные размышления героев, сконцентрированные в единой точке. Точка эта — желание понять меру ответственности и требовательности, а еще точнее — взаимной ответственности людей за свои поступки. Речь в романе идет о человеке, о гуманизме требовательности к нему и о требовательности гуманизма.

...Партизанский разведчик попал в гестапо. Под пытками он выдал явку. В заставе у явки погиб другой партизан. Что может быть яснее этой ситуации предательства? Ну, а если разведчик — всего лишь девчонка, не выдержавшая адской боли? Если она смутно надеялась, что тот погибший потом партизан не придет на явку: ведь знали же в отряде о ее аресте? Если, понимая весь ужас сделанного ею, она, Лиза Данкой, пыталась даже руки наложить на себя — в последнюю минуту мать вытащила ее из петли? Если даже смерть ее теперь, двадцать лет спустя, скорее всего — самоубийство?..

Так что же — все это смягчает или подчеркивает ее вину? И можно простить предательство, цена которому — смерть человека, хорошего и храброго, который любил и которого любили?

И здесь мы понимаем всю невозможность однозначного ответа. Тут мы вступаем в ту область, где действуют более сложные определения, чем «виновен» либо «невиновен».

Одна из особенностей современной советской литературы — стремление понять, оценить человеческую жизнь не применительно к прокрустову ложу бездумно затверженных понятий, а во всей действительной, порой противоречивой сложности помыслов и поступков, целей, пафоса, связей. Это — потребность развивающегося гуманизма, потребность времени, потребность почти полувекового опыта. «Истину ведь можно общипать, оставить голую формулу, но тогда и перестанет она быть истиной. Формула проста, а истина сложна...» Так думает один из героев романа — Иван Батуев. При всей древности этой мысли, взятой абстрактно теоретически, в романе она отражает современный этап, сегодняшние условия нравственного мышления нашего общества, нашей литературы. Зрелость этого

мышления проявляется отнюдь не в поверхностном противопоставлении одной крайности другой, не в торопливом отрицании одной «абсолютной» точки зрения в пользу другой, а в честной решимости познать всю полноту и развитие истины.

В романе «Круги на воде» своеобразный призыв видеть самые тонкие и глубинные нити, связывающие факты жизни. «Ничего в этой жизни так не проходит, все с собой несем...» — говорит другая героиня романа — Алевтина, и в словах ее выражена одна из самых важных мыслей произведения Иосифа Герасимова. Ибо меньше всего писателя интересует установление степени формальной, юридической вины его героини. Он даже полемизирует с такой формальной меркой. Он явно сочувствует словам старика бухгалтера Логина, когда-то судимого за растрату. Встретив Ивана Батуева, следователя по его делу, старик с горечью говорит: «Но ведь я тогда эту растрату... из-за сына... Умер он потом... А вы и не спросили. Впрочем, все правильно. Для вас важен факт, а остальное — сентименты. Это я понимаю. Только вот когда я встретил вас, то вспомнил слова одного юриста: «Человеческая сущность не всегда проявляется в поступке и никогда не проявляется только в нем». По-моему, правильная мысль». Логин не отрицал преступления. Он хотел лишь, чтоб в нем не видели преступника.

Что ж, он прав, этот старик. Прав и юрист. Но столь же верны и слова о том, что «ничего в жизни так не проходит». Жизнь неделима. Человек может ошибаться, но он не имеет права на ошибку. Так как ошибку нельзя стряхнуть, как случайную пылинку с платья. Невозможно уйти, как от пепелища, от последствий трагической слабости. Бессмысленно надеяться, что можно, как ядро ореха в скорлупе, скрыть, упрятать от посторонних глаз свою вину. Человеческий поступок, человеческое дело не изолировано, не замкнуто в самом себе и во времени своего проявления. Его воздействие, как круги на воде, достигает неожиданных далей, касается судеб непредвиденного множества людей. Именно в этом смысл, боль, трагедия положения Лизы Данкой, ставшей когда-то виновницей гибели Михаила Швеца, любимого ее сестрой Алевтиной. Двадцать лет хранила она от мужа, а потом и от сына свою тайну. Хотела все забыть и остаться просто женщиной, женой, матерью. И никогда не могла уйти от сознания вины, преодолеть боль утраты. Двадцать лет она пыталась оградить себя ложью, но ничего не пожалала за этой зыбкой оградой, кроме страха, вечного стра-

ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ

В. Василевская. Деревня моего детства. Повесть. Авторизованный перевод с польского Э. Василевской. Журнал «Знамя» № 4. 1966.

ха, что о ее поступке узнают муж, а главное — сын. И вот — эта смерть, сразу после нежеланного отъезда сына к ее матери и сестре, единственно знавшим все.

Смерть, заставившая задуматься живых и о своей ответственности: ибо существует не только ответственность виновного, но и ответственность перед виновным. Разве мать, ничего не сделавшая, чтоб помочь дочери распутать проклятый клубок, разве Алевтина, слишком решительно вычеркнувшая Лизу из своей жизни (так ей, Алевтине, было легче), — не виновна тоже, что Лиза так и осталась навсегда наедине с одиночеством и ложью. Как когда-то Батуев в деле Логина, они видели только поступок, только преступление и — просмотрели жизнь человека.

Да, истина сложна. Она не только в том, что Лиза Данкой виновна. И, конечно, не в том лишь, что кто-то виновен и перед ней. Она — в подлинной глубине правды, как постигает ее на последних страницах романа Батуев. Только поняв и вину окружающих, можно понять и меру их ответственности.

В романе «Круги на воде» несложно обнаружить художественные просчеты. В нем есть интересная мысль, но ему явно не хватает воздуха фактов. На узкой сценической площадке его, внешне ограниченной, разыгрывается слишком мало действия, чтобы можно было почувствовать характеры героев во всей их полноте и достоверности. Эскизно, бегло очерчены, в частности, такие важные образы, как Костя — сын Лизы, или Нина — приемная дочь Клавдии Семеновны. Бросаются в глаза пробелы в психологической мотивировке поступков персонажей, пробелы, которые никак не оправдать столь модным ныне «подтекстом». Нам трудно понять, почему мать Лизы, Клавдия Семеновна, уже однажды спасшая дочь от самоубийства, вдруг резко порывает с ней, хотя и до этого знала ее вину. Только волей писателя можно объяснить тот «роковой» надрызв и прямо-таки мистическое предчувствие, с которыми Костя докапывается до причин размовки матери с Клавдией Семеновной и Алевтиной.

Можно было бы поговорить о такой же, лишенной реальной опоры, многозначительности других образов, но довольно и сказанного. Тем более что просчеты романа, как бы серьезны они ни были, тоже лишь часть истины.

А возвращаясь к его достоинствам, хочется напомнить один неоднократно повторяющийся эпизод, кстати и завершающий роман: Иван Батуев начинает допрос. Начинает с вопросов, ставших неизбежным ритуалом: «Фамилия? Имя? Отчество?» Но эта устоявшаяся, омертвевшая форма означает для Батуева начало поисков истины, из каких бы мельчайших осколков ни пришлось бы ее собирать, каких бы усилий это ни стоило, сколько раз ни пришлось бы начинать этот трудный поиск всей глубины правды. Ибо о человеке идет речь...

В. Хмара

В этой повести много красок, звуков, запахов. Меняются времена года. Каждый раз по-новому наступает утро, день, вечер. С удивительным проникновением в тайны непостижимого, бесконечного рассказала о мире природы Ванда Василевская. Для всего наша свои слова.

Вот: «Три птенца, голые, синие, слепые, с большими тяжелыми головами на тоненьких шейках, некрасивые. На редкость некрасивые. Может, именно потому я так люблю этих маленьких чудовищ. Ведь и сама я некрасивая». Восприятие детское, чрезвычайно субъективное. Но такая субъективность согревает, освещает предмет каким-то особым, своим светом. И потому изображенное запоминается.

В нашей литературе поистине много великолепных страниц о природе. Ну что еще нового можно сказать о ней после Паустовского, Пришвина, Шолохова, Леонова? Оказывается — можно, Василевская сумела. Природа под ее пером повернулась новыми, таинственными сторонами, стала удивительно близкой, привлекательной. Вот серый, пробужденный весенним теплом перелесок: «И вдруг в закутке... вся поляна сплошь аметистового цвета. Чистейший, девственный, несказанно нежный цвет. Фиалки. Они не пахнут — для тех, ароматных, еще не время. Зато ошеломляют изобилием цветов. Переливаются пенистой волной драгоценных камней, непостижимо сияющие в сером, мертвом еще перелеске. Замирает сердце. Словно волшебная сказка, сверкает цветочный ковер на полянке».

Пейзаж движется. Полянка, недавно еще мертвая, зацветает, чарует, привлекает к себе взоры, притягивает, чтобы потом снова замереть, замкнуться, уйти в себя, потерять привлекательность.

В этом — новая грань таланта Ванды Василевской. Таким мы его не знали. Почти во всех произведениях Василевской, начиная от первой повести «Облик дня», отчетливо проступала публицистическая, репортерская струя. В «Деревне моего детства» дает себя чувствовать лирика. Может быть потому, что здесь автор «Земли в ярме» и «Пламени на болотах» обращается к своему детству. А что может быть лучезарней детства, даже если и проходило оно не в благоприятных условиях! «Это были нелегкие времена, — писала В. Василевская в автобиографической статье «О моих книгах», — но все трудное и плохое как-то стерлось в воспоминаниях, и та пора навсегда у меня осталась в памяти бесценной сокровищницей знаний о жизни природы и жизни крестьян...»

Действительно, жизнь природы показана в последнем произведении писательницы так точно, так поэтично и полно, что, читая

и перечитывая повесть, не перестаешь удивляться: как много сумела сказать Василевская на этих немногих страничках!..

Героиня повести — чрезвычайно развитый, привлекательный ребенок-мечтатель с умением видеть жизнь и дорисовать ее узорами неумейной фантазии, со стремлением заселить знакомые места таинственными незнакомцами. Она отталкивается от обыденного, светного мира деревни, ее обитателей с их мелочными интересами, предрассудками, заботами, и постоянно уходит в мир фантастических видений. «Здесь еще раз выявляется превосходство детей над взрослыми. Когда чинно идешь берегом, как они, река остается просто рекой... Но разве так открывают сказочную страну?»

Уход ребенка в мир мечтаний непонятен, неприятен взрослым. Мир взрослых не то чтобы непонятен развитой и даже очень развитой девочке — он нередко вызывает у нее раздраженное презрение: «Мир взрослых — мир, лишенный воображения». Писательница очень хорошо и полно показывает нам этот мир.

Жизнь польских крестьян, казалось бы, получила всестороннее воспроизведение в предшествующих произведениях автора повести. Ему, этому миру, посвящены романы В. Василевской «Земля в ярме», «Пламя на болотах», «Звезды в озере». И оказывается, этот мир, несмотря на его внешнюю простоту и примитивность, далеко не исчерпан. Василевская, близко узнавшая жизнь деревни за четыре года вынужденного пребывания там в период первой мировой войны, могла сказать и сказала людям еще многое.

«Помню, будучи еще совсем маленькой, — вспоминала она, — я твердо верила, что деревня существует лишь определенную часть года. Когда наступает осень, она исчезает, чтобы весной появиться снова... Теперь я получила возможность убедиться, что деревня существует все четыре времени года». Деревня, которую увидела маленькая Ванда, была в полном смысле слова нищей, находившейся под властью ксендзов и помещиков, да к тому же еще и начисто разоренной войной. «Каша из мамалыги на всю жизнь осталась как бы символом военной нищеты».

Властители расчлененной на три части панской Польши преднамеренно держали крестьян в духовной нищете. Жители деревни, среди которых было немало юридичных, зобатых, придурков, буквально начинены всевозможными суевериями. Совсем не сгущая красок, Василевская показывает, как много значила религия в жизни польского крестьянина и как религия эта всегда стояла на службе эксплуататоров. Религиозный экстаз на какое-то время овладел и самой рассказчицей. Но только на время. Ибо сопоставление мрачного, бесцветного, мертвенного мира религиозных представлений с вечно живой, красочной природой, которая постоянно тянула к себе пылкую душу юной мечтательницы, быстро охладило религиозный восторг, сделало пустыми для нее выдумки о боге.

Повествованию Василевской здесь присущ иронический тон. Ирония сочетается с лирикой. Но там, где писательница говорит о суевериях, о религии, о попох, звучит сатира — жесткая, карающая. Власть эксплуататоров — лицемерная, безжалостная, она не может не вызвать ненависти. «Настоящей властью, перед которой все дрожат, властью, управляющей душой и телом, является ксендз. Он имеет право вмешиваться во все, все решать, всех наказывать, все подвергать цензуре, начиная с писем и кончая разговорами».

Нищенская жизнь под ярмом безжалостной религии притупляет людей. Они в какой-то мере начинают утрачивать сочувствие, отзывчивость, чувство солидарности. Смертным боем бьет своих детей толстая Стефаниха. С каким-то мрачным ожесточением вся деревня издается над безмужней Милькой, ждущей ребенка. Никто не хочет покормить и завернуть в чистую пеленку оставшегося сиротой сына умершей «побродяжки». «Одно известно наверняка. Что тряпки, заменяющие пеленки, гниют от грязи. Что ротик все больше синееет. Что в складочках кожи появляются прелости... И, глядя на ребенка, я вся содрогаюсь от всепоглощающей, бессильной жалости. Во мне зреет, кричит протест против всего на свете».

Да, мир жесток. Разобраться в его законах непросто. И маленькая рассказчица (повзросление которой с большим мастерством показано писательницей), постепенно освобождаясь от наивных, чисто детских представлений и иллюзий, воспитывает в себе ненависть ко всему, что мешает людям быть добрыми, отзывчивыми, что мешает им быть людьми.

Но и сквозь коросту античеловеческих, возвращенных католической религией в заимоотношений, подчеркивает автор, в человеке пробивается скупая ласка, зреет сознание того, что только помогая друг другу, можно добиться чего-то лучшего в жизни...

Ванда Василевская жила в части Польши, находившейся в то время под управлением Австро-Венгерской монархии. Отец ее — видный общественный деятель (время от времени наезжавший в деревню) мечтал о воссоединении своей раздробленной и истерзанной родины. Отклики войны доходили и до детей. Они слышали плач крестьянок, потерявших на фронте близких. Они, следуя призыву какого-то детского журналиста, пытались собирать деньги в фонд помощи раненым и сиротам. Они вместе со всеми с ужасом ожидали прихода казаков. Они, наконец, имели самые превратные представления о «москалях», будто бы стремившихся ухудшить и без того невыносимо тяжелую жизнь...

И вот эти самые «москали» появляются в деревне. Русские военнопленные, пришедшие на помощь истосковавшимся по крепким мужским рукам хозяйствам, очень скоро завоевывают всеобщее расположение. Они «выше, шире в плечах, чем местные крестьяне», любую работу делают весело и

споро. «Очень скоро никто больше не говорит «москали», только попросту — «пленные». И в том доме, где они помогают, хозяйка готовится к молодьбе, как к празднику. Девчата надевают свои лучшие блузки, печется хлеб, даже сбивают масло. А дети сбегают со всех изб в тот овин, где молотят пленные». Так в загрубелые души медленно просачивается свет человеческого чувства. Так постепенно рождается то, что люди более просвещенные называют «интернациональной солидарностью».

Повесть Ванды Василевской «Деревня моего детства» — вполне самостоятельное, завершенное произведение. И в то же время — это первая часть задуманной эпопеи, которая должна была охватить весьма большой отрезок времени и довести изложение событий до наших дней. Осуществить этот замысел писательнице не удалось. Но и то, что сделала она, самоотверженно работая буквально до последнего часа своей жизни, — чрезвычайно значительно. Среди автобиографических произведений, созданных советскими литераторами, «Деревня моего детства» займет не последнее место. Совсем еще недавняя и такая далекая от нас жизнь крестьян при капитализме, быстрое формирование отзывчивого, тонко чувствующего, талантливого ребенка, всегда привлекательный и всегда волнующий мир природы — все это, сливаясь в единое целое, создает захватывающую, напоенную ароматами картину жизни.

Жизни! И мы радуемся, что жизнь эта продолжается, что она уже совсем не такая, какой правдиво показала ее замечательная советская писательница Ванда Василевская.

Л. Вольпе

МИР ДЕРЖИТСЯ!

Ицхокас Мерас. На чем держится мир. Роман-баллада. Авторизованный перевод с литовского Феликса Дектора. Журнал «Юность» № 4. 1966.

Начну с цитаты. Стиль И. Мераса настолько демонстративно открыт, настолько подчеркнута явен, что уловить его можно по нескольким строчкам, взяв их из любой главы романа.

И снова жизнь началась.
Другая. Конечно.
Наново.
Все ли наново? Все-все?
Мы говорим:
Человек радуется.
Человек грустит.
Человек смеется.
Человек плачет.
Как знать...
Правда ли?
А если сердце заходится от радости
и от горя сразу?
А если на глаза наворачиваются
слезы радости и печали?

Явление такого стиля в литовской прозе с ее давними традициями медленного повествования — факт, сам по себе достойный специального разговора. Не берусь здесь выяснять истоки и причины этого явления на почве литовской литературы, судить, откуда дунул ветер и чего тут больше — Хемингуэя или Сейфуллиной. Главное, в чем убеждает чтение Мераса, кого бы ни упоминал нам внешний рисунок его прозы, — для него, Ицхокаса Мераса, этот стиль естествен, он есть следствие его собственного состояния.

Я лишь задаю вопросы, она отвечает...

Она — литовская крестьянка, имя которой здесь даже не важно, оно мелькнуло и забылось. Судьба этой женщины постепенно вырастает до всеобщности, до символа.

«— Были счастливы? — Можно ли убить человека? — Можно проклясть мир?» — вопросы.

Девятнадцать глав, в которых рассказана жизнь этой женщины, — ответы. «— Нет, — ответила она. — Нельзя проклясть мир». Ее короткие ответы стоят энграммами к главам. «— Нет, — ответила она, — никому нельзя убивать». «— Нет, — ответила она, — человек должен жить...»

К резкому, рубленому, скачущему стилю Мераса не сразу привыкаешь. И принимаешь его не сразу. Не потому, что Бабеля перечитали, Пильняка перечитали, Веселого перечитали, а вторичная «метель» словес у нынешних ужас как приелась. Мерас подлинен в переживании. Но поначалу стиль его как бы диссонирует с характером главной героини. Спокойная, истовая, многотерпеливая, эта литовская молодая крестьянка словно не поспевает за нервным, интеллигентски нетерпеливым ритмом рассказа. И кажется, не поспевает она даже реагировать на ту пулеметную очередь событий, которую автор обрушивает на нее.

Соседский парень Антанас, от которого у нее только что родился сын, грубо гонит ее от себя. Она уходит. О чем думает? Не знает... Идет в город наниматься в прислуги. Госпожа исправница (режим Сметоны доживает последние месяцы, и госпоже недолго осталось распоряжаться) кричит ей, чтоб зашла с черного крыльца, а потом гонит: замызанная какая-то. Она идет в следующий дом. Там родился мальчик... Ей дают его покормить грудью, она кормит, думая о собственном младенце, оставленном в деревне... Ее берут в эту семью.

Так устанавливается ее жизнь... Но только на мгновение.

Из обрывающихся трагических мгновений история отныне и составит ее судьбу. Сороковой год — приходят краснозвездные танки; уезжает на восток семья соседа-нотариуса, уезжают и ее хозяева; а дети — дети все остаются на ее руках. Сорок первый — фашистское нашествие. Старое оборвалось, все умерло. Но какая-то упрямая сила держит эту женщину распрямленной. Она несет еду вскормленному ею хозяйскому мальчику, он теперь с желтой звезд-

дой на одежде, он — за колючей проволокой, и через проволоку она кормит его. Она не смогла спасти его...

Непобедимая щедрая сила материнства, душевная сила — вот что противостоит у Мераса тупой, жестокой силе человеконенавистничества, фашизму. И живая эта человеческая натура должна выстоять.

Мерас строит роман как пунктир вопросов и ответов. На каждое убийство, на каждую подлость обезумевшего мира Мать отвечает еще одним спасением человека. Вскормленный ею мальчик убит в лагере. Она наталкивается на спрятавшегося в придорожных кустах, забившегося туда от ужаса еврейского ребенка — и прячет его у себя. Она растит его, дает ему новое имя: Пятрюкас... Его ищут. За него принимают ее собственного сына, оставшегося в деревне — Юозукаса. На ее глазах Юозукаса убивает пришедший сюда с немцами полицай Антанас — своего сына убивает на глазах у матери, не узнавая его и не веря, что он — не «жиденок»... А она, мать, спасает еще одного ребенка, русскую девочку Таню, пригнанную сюда батрачить на немец.

В этом упрямом диалоге жизни и смерти, верности и предательства Ицхокас Мерас выделяет самые мучительные моменты — мучительные нравственно. Отец-предатель убивает сына на глазах у матери. «— Нет!!! — крикнула она» — эпиграф к этой главе. Она постарела разом, за одно мгновение. Она запомнила все: очередь из автомата, крик сына, хохот Антанаса, оттопыренные уши сопровождавшего его немца, стреляющего по мальчику, и то, как немец, отложив автомат, нашел на грядке огурец и захрустел деловито.

...Кончилась война, но испытания не кончились.

Она растила троих детей, каждый из которых был уже ее ребенком. И вот ее дети привели к ней голодного мальчика по имени Вальтер. (В ту пору, сразу после войны, ходили к литовцам из Пруссии побирать нищие немцы). Посадив его перед собой, она увидела оттопыренные ушки и вдруг представила, как он сейчас захрустит огурцом... Ненависть и жалость захлестнули ее. Не могла она выгнать на улицу голодного немецкого мальчонку, кричавшего ей: «Мама, мне страшно!» Оставила его, только простионала: «Господи!.. Устала я...»

Нервный, скачущий стиль И. Мераса парадоксально взаимодействует в романе с бесконечным великодушием этой литовской крестьянки. Тема ее терпения становится в романе каким-то сплошным, временами даже монотонным мотивом. Героиня — словно единственная опора автора в этом мире. Кровавый хаос войны словно испытывает ее человеколюбие. Спокойно отвечает она этому хаосу: «Нет... нет... нет...» И в этой цепочке ответов нащупывает И. Мерас непобедимую и прочную основу жизни:

На трех книгах?
На четырех слонах?
На могучих плечах мужчин?..
На чем держится мир?..

Ответ на этот вопрос и содержит роман Мераса.

Это гимн подвигу простой женщины, гимн ее стойкости, ее материнскому великодушию. Судьба до срока превращает ее в старуху. Но судьба не может убить в ней человеческого начала. Дети ее — покидают ее. После войны объявляются их настоящие родители: в России, в Литве, в Пруссии. Уходит Таня, уходит Вальтер, уходит Генюс, сын нотариуса, к вернувшемуся из Сибири отцу. И гибнет Пятрюкас... Потом его реабилитируют, посмертно. Бороздами ложатся исторические перепутья на лицо Матери. Образ ее вырастает до символа. Теперь она напоминает нам горестную фигуру литовской женщины, воздвигнутую Йокубонисом на пепле деревни Перчюлис. О памятнике думает и Мерас, заканчивая роман. «Иногда их нужно ставить и живым. Самым живым из всех...»

И тут нервная энергия вновь прорывается сквозь гранит.

«— Нет! Не надо памятников живым! — крикнула она. — Уже было это».

Так завершены в романе оба главных характера: характер Матери, выдержавшей все, — и характер рассказчика, отчаянно ищущего ответы на свои вопросы.

Этот второй характер так же знаменателен для молодой литовской прозы, как характер Матери — для старой, как мир, истины, что в народе — все начала и все концы.

Л. Аннинский

НАЧАЛО ТРЕВОГИ

Илья Фояков. Начало тревоги. Сборник стихов. Новосибирск. Западносибирское книжное издательство. 1965. 239 стр. Цена 32 коп.

Такие черты, как нелюдимость и замкнутость, не свойственны Илье Фоякову. Ленинградец, он прописан в Новосибирске, но объездил не только Сибирь и Дальний Восток. На страницах газет мы встречаем его корреспонденции из Вьетнама, Китая и Кубы. Он может написать статью о проблемах молодых ученых «Академгородка» и о жизни выселенных «тунеядцев». Его заметкам о поэзии свойственна подлинная эрудиция и тонкое понимание природы искусства. Он — журналист, газетчик, переводчик, постоянный корреспондент литературной прессы. Он знает, какое тысячелетие на дворе.

Этот уже привычный образ Фоякова не расходится (почти не расходится!) с тем образом Фоякова, который встает за его стихами.

Он признается:

Опаздываю и спешу...
Я за день сотню дел вершу!
Управлюсь к вечеру со всеми.

Но даже и вечером, наедине с самим собой, он полон прожитым днем и не чувствует одиночества:

**Я не один, я здесь — со всеми,
С кем связан жизнью и судьбой.**

Фоняков доволен, что его стихи вызвали у девушки-украинки Аллы Шпак желание «податься» на целину, хотя он понимает разницу между искусством и призывом к перемещению:

**Но, может быть, медичка эта
Права,
что так меня прочла?**

У Фонякова нет внутреннего спора и конфликта со временем. У него нет внутреннего спора и конфликта со своим поколением. Ему нравится и время и поколение. Он — в привычной, даже в слишком привычной стихии.

Товарищи Фонякова — не какие-нибудь «винтики», они «доискиваются до сути — и судят с позиций времени: кратко, строго». Право судить с позиций времени дает им прочная позиция во времени — они сами создают ценности современной цивилизации.

Фоняков хочет быть летописцем их бытия, он хочет прославить свое поколение, выделяя в нем активное начало:

**И пусть не все на свете нам по сердцу,
Но все, в конечном счете, по плечу.**

Все определено, все ясно, все разрешимо.

В своем кругу Фоняков всегда понимает, он не чувствует себя изгоем. Во всех ситуациях он свой своим:

**Мы повстречались в первый раз.
Я — гость. Мне трудно в этой роли.
Но есть у сверстников, у нас
Свои, не тайные, пароли.
...Строку на память вслух прочту —
И знаю: ты прочтешь вторую.**

Он требует правды в отношениях между сверстниками-поэтами:

**Ты прости мне, дружище старый,
Что ругаю твои труды...**

Что и кто не нравится товарищам Фонякова?

Громоздкие колонны вокзалов и гостиниц, построенные во времена архитектурного безвременья, когда «была бездарность, как бестактность перед человеческой бедой...» Те, кто верит в возврат отжившего, отброшенного историей. Те, кто уныло твердит: «Простота — это так, до поры, будут в моде еще колоннады!..»

В лучших стихах Фонякова мысль остра. Он любит неожиданные повороты, может взглянуть на предмет с другой, с той стороны, с которой мы с вами его не видели.

Полушуточные-полусерьезные стихи

«Товарищам гуманитариям» он заканчивает предсказанием, что наступит время лириков, и среди них, возможно, даже

**...отыщется свой
Игорь Андреевич Полетаев,
Который заявит, что ни к чему
Ньютон
в эпоху стихов и музык...
И кто-то резонно в ответ ему
Скажет, что взгляд его слишком узок.**

Ему чужд «внезапный болезненный гонор» богемы, приступы «внезапной угрюмости». Он иронически описывает дом, где «все на бога, на соплях и на фу-фу», где плюют на быт, где «свищет ветер над жильем...». Хотя в этих стихах и есть робость в оценке такого образа жизни, но в них изображена не фоняковская жизнь, не жизнь его товарищей. Это всего лишь один знакомый дом...

В мире фоняковских товарищей, возможно, случаются и драмы. Возможно. Но они как бы подернуты дымкой, маревом тумана. Они — где-то на третьем, даже на четвертом плане.

В общем, Фоняков — здоровый человек, а в здоровом теле и дух здоровый!

Но... это трудно сформулировать, но при повторном чтении некоторых стихов вдруг начинает казаться, а не поверхностен ли лирический герой, вернее, не ограничен ли он определенным кругом эмоций, еще не составляющих мыслящей личности?

Все правильно у Фонякова, все верно. Но — несмотря на остроту мысли — нет ли здесь запрограммированности, заданности? Отчего его стихи о душе так нетрепетны?

Нам бы хотелось, познакомиться с любовной лирикой Фонякова — может быть, именно в ней он охватил мир сердцем? Странно, но в книге нет стихов, в которых с лирической дерзостью (выражение Льва Толстого) была бы запечатлена страсть, страдание и счастье.

Случайно ли это? Думается, нет.

Откровенность Фонякова относительна. Посвятивши нас в свои раздумья о физиках и лириках, о близости сверстников и т. п., Фоняков не открыл дверей в свой глубокий мир. Нет, поэт не распахнут настежь, а его общительность еще не поэтическая общительность — она элементарна.

Мы не можем допустить мысли о том, что у Фонякова отсутствует глубокий мир. Тогда весь наш разговор не имел бы смысла. Нет, это не так.

Мы не дочитали книгу до конца. И может, самое интересное в ней то, что Фоняков, человек умный, талантливый и чуткий, сам начинает ощущать — жизнь за пределами его стихов сложней жизни, запечатленной в стихах, что поколение, пожалуй, давно решило многие проблемы, о которых он пишет, да и решало оно их нередко иначе. От первого чувства раскованности после сурового ригоризма, от юношеской восторженной дружбы, от романтики молодого поиска тридцатилетние ушли в новые заботы, в такие галактики неразрешенности, откуда и выход-то не всегда угадан.

Книга Фояякова называется «Начало тревоги». Это и название последнего цикла.

Поэт всегда принадлежит к определенному поколению. Художник всегда живет во времени. Но не должны ли они в какой-то момент оказаться впереди поколения, подняться над временем? Ведь в противном случае они отстанут и от времени, и от поколения. Такова едва ли не неизбежная логика взаимоотношений искусства и жизни.

И Фояяков задумывается над этим. Именно это в тревожило его. Он открывает новую тетрадь...

Фояяков считал, что может написать обо всем. О спутнике, о школьном приятеле, о материнстве, о стройке, о грядущем... Он призывал:

**Позаботьтесь, друзья, серьезно
О бессмертье своей души!**

Но слова «бессмертье», «душа» звучали облегченно, будто нет за ними тысячекратных напряженных и мучительных исканий человечества... Не хотелось ни о чем заботиться.

Он утверждал:

**Я физически — вот поверьте! —
Ощущаю ее (т. е. душу) сейчас...**

И вот теперь поэт, говоривший так о душе, пишет:

**И прорезается все резче,
Каким весельем ни глуши,
Сквозь праздник — боль,
Сквозь гладкость речи —
Косноязычие души...**

Косноязычие — это неумение говорить, выразить, высказать что-то. Но стихи о косноязычии стали у Фояякова наиболее воплощенными.

Фояяков чувствует, что его позиция была зыбка. А ведь: «Я был во всем с собой согласен. Ведь я был прав. Я так был прав!» Правда оказывается бессильной перед горем, разрывом, несчастьем. Собеседница поэта не понимает его. Фояяков вдруг замечает, что «к человеческой откровенности до сих пор нелегки пути». Важно, что он заметил это, потому что нелегки пути прежде всего к его собственной откровенности.

Он рисует новый для него портрет. Пусть не все слова в нем достаточно точны:

**Ничто в лице не изменилось,
И новых черт не родилось...
Все обесценилось, смешалось,
Хоть все как будто налицо...
А ведь какое намечалось
Великолепное лицо!**

В его стихах появляются «прозрачный беспорядок», «случайные штрихи», «несравненная неточность»... Он, наконец, пишет о тревоге, которой не знал давно. Тревога «поселяется... в сердце».

Что это? Поэт, идущий от спокойной размеренности к тревоге, от замкнутости к обнаженности, от мнимой закономерности к невыдуманной случайности, от действия к размышлению, от мысли к чувству?..

Не будем забегать вперед. Именно поселяется — несовершенный вид этого глагола как нельзя более уместен. И «Начало тревоги» — как нельзя более достойное название для книги Фояякова, поэта, много видевшего, много написавшего, но в сущности еще очень молодого. Поэта, у которого впереди жизнь.

Вл. Приходько

АРБАТСКИЕ «КАТАКОМБЫ»

Автофургон пересек Арбат, несколько раз повернув, проехал по путаным переулкам, помчался по Композиторской улице и вдруг исчез из поля зрения. Как сквозь землю провалился...

...Дышать с непривычки было тяжело. Подземелье. Каждый шаг словно выстрел — гулкое эхо уносит звуки в темноту и возвращает их стократ усиленными. Но вот кончилась короткая полоса бетона. Начался песок. Местами сверху — струйками — бежит вода. Там, на поверхности, в городе, идет дождь. Подземные залы и коридоры такие большие, что лампы, хоть их и много, кажутся лишь светлячками. Местами они выхватывают на потолке маленькие сталактитики!.. Стоп! Под ногами пополз песок. Осторожно, здесь недолго и завалиться.

Отсчитал семьсот с лишним шагов, когда впереди справа посветлело. Подошел ближе. Нет, здесь не выбраться. Хоть и нет стены туннеля, но дальше — круто обрывающиеся откосы котлована. К тому же сверху то и дело экскаватор с грохотом бросает стальной ковш за очередной порцией земли.

Полторы тысячи шагов... Сколько же еще идти? В счете вроде не ошибался. Впереди послышалось сильное шипение, будто выпускали воздух из гигантского футбольного мяча. Что бы это могло быть? Снова посветлело. Уже четко вырисовывается идущая поперек стена.

— Витя-а-а! Воздух перекрой.— Крик врывается в темноту. Доносится топот чьих-то ног. Шипение прекращается.

Наконец поворот. Вижу синее небо. Сверху, кажется

с этого самого неба, на меня с любопытством смотрят парни в робах...

Итак, позади почти километр пути по арбатским катакомбам. Нет, это не выработка, сделанная нашими предками-москвитянами. Туннель проложен совсем недавно. По нему, чтобы не мешать и без того сильному уличному движению на центральных магистралях, будут доставлять продовольственные и промышленные товары в заранее знаменитые арбатские торговые ряды.

Грузовики скроются в подземелье, по широкому (9 метров) туннелю подойдут к подвалу нужного магазина, причалят к специальной платформе, и здесь их быстро разгрузят. Или при необходимости автомашинка встанет в специальный шлюз-дебаркадер на подъемник, и ее поднимут для разгрузки чуть ли не к прилавку.

И еще одно важное преимущество — грузовикам не нужно заезжать во дворы домов, в первых этажах которых располагаются торговые ряды. Представьте себе двор без единого ящика (сколько еще в московских дворах лежит пустой тары). Ни рева моторов ночью, ни шума при разгрузке.

Сейчас, в середине 1966 года, здесь, в туннеле, сыровато. Лишь в апреле он был готов вчерне. Но недалеко время, когда тут появятся свои дорожные (тоннельные) знаки, указатели, и параллельно проспекту Калинина, только чуть левее и на семь метров ниже, пройдет Проспект-2. Прокладывая его, строители вырыли котлован глубиной в десять метров и длиной в километр. Уложили в самый низ трубы метрового диаметра — водосток, водопр-

вод, канализацию. Это первый этаж.

Дальше — уже известный транспортный туннель, второй этаж. Третий этаж под самой поверхностью земли — коллектор. В нем паро- и газопроводы, система снабжения горячей водой, двадцать восемь километров различных энергетических кабелей. Короче говоря, тоже, пусть по-своему, но оживленная магистраль. Выходит, сам проспект Калинина — четвертый этаж. Так что километровый двухэтажный стилобат, в котором разместятся десятки предприятий торговли, быта, общественного питания, можно считать уже пятым и шестым этажом проспекта.

Вот для того, чтобы на полную мощность действовали эти двухэтажные торговые ряды, придется поработать четырем нижним этажам проспекта и особенно — второму. Сюда нескончаемым потоком пойдут машины. Мощные вентиляторы очистят воздух в тоннеле, в гигантских подземных залах — складах. Море света, мощная механизация создадут идеальные условия для приема и обработки товаров. «Проспект-2» станет главной питающей артерией крупнейшего торгово-бытового центра столицы.

А пока сюда идут бетоновозы. На арбатский песок, который хранит следы дружинников Юрия Долгорукого и коней монгольских завоевателей, ложится бетон, асфальт — строители работают на уровне улиц древней Москвы.

...Автофургон пересек Арбат, проехал по путаным переулкам и вдруг исчез в конце Композиторской улицы.

Так оно скоро и будет.

А. Кричевский

МИНУТЫ, РАВНЫЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМ

В этом просторном здании на Ленинских горах все необычно. Словно по зову человека сюда явилась сама природа в своем многообразии и богатстве.

Бьется речка между берегов с золотистым речным песком. Сверкают россыпи золота, платины, алмаза и горного хрусталя. В лаборатории экспериментальной геоморфологии Московского университета можно проследить даже формирование геологических нефтеносных структур в настоящем море.

Образование речных долин, гор, равнин, залежей полезных ископаемых длится миллионы лет. Жизнь человека слишком коротка, чтобы наблюдать особенности этих процессов. А знать их необходимо, чтобы сознательно использовать свойства рельефа при строительстве крупных сооружений, планировке земель в сельском хозяйстве, для защиты берегов от размыва, в поисках полезных ископаемых.

Ученые пришли к выводу: все природные процессы можно воспроизводить на моделях и изучать их в лаборатории. То, что в природе происходит за десятки миллионов лет, исследователь наблюдает за несколькими часами.

...Вот в небольшом квадратном бассейне начала «работать» пенистая с прозеленью волна. Через несколько минут на ровной поверхности песчаного дна образовалась подводная мель-банка. Затем она поднялась над поверхностью воды, а еще через несколько минут превратилась в песчаный остров. И возле

острова уже бьет бурун, бьет с такой силой, как настоящий в настоящем море. Остров сложен изогнутыми в виде купола пластами грунта. В свод такого купола, когда он находится в море, и движутся частицы нефти, более легкие, чем вода. Так образуются нефтяные залежи.

...Нехитрая с виду модель показывает образование россыпей золота, платины, алмазов, горного хрусталя. Речную долину или овраг имитирует длинный металлический лоток с переменным уклоном. Стремительно несется поток воды, переносящий кристаллы драгоценных минералов. Исследователь воочию видит, как это происходит, подсчитывает и расстояние, на которое переносятся кристаллы, время образования россыпей.

С помощью специальной тектонической установки можно наблюдать процессы подъема земной коры. Механика Кирилла Константиновича Борисова, работающего на этой установке, сотрудники шуточно и почтительно называют «богом вулканов».

Есть в лаборатории и свое «море» — большой прямоугольный бассейн. Полуметровые волны обрушиваются на песчаный береговой откос. Они поднимают песок, образуя возле берега песчаные гряды и косы. Под ударами волн берег отступает. С какой скоростью? Это можно измерить. А измерив, на берегах настоящих водохранилищ установить ту «красную черту», за пределами которой уже следует строить дома и промышленные сооружения.

Ученые определяют также и силу удара морской волны, и прочность сооружений, необходимых для береговой защиты.

Недавно сотрудники лаборатории предложили восстановить черноморские пляжи, откуда в последние годы вывезено для нужд строительства много песка и гравия. Один из способов — увеличение выносов рек на побережье. Для этого нужно в речных долинах взрывать крутые склоны и осыпи.

А как влияет сток дождевых вод на смыв почвы? Основной «инструмент» — большая площадка, которая может принимать любой угол наклона. Покрытая несколькими видами почв, площадка подвергается воздействию искусственного дождя. В зависимости от свойств почвы, характера растительности, способов вспашки здесь можно наблюдать интенсивность эрозии почв — одного из страшнейших врагов урожая. На основании экспериментов вырабатываются принципиальные основы противозерозийной защиты почв.

Лабораторией экспериментальной геоморфологии руководит профессор Николай Иванович Маккавеев. Коллектив ее тесно связан с парходствами и рудниками, с колхозами и экспедициями геологов и составляет для них карты, проекты, дает рекомендации.

Так московские ученые-исследователи «ускоряют» ход времени, делая минуты здесь равными тысячелетиям. А часы — миллионам лет.

А. Иванова



Рассказ

О том, что собака — лучший друг человека, все читали или слышали. Но пусть не думают, что так уж просто обзавестись собачкой-другом. Если у вас хватит терпения и вы дочитаете мой рассказ до конца, то поймете, что не такая уж это безобидная затея обзаводиться собакой — куда спокойнее попытаться приобрести друзей среди себе подобных.

— Почему бы нам не завести собачушку какую-нибудь? — спросила меня однажды жена, когда мы сидели вечером за столом и ухлопывали свой досуг на сортировку ягод для варенья. — Мы уже в возрасте, дети нам вроде бы и ни к чему, а купить какую-нибудь собачку не мешало бы. Все веселее как-то, когда в доме живое существо лает.

Лично я против животных никогда ничего не имею. Особенно против собак, которые, как это было упомянуто выше, — бескорыстные друзья человека. Вроде дельфина.

— И в самом деле, — сказал я, — почему бы нам и не завести собаку? У других есть всякая живность. У Шкаликовых, например, — обезьяна. Бананы, говорят, по рупь десять кило ест целыми корзинами. А у Щегловых, из двенадцатого номера, — так натуральный удав обитает на кухне, и они обед вынуждены готовить в комнате на плитке... Почему бы и нам не завести у себя животное, да еще такое, чтоб можно было его адрессировать охранять квартиру и даже стаскивать меня или тебя по утрам с

постели на пол, когда не работает будильник.

— Только обязательно породистую, — заявила жена. — Чтоб не стыдно было выйти с ней на улицу или показать родственникам...

И начали мы поиски.

— Вы немножко опоздали, — сказали нам там, где торгуют собаками. — Почти все породистые собаки, которые есть в городе, давно ошенились и всех ихних щенков уже расхватили.

Очень нас огорчило это заявление, и мы скорчили такие расстроенные физиономии, что растрогали того, кто возглавляет эту контору.

— Приятно наблюдать, — сказал этот товарищ, — когда со стороны людей проявляется такая неукротимая любовь к собачьему племени. Так уж и быть, дам я вам адрес одной суки, у которой есть еще нераспределенный щенок. Правда, этот щенок был оставлен для одного профессора, который стоял на него в очереди пять лет, но профессор этот недавно умер и ничего насчет этого щенка в своем завещании не написал. Так что вы, наверное, сможете его приобрести, если, конечно, понравится его опекунам.

— Чьим опекунам — профессора? — спросил я.

— Да нет. Щенка. Эта порода у нас самая редкостная и находится под опекой общества охраны редких животных, — сказал человек, возглавляющий собачье дело, и написал на бумажке адрес, куда ехать.

Приехали мы по указанному адресу, однако не сразу пустили нас в кварти-

ру. Предварительно через приоткрытую дверь потребовали рекомендации. Удивились мы этому требованию и пояснили, что не в домработницы нанимаемся, а пришли за наличные приобрести щенка. А прислал, мол, нас из собачьего центра сам председатель.

Как только сказали мы про председателя, нас любезно ввели сначала в коридор, а затем в комнату. Все ее стены были увешаны собачьими портретами. Обстановка же комнаты выглядела несколько странной. Небольшой стол без скатерти, два старых кресла и какой-то ветхий диван, изорванный так, что обшивка свисала с него клочьями.

— Не обращайтесь внимания, — успокоила нас хозяйка, очень похожая на один из портретов, висевших на стене.

Тем временем из-под дивана выскочил сам владелец комнаты и чуть не сбил нас с ног.

— Это и есть интересующий вас индивидуум, Шериф, — представила его нам хозяйка. — Любимец семьи.

— Вот как! — сказал я, разглядывая щенка, который уже рвал зубами обшивку с дивана. — На редкость красивое имя у вашего щенка. Но мы дадим ему кличку попроще: Джек, например, или Акбар.

— Что вы, что вы! — замахала руками женщина. — Мне бы самой хотелось, чтобы у него было имя позвучнее, но, к сожалению, он родился очень поздно, и все клички были уже разобраны. Остались только на букву «Ш».

«Ничего себе порядочки! — подумал я. — Своего ребенка я могу назвать хоть и Наполеоном, тут никто не станет возражать, а какому-то паршивому щенку кличку дают централизованным порядком...»

— Вы, я вижу, люди, совершенно не сведущие в вопросах кровного собаководства, — сказала хозяйка

щенка,— поэтому я вынуждена задать вам несколько вопросов относительно условий, в которых будет у вас жить Шериф, если мы все-таки решим его вам продать.

Подобный поворот дела нас несколько озадачил.

— Да вы не удивляйтесь,— заявила хозяйка,— эта порода очень редкостная и охраняется обществом собаководства. Так что мы обязаны прежде чем продать щенка лично ознакомиться с условиями, в которых ему придется жить. Скажите, пожалуйста, в каком районе города вы живете?

Я назвал улицу.

— Вот видите, я должна сразу вам отказать,— сказала хозяйка.

— Это почему же? —

спросил я обиженно, доставая из кармана характеристику с работы и копию трудовой книжки.

— Потому что этот район нам не подходит. Там негде с собакой гулять, и воздух загрязнен промышленными газами. Так что об остальном и говорить не приходится. Мы предъявляем очень жесткие требования к будущим владельцам щенка: во-первых, обязательно отдельная квартира, во-вторых, должен быть один неработающий член семьи, который смог бы три раза в день выводить собаку гулять. Затем на лето ее нужно вывозить за город на дачу. Важно также тщательно следить за рационом питания, чтобы сохранялся экстерьер. Потому что если длина шерсти у щенка окажется меньше номинала,

предъявляемого к этой породе, общество собаководства вынуждено будет снять с вас родословную.

Я почувствовал, как на моей макушке зашевелились волосы.

— В хорошенькую историю влип, нечего сказать!— воскликнул я, обращаясь к жене, когда мы вышли на улицу.— С таким делом лучше не связываться. Кто его знает, может на этот счет есть еще какая-нибудь статья уголовного кодекса. Шерсть окажется не той длины или морду кому-нибудь этот пес в драке свернет,— тогда, не дай бог, и квартиру отнимут и из города выселят. Лучше давай уж ежика за три рубля в зоомагазине купим, и— дело с концом.

На том мы и порешили.

Ю. Гурфинкель



Юмореска

За его спиной кричали:

— Давай, Мак! Смелее!

Тогда он макал волосатую руку в краску и водил ею по полотну.

Вообще он не любил рисовать, когда

за спиной орали зрители: линии выходили неровными.

— Добавь синего и красного,— смеялись в толпе.— Не скупись, Мак!

Он мазал синей и красной краской колеса велосипеда и ездил по полотну. Получалось довольно неплохо.

Когда картина была готова, Джек, его хозяин, начал аукцион.

— Леди и джентльмены! Продается картина, сделанная на ваших глазах. Качество гарантируем. Цена три доллара. Кто больше?

— Пять долларов,— крикнул джентльмен (он, как оказалось, в зоопарке был впервые).

— Пять долларов — раз! Пять долларов — два! Продано!

Толпа загудела. Джентльмен забрал картину, а Мак, молодой шимпанзе, поклонился зрителям и неуклюже вышел из клетки.

— Неплохо ты придумал, Мак! — сказал Джим, покончив с делами.

— Да, пять долларов за полчаса — хорошая цена,— улыбнулся художник, растегивая обезьянью шкуру.

г. Курск



Не протягивал руку помощи единственно из гигиенических соображений.

* * *

Маслом каши действительно не испортишь, но сколько испорченных масел картин!

Ц. Меламед

Задача: сколько стоит одна сколка, если начать ее ничего не стоит?

* * *

В диссертации решался вопрос о том, был ли гордиев узел совмещенным.



Сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были Поэт и Сапожник.

Долго ли, коротко ли они жили — неизвестно. А только вот однажды, возвращаясь из издательства, где печатался очередной сборник его стихов, Поэт внезапно почувствовал, что левая туфля сделалась вдруг подозрительно легкой! Глянул Поэт на свою туфлю, — а у ней, оказывается, подметка вся как есть начисто отклеилась!

Ахнул тут наш Поэт, всплеснул руками и от сильного огорчения совсем не по-литературному выразился. Затем уселся на ближайшую поваленную урну, снял с ноги пострадавшую туфлю и сидит. Слезами горячими свою родимую туфлю орошает. И что делать — понятия никакого не имеет.

Спасибо, прохожие недоумили. «А ступай ты, — говорят, — мил человек, не за горы высокие, долины далекие, — ступай-ка ты лучше на тридесятую улицу, в тридевятый переулочек: в тамошней сапожной мастерской трудится один чудо-мастер — золотые руки».

Обрадовался тут Поэт, заулыбался даже; утер шляпой горячие слезы, благодарил добрых людей за совет и, бережно прижав к груди испорченную туфлю, поскакал на одной ноге в тридевятый переулочек.

Починил чудо-мастер Поэту в одночасье его туфлю, взял за труды три рубля и собрался было уже закрывать мастерскую на обеденный перерыв... Да только тут пригляделся Поэт к своей починенной туфле, и... оторопь его взяла. Аж в лице переменялся Поэт при виде подметки, пришитой к туфле не той стороной, какой надо, да вдобавок — задом наперед.

— Мать честная! Да разве так делают? Халтурщик несчастный! — ужаснувшись, завопил Поэт дурным голосом и не в рифму.

— Не нравится — делай сам, — хладнокровно отпарировал Сапожник и, зевнув, сплюнул в угол.

— Ах так?! А что ж ты думаешь: и сделаю! Покажу тебе, халтурщику, как работать надо! — в сердцах воскликнул уязвленный Поэт.

В общем, взял он шило, дратву и действительно показал Сапожнику высокий класс работы. Хороший, добротный туфель получился у Поэта — совсем почти как новый.

Пока Поэт чинил свой туфель, Сапожник от нечего делать раскрыл книжку стихов Поэта с фотографией автора на обложке, которую тот по неосторожности оставил на столе.

Только прочитал наш Сапожник, быть может,

штук пять стихотворений и, в свою очередь, ужаснулся и оторопел. Аж в лице переменялся Сапожник при виде серых, кое-как сколоченных стихов.

Переменялся это он, следовательно, в лице и тоже закричал дурным голосом:

— Мать честная! Да разве так пишут?! Халтурщик несчастный!

— Не нравится — сам пиши, — хладнокровно сплюнул в угол увлеченный работой над туфлей Поэт.

— А что ты думаешь?! И напишу! Покажу тебе, халтурщику, как работать надо! — в сердцах воскликнул задетый за живое Сапожник.

Словом, взял он в руки карандаш и точно: показал Поэту высокий класс работы. Хорошее, добротное стихотворение получилось у Сапожника.

Прочел Поэт это стихотворение и прослезился: давно не читал он таких ладных, свежих и самобытных стихов. А Сапожник глянул на отремонтированную Поэтом туфлю и тоже прослезился: давно не видел он такой ладной, надежной и самобытной работы.

И тут почувствовали они оба друг к другу большую симпатию. Но профессий своих — увы! — не изменили.

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ КОНФЕРАНСЬЕ

У каждого хорошего конференсье есть свои секреты покорения зала. Феликс Рисман никогда не заигрывает со своим слушателем. Он беседует с ним как со старым добрым другом, и друг — понимает с полуслова.

Познакомьтесь с некоторыми репризами, автором и исполнителем которых является артист Москонцерта

Феликс Рисман

Один гражданин зашел в милицию и заявил, что у него украли велосипед. Его спросили:

— А у вашего велосипеда был тормоз?

— Нет.

— А звонок?

— Тоже нет.

— Значит, ездили без тормоза и звонка? Так, так...

Ну что ж, заплатите штраф пять рублей, а тогда мы приступим к поискам вашего велосипеда.

* * *

— Скажите, пожалуйста, у вас есть нейлоновые сорочки?

— Какой размер?

— Сорок первый.

— Нет.

— Простите, а какой размер есть?

— Нет никакого...

* * *

— Вы уверяете, товарищ продавец, что это чистая шерсть. Чему же верить? На этикетке рулона написано «хлопчатка».

— А этикетка для того, чтобы моль не поела ткань...

* * *

Взволнованная билетерша прибежала к администратору.

— С галерки упал в партер зритель! Что делать?!

— Пусть доплатит разницу и останется в партере...

* * *

Учитель спрашивает ученика:

— Как же это случилось, что у тебя все примеры сегодня сделаны правильно?

— Папы вчера не было дома...

* * *

Мать увидела, как горько плачет сынишка.

— Что случилось, малыш?

— Папа ушиб себе ногу молотком.

— И ты из-за этого разревелся?

— Нет, мамочка, я стал смеяться.

Ян Островский

ИРОНИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

КОНКУРЕНТ ШЕКСПИРА

Прочитав новую повесть писателя Н. Н., редактор вздохнул:

— Есть повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Директор одного санатория похвалялся:

— У меня все без исключения отдыхающие подвергаются культурному обслуживанию.

ДИССЕРТАЦИЯ

— Я написал диссертацию на тему, совершенно никем не исследованную,— заявил некий театровед.— Речь в ней идет не о мастерстве актера или режиссера — вообще не о спектакле...

— О чем же тогда?

— Об антрактах. Диссертация так и называется: «Антрактида».

ПРИБЫЛИ

В произведениях одного писателя персонажи так много пьют, что читатели, интересуясь ценой его книги, неизменно спрашивают: — Это уже с посудой?

ОРАТОР

Очередной оратор, выйдя на трибуну, сурово заявил:

— Хочу остановиться на предыдущем товарище.

Ник. Соколов

ЗАКОННЫЙ ВОПРОС

Московский драматический театр имени Пушкина за все время своего существования не обращался к драматургии поэта.

Хотя на свете нет
Чудес,
Но если бы поэт
Воскрес,
Пришел бы он
К худруку на прием:
«Что в имени
Тебе моем?»

ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «МОСКВА»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы раскрыли октябрьскую книжку нашего журнала. Но к встрече с вами уже готовятся ноябрьский, декабрьский и даже январский номера. Коллектив редакции работает уже и над материалами, которые придут в ваш дом весной и летом будущего года.

1967 год — славный, юбилейный год нашего Советского государства. Читатель ждет от всех изданий, в том числе и от нашего журнала, ярких и увлекательных по форме произведений самых различных жанров.

Что же найдете вы в «Москве», раскрыв книжки юбилейного года?

В предстоящем 1967 году мы предполагаем напечатать: заключительные главы романа **Михаила Булгакова** «МАСТЕР И МАРГАРИТА», романы **Г. Березко** «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ МОСКВИЧИ» и **Арк. Васильева** «ХОЛОДНЫЙ МАРШ», повесть **Б. Евгеньева** «В ЛОНДОНЕ ЛИСТОПАД», роман **Е. Мальцева** «ВОЙДИ В КАЖДЫЙ ДОМ» (2-я книга), повесть **Е. Пермяка** «ВОЗВРАЩЕНИЕ», роман **Д. Павловой** «КТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ?», повесть **И. Рахилло** «ЮНОСТЬ ЕСЕНИНА», романы **Г. Семенихина** «КОСМОНАВТЫ ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ» (2-я книга) и **В. Тевекеляна** «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА», повести **В. Цыбина** «КЛАД» и **А. Яшина** «ВЫСКОЧКА».

С интересом, мы надеемся, познакомитесь вы и с другими произведениями о наших современниках. Их труду, раздумьям, любви и ненависти посвятили свои новые произведения **М. Анчаров, А. Алдан-Семенов, Василий Белов, С. Воронин, М. Демин, И. Исаков, В. Лидин, В. Маканин, С. Нариньяни, Ю. Семенов, А. Пантиелев, В. Панов, В. Померанцев**, народный артист СССР **Л. Утесов**.

В портфеле редакции: рукопись украинского писателя **Микола Зарудного** «НА БЕЛОМ СВЕТЕ», пьеса **А. Софронова** «ДЕТИ МОИ, ДЕТИ», документальная повесть **Е. Серебровской** «ВЕРИМ, ВЕРНЫ» — о наших друзьях — немецких антифашистах, большой исторический очерк **М. Брагина** «УКРОЩЕНИЕ «ТАЙФУНА», в котором писатель показывает, как была задумана и проиграна немцами операция по окружению Москвы; новые публикации **Марины Цветаевой**.

В ближайших номерах «Москвы» вас познакомят со своими новыми стихами поэты **С. Смирнов, Н. Грибачев, И. Кобзев, Р. Рождественский, Н. Доризо, К. Ваншенкин, Е. Евтушенко, С. Васильев, И. Волобуева, Л. Васильева, Б. Ахмадулина, В. Кузнецов, С. Орлов, И. Кашежева, Н. Рыленков, М. Дудин, М. Матусовский, И. Рядченко**.

С очерками о наших современниках — отважных полярниках выступит **Б. Полевой**, побывавший на Северном полюсе, а также многие другие писатели, видные общественные деятели, военачальники, работники искусства. В очерке «БЕРЕГ КРЕВЕТОК» с жизнью камерунцев познакомит читателей журналистка **В. Шапошникова**.

«Москва» ждет новых интересных работ и от большого отряда советских критиков. Активно сотрудничают в журнале **Е. Книпович, В. Сурганов, И. Мотышов, М. Синельников, К. Канаева, И. Гринберг, Ал. Дымшиц, В. Деметьев, Г. Бровман, Л. Фоменко, С. Трегуб, М. Лобанов, Л. Аннинский, И. Золотусский** и другие критики и литературоведы.

Как всегда, признанными «асами» смеха и молодыми авторами из многих городов страны будет представлен наш отдел юмора.

Девизом «Москвы» была и остается современность. В январе 1967 года нашему журналу исполнится десять лет. Редакция, ее авторский актив будут стремиться к тому, чтобы из года в год повышался идейно-художественный уровень произведений, публикуемых на страницах «Москвы», чтобы каждый номер радовал вас, дорогие наши друзья-читатели.

Технический редактор Л. И. ФЕЙЛЕР. Корректоры Н. А. АКИМОВА, М. В. АКСЕНОВА.

Подписано к печати 27/IX 1966 г. А16190. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Тираж 143 600 экз. Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,547 + 4 вкл. = 23,18 уч.-изд. л. Заказ № 4256. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата. Москва, Краснопролетарская, 16.



У статуи «Адам»

О. Роден. Ева



РОДЕН И ЕГО ВРЕМЯ

(Текст — на стр. 192—193)

**ГАЛЕРЕЯ
„МОСКВЫ“**

О. Роден, Бронзовый век





О. Роден. Бальзак



О. Роден. Граждане Кале



О. Роден. Мыслитель



Э-А. Бурделль. Голова Бетховена



О. Роден. Большая рука пианиста



О. Роден. Рука



Ф. Помпон. Кабан



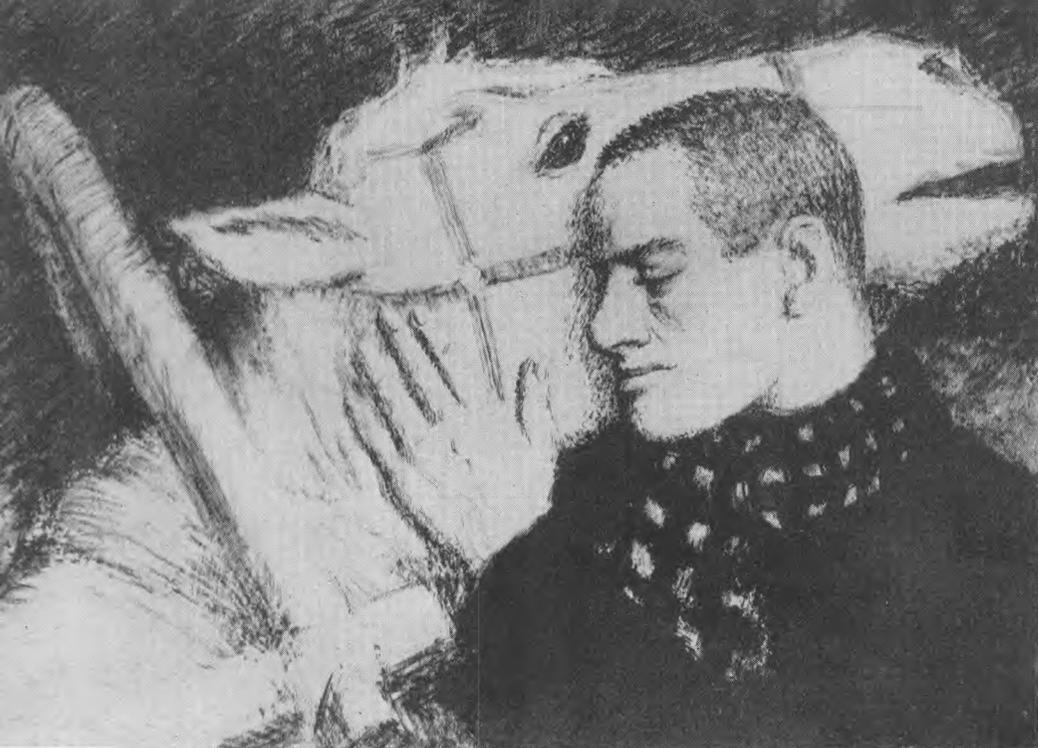
А. Майоль. Венера



В зале Майоля



Э.-А. Бурделль. Геракл, стреляющий из лука



В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям»

Иллюстрация

РАБОТЫ Ю. МОГИЛЕВСКОГО



И. Курчатов



Женский портрет



Молодой физик



А. Довженко



МАРСЕЛЬ МАРСО



Аркадий Райкин

50 коп.